

Иван Кожемяко

Крымские истории



ИВАН КОЖЕМЯКО

Крымские истории

«*LoToC*»

Ялта

2014

Содержание:

От автора:	3
ГЕНЕРАЛ	3
ПАМЯТНИК В ЛЕСУ	23
ВСТРЕЧА В «ЛИДИИ»	39
ИЗМЕНА	58
ПОСЛЕДНИЙ ЮНКЕР	72
СТАРАЯ ПОДКОВА	79
ПОЛЫНЬ	89
МИЛОСЕРДНАЯ СЕСТРИЧКА	97
НЕОЖИДАННЫЙ СОБЕСЕДНИК	104
ПОСЁЛОК ПРОКАЖЁННЫХ	119
РАСПЛАТА	133
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО	153
ПОД КИПАРИСАМИ ЛИВАДИЙСКОГО ДВОРЦА	160
НИКИТСКИЙ САД	176
ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО	185
КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ	194
ГАДАЛКА	203
ЧАЙКА	210
СУДЬБА МОНАШКИ	214
ПОД СЕНЬЮ СОБОРА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО	226
БАХЧИСАРАЙСКИЕ ГРЁЗЫ	233
ОСТАНОВИСЬ МГНОВЕНЬЕ, ТЫ, ПРЕКРАСНО	244
РОДЫ В АЛУШТЕ	247
ЕРЕНА	252
АССОЛЬ	260
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО	267
РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ В ВИННОМ ПОДВАЛЬЧИКЕ	270
ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР	277
КРЫМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ (ПУТЕВЫЕ ЗАРИСОВКИ)	283
ДОРОГИ КРЫМА	283
НЕДОСТРОЙ	285
КУКУРУЗА	287
«ЧЁРНАЯ КАРАКАТИЦА» и «СВЯТАЯ МАРИЯ»	288
ВОДИТЕЛИ ЯЛТЫ	289
ВИННЫЕ МАГАЗИНЫ ЯЛТЫ	290
МИТРИДАТ	291
АПАРТАМЕНТЫ В НАЁМ	294
ГАЗЕТЫ КРЫМА	295
УКРАИНСКИЕ ДЕНЬГИ	299
СВЯТЫЕ МОГИЛЫ	301
ПОЕЗДКА В ФОРΟΣ	304
РЫНОК В ЯЛТЕ	306
ХРАМЫ В КРЫМУ	307
СЕВАСТОПОЛЬ	311
УКРАИНИЗАЦИЯ	314
О ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ	320
С ЛЮБОВЬЮ К БРАТЬЯМ–МАЛОРОССАМ	329

© Второе издание исправленное и дополненное.

В сборник включены размышления автора о встречах и судьбах людей.

От автора:

В этих историях только правда. Все они имели место в жизни и произошли со мной или моим родством, или моими старинными друзьями, от которых и стали известны мне.

Их объединяет одна общая идея – все герои служили Великой, Единой и Неделимой России и всегда во главу ставили совесть и честь, и никогда не поступались ими, если даже их жизни угрожала опасность.

*Когда источается любовь
в сердцах тех, кто Господом
предназначен друг для друга,
на всей Земле увеличивается
количество зла, и в его воронку
затягивается всё больше и
больше людей, даже совершенно
невиноватых в произошедших
злодеяниях, и их скорбная ноша
самая страшная
– нести тяжкий крест
ответственности
за чужие грехи ...*

И. Владиславлев

ГЕНЕРАЛ

Эту историю мне поведала старая армянка за чашечкой кофе, который, в её приготовлении, был самым божественным во всей Ялте.

И я, ежевечерне, оказавшись, неожиданно даже для себя, на отдыхе, которого и не знал отродясь (сердечное спасибо милой младшей сестре), направлялся в её маленькую кофейню, возле рынка, и уже задолго, не доходя несколько сот метров до знаменитого заведения, вдыхал пьянящий аромат дивного кофе, приготовленного работающими руками величественной и красивой армянки даже в её позднюю уже осень жизни, а вернее – её душой и необычайно чутким сердцем.

И вот, в один из вечеров, когда в её кофейне было непривычно пусто, она подседа ко мне и без всяких на то причин, поставив предо мной рюмку с коньяком и чашечку своего дивного кофе, стала рассказывать историю, которая дошла до неё от бабушки, уже лет семьдесят тому назад, в судьбоносные и страшные дни, когда Россию ломали через колено.

Произошли эти памятные события здесь, в Ялте, в ноябрьские дни 1920 года. Здесь же, через годы и годы, они имели и своё трагическое продолжение, которое долго помнилось старожилам.

Ялта, как и весь Крым, полыхала. Артиллерия красных, сметая всё на своём пути, открывала возможность их кавалерии разрезать на части последние сводные отряды Добровольческой армии и стремительно продвигаться к ключевым, портовым городам полуострова.

С их падением оборонять Крым более не представлялось возможным, как и эвакуировать остатки белого войска, а также многочисленных обывателей, приставших к армии за годы борьбы.

Последним покидал город генерал Георгий Пепеляев – красавец, тридцати одного года от роду, человек долга и чести, признающий борьбу с противником только на поле брани.

С ним была тяжело больная жена, в которой он души не чаял. Молодая красавица восточного типа и большая умница.

Он понимал, что дальней дороги она просто не вынесет, так как жизнь еле теплилась в её безжизненном теле.

И он, взяв на руки девочку-жену, по-разбойничьи гикнул на своего заматеревшего коня, с которым прошёл все долгие годы войны, начиная с четырнадцатого года, и скрылся, в один миг, от растерянных, панических, в этой круговерти исхода, глаз обывателей, в безбрежном мареве степи.

Где он был – никому не ведомо. Но уже через два-три часа, на запаленном, мокром до ушей коне, снова был у руководства войсками, обеспечивая своей железной волей организованную посадку людей на корабли, уносящих их, навсегда, на чужбину, к неведомой судьбе.

Только самые его ближайшие соратники заметили, что вмиг поседел их генерал, любили которого они истово и готовы были ради него на всё, а уж выполнить его приказ и даже поручение – каждый почитал за честь.

И он, обеспечив отправку последнего солдата и обывателя, приставшего к его войску, постоял в мучительных раздумьях на берегу, затем – встал на колени, набрал в носовой платок горсть прибрежной гальки, с ракушками, и тяжело, несколько раз оглянувшись на берег, взошёл на корабль.

Долго, перед этим, что-то нашёптывал на ухо своему боевому коню, обнял его напоследок, поцеловал, как брата и друга, в красивую

морду, а тот, при этом, заржал, да так, что и мороз по коже прошёл у всех, кто видел эту сцену, вздыбился, и с места, рванул в карьер, в неведомом направлении.

Так эта история и завершилась для всех непосвящённых.

Минуло несколько месяцев после исхода белых войск из Крыма.

Новая власть обосновывалась надолго, навсегда, и не сильно церемонилась с теми, если таковые выявлялись, кто был связан с белым движением и состоял в его рядах.

Осенний Крым двадцатого года представлял собой зрелище страшное. Скорые – на суд и расправу, новоявленные комиссары Троцкого, во главе с неистовой Розой Моисеевной Залкинд, которую старые партийцы-каторжники знали под звучным именем Землячки, тёмными ночами – выводили и вывозили в яры и балки целые колонны офицеров, но, самое страшное – мальчишек-юнкеров и даже выпускников кадетских школ, совсем уж детей, и долго в этих балках стучали и стучали сухие револьверные и звонкие – винтовочные выстрелы, а нередко – и пулемётная дробь, торопящаяся прервать жизни молодых и здоровых людей, единственная вина которых была в том, что они любили своё Отечество, свою Россию и не жалели за неё ни крови, ни самой жизни в борьбе с врагами.

Это уже потом они были вовлечены в водоворот братоубийственной гражданской войны и перестали отличать правду от кривды, добро от зла, утратили веру и любую надежду на спасение своих заблудших и потерянных душ.

Не святой была и другая сторона, поэтому противостояние достигло такой безбожной остроты и жестокости, что сын не различал отца, а брат – поднимал, в ослепляющей ярости, дедовский клинок на родного брата.

В ближайших от городов Крыма балках – даже земля перестала принимать невинную русскую кровь и она стояла озёрами, страшными и смрадными, возле которых, с утра до ночи, были мрачные собаки-людоеды, да падальщики застилали своими крыльями солнце, когда взмывали в небо, нехотя улетаая пережить новую расправу.

А с женой генерала иная история произошла. Выходил её пастух-татарин, на кумысе. Ушли её хворости, порозовела, поправилась, вся её красота, как она ни норовила одеться поскромнее, за версту выдавала в ней человека благородного, дворянских кровей.

И однажды, надо горю случиться, повезла она с табунщиком кумыс и сыр овечий на рынок, жить-то на что-то надо было.

Там её и увидел начальник местной ЧК, человек безжалостный, холодный, расчётливый, циничный и жестокий.

А тут, надо же, влюбился. Не давал проходу с этой минуты жене генерала.

Нет, насилия не проявлял. Хотел добиться взаимности, чтобы, значит, и она к нему отнеслась с участием и вниманием.

А сам был чёрный, как жук, в коже, с тяжёлым маузером на боку, и фамилию носил какую-то, прости Господи, не забыть бы – товарищ Гольдберг все его звали, да, точно, Гольдберг.

Так вот, он ей, после первой же встречи, прохода не давал. Заваливал цветами, щедрыми подарками, норовил предупредить любое желание и даже каприз этой молодой женщины. Хотя она и не высказывала ему ни одного пожелания, но он их просто чувствовал.

Хозяин-татарин, который её выходил, только бледнел при появлении могущественного начальника ЧК и обращал к своему аллаху молитву, чтобы тот защитил его и молодую женщину, к которой он относился как к родной дочери.

В один из дней начальник ЧК – словно с ума сошёл – навёз жене генерала всевозможных нарядов и попросил об одном – съездить с ним в театр. Тем более, что там выступала заехавшая, по случаю, знаменитая столичная труппа.

Их разговор происходил в красивой плетёной беседке, выстроенной татаринком любовно для своей подопечной – прямо на круче, под которой, в добрую погоду, шелестело, а в осенние и весенние дни – буйствовало море, которое она во все минуты своей жизни так любила.

Эта встреча навсегда осталась в памяти немногих свидетелей, среди которых был сам начальник ЧК, жена генерала Пепеляева, татарин-пастух, да два охранника всемогущего чекиста.

Только он вышел из беседки покурить, где продолжала сидеть молодая красавица, и всё более горячась, стал убеждать её пойти с ним в театр, как из степи, на бешеном намёте, словно призрак, вынесся вороной генерала Пепеляева.

Он заржал так, что притихли все птицы, а мороз по коже пробежал у всех, кто видел эту сцену. Возле беседки могучий конь-красавец, на лбу которого светила одна белая звёздочка, да кончик хвоста был выбелен сединой, встал на задние ноги, злобно оскалив, все в белой пене, зубы и пошёл на начальника ЧК.

Ещё миг – и беды бы не миновать. Чекист стоял – ни жив, ни мёртв. Он не мог пошевелить даже рукой, а мертвенная бледность так выбелила его лицо, что, как говорят в народе – в гроб краше кладут.

И в самый последний миг, когда конь чуть не подмял под себя потерянного чекиста, его охранники стали стрелять прямо в голову взбесившемуся животному из маузеров.

Он остановился, как вкопанный, задрожал всем телом, и вдруг – не заржал даже в свой предсмертный час, а закричал, как кричит последний раз в своей жизни человек на поле брани, расставаясь, уже навек, с миром.

Затем, собрав все свои силы, почти одним прыжком обрушился в пропасть, прямо с кручи.

Через миг даже следов не осталось от него, море навсегда поглотило верного боевого друга генерала Пепеляева.

Чекист кинулся приводить в чувство недвижимую красавицу, и отчаявшись это сделать – подхватил её на руки и понёс в дом татарина-табунщика.

Тот, с ужасом, наблюдал всю эту сцену, прижавшись к стене своего дома. И как только чекист скрылся со своей ношей в двери его дома, он схватил лопату и тщательно срезал землю, на которой блестела густая кровь животного и выбросил её в море. А затем, усталой походкой, поплёлся в дом – помогать чекисту привести в чувство молодую женщину.

Генерал Пепеляев, который никогда не знал проблем со здоровьем, шёл по набережной Сены. И вдруг, беспричинно, упал в глубокий обморок и надолго потерял сознание.

Это случилось именно в тот миг, когда его верный друг, распластавшись в прыжке, уже мёртвый, летел с кручи в море.

Но, придя в себя, он никак не связал произошедшее с ним, с событиями в далёкой и милой его сердцу России.

«Нервы, стал как институтка», – подумал о себе Пепеляев с горькой усмешкой.

«Да и то – с четырнадцатого года не знал ни одного отпуска, ни дня отдыха. Надо уехать куда-нибудь, на воды... И – думать, как вызволить и перевезти сюда Елизавету, судьбу мою и любовь на всю жизнь. Как она там, голубка моя светлая?»

Он, как ни странно, был спокоен за её судьбу и твёрдо знал, что Муса, его верный ординарец и друг по Великой войне, которого он сам, в семнадцатом году, силой почти отправил домой, сделает всё возможное по её спасению. Всё, что в его силах и на что даст благословение Господь или Аллах.

Молодой организм Елизаветы Пепеляевой быстро справился с потрясением. И она ни у кого не выпрашивала подробностей той страшной истории, виновником которой был конь её мужа.

Муса отпоил её кумысом и она снова стала просто очаровательной.

Председатель ЧК был умным и опытным человеком. Он давно понял, какое влияние на Елизавету имеет татарин-табунщик и старался всячески с ним сойтись, подружиться.

И всегда, приезжая к нему в дом, к Елизавете, щедро одаривал того необходимыми в хозяйстве, в данный момент, вещами. И ничего, при этом, не требовал взамен.

Просил о единственном – поспособствовать в том, чтобы Елизавета Мстиславовна доверилась ему, так как он приличный и честный человек и стала выходить с ним в свет, хотя бы изредка.

– Ну, что ей себя заживо хоронить в этой степи? Жизнь-то не остановишь, она продолжается. А что касается генерала Пепеляева – то фортуна очень изменчива, может его уже... – он не договорил, но татарин понял, что ему хотел сказать этот человек, которого он не страшился, но от которого ждал в любую минуту чего-то неожиданного и таинственного, а поэтому и не мог никак довериться полностью.

И в очередной приезд начальника ЧК, он уже сам сказал Елизавете:

– Ты, дочка, поедь, мир посмотри, развейся, может, что узнаешь и о Его Превосходительстве. Да и нельзя нам с тобою вызывать гнев этого человека. Он нас в покое не оставит.

И она – молодая, яркая, красивая, истосковавшаяся за привычным укладом жизни, годы уже не имевшая никакой информации о своём Георгии, генерале Пепеляеве, согласилась.

Но оговорила свои условия сразу:

– Только на спектакль! Я хочу, чтобы мы с Вами объяснились сразу же, как говорят – до переправы.

Руководитель ЧК восторженно воскликнул:

– Да, да, богиня моя! Только спектакль, а всё остальное – в руках Божьих. Пусть он нас и рассудит... И поможет Вам принять должное решение.

Весь театр гудел. Более красивой пары в этот вечер там не было.

Председатель ЧК был в строгом чёрном костюме, его богатые волосы, с ранней сединой на висках, золотое пенсне, придавали ему вид интеллигентный и более чем светский.

Он галантно поддерживал свою ослепительную даму под руку. Она была в вечернем, нарядном платье, шарф с позолотою окутывал её царские плечи, из драгоценностей – только на правой руке у неё было старинное кольцо, да в ушах поблёскивали скромные бриллиантовые серёжки.

Завидев цветочницу, председатель ЧК жестом подозвал её к себе и вручил солидную купюру за букет ландышей.

Та, побелев от страха, осознавая, кто ей вручил эти деньги, на которые и всей корзины цветов было мало, тут же исчезла из театра.

– Благодарю Вас, очень Вы мне... угодили. Ландыши – мои любимые цветы, – промолвила спутница председателя ЧК с очаровательной и доверительной улыбкой.

Так с той поры и повелось – на любой знаковый спектакль, концерт, он всегда приглашал её.

И она соглашалась, уже не сопровождая своё желание какими-то условиями, оговорками.

Как-то незаметно и ненавязчиво, он подобрал для неё в этом приморском городе красивый особняк на берегу моря, который ей сразу так понравился, что она тут же в него и переселилась, уже не терзаясь никакими угрызениями совести.

В особняке была подобрана, с большим вкусом, хотя и разных стилей, дорогая мебель, роскошное убранство столовой всегда привлекало старинным золотом, тяжёлым, в золоте и серебре, хрусталём.

К обеду, а он норовил почти всегда обедать с ней, подавалось её любимое – масандровское Алеатико Аю-Даг. Он знал, что это вино любила, при нахождении в Крыму, последняя императрица Александра Фёдоровна.

Как-то всегда, очень кстати – то ко дню рождения, то в день её ангела или ещё к какой-либо памятной дате или годовщине, у неё стали появляться старинные драгоценности, которым знающие ювелиры цены дать не могли, а вот о прежних их владельцах знали всё достоверно.

Всю их историю жизни и трагической смерти при новой власти.

К сожалению, было именно так, очень многие из них закончили свой путь во владениях председателя ЧК и уже никогда и никому не могли поведать о судьбе своих ювелирных коллекций и пристрастий.

Молодость и жизнь брали своё. И Елизавета, как женщина изведавшая мужскую любовь, но так ею и не насытившаяся, томилась ночами, как-то даже подурнела, на неё находили беспричинные и частые минуты хандры и душевного расстройства.

И в один вечер, когда ураган неистовствовал в ветках кипарисов, магнолий, каштанов и сосен, а море обрушивалось на берег с такой силой, что содрогался даже нарядный особняк, в котором она проживала, даже не сказала, а как-то жалобно, просяще, не смотря в глаза председателю ЧК, простонала:

– Не... уходите, мне страшно...

И с этого вечера он, уже насовсем, переселился в этот особняк, который стал охраняться с особой тщательностью.

В одну из тёмных южных ночей, конечно, он сделал всё грамотно и изящно и она этого не видела, находилась в гостях, из близлежащих к её особняку домов, куда-то исчезали прежние жители. А дома, добротные и красивые, быстро отремонтировали и там стали жить соратники из ближайшего окружения, председателя ЧК Крыма.

Она ничего этого не видела и не замечала. Она вся отдалась любви. Её сильное и истосковавшееся за мужчиной тело, повелительно требовало его внимания и недюжинных сил.

И скоро все заметили, как постройнел и помолодел председатель ЧК. Изменился и его крутой нрав, он стал более общительным, допускал шутки с подчинёнными, нередко блистал начитанностью и образованностью в кругу её новых подруг.

От жён его сотрудников, таких же молодых и беспечных барышень, которые больше времени проводили на рынках, в модных магазинах, парикмахерских, нежели были озабочены учёбой, чтением, вскоре не укрылось, что живот у нашей героини сильно округлился и стал явно выдавать то, что там уже, во всю, теплится новая жизнь.

К сроку она и родила мальчика. Чёрнявенького, курчавые волосики которого уже от рождения были длинными и красивыми, как у отца.

Председатель ЧК в это время пошёл вверх по служебной лестнице и стал возглавлять Главное управление ЧК по Крыму.

Но он не стал забирать жену и сына в Симферополь, такой затёрханный и некрасивый после приморской Ялты, а старался сам, ежевечерне, приезжать домой. А если дела службы заставляли всё же остаться в Симферополе на ночь, звонил по телефону и неизменно, каждый день, присылал с адъютантом букет багровых роз. Она их так любила и всегда только сама ставила в вазу.

Так и шла жизнь. И наступил момент, когда она, наконец, забыла о своей прошлой судьбе, о дерзновенном и бесстрашном Пепеляеве. Она не могла даже отчётливо вспомнить его лицо.

Более того, она убедила себя в том, что иной жизни у неё и не было и она всегда – если уж не пылко, как судьбу, любила, то уважала и испытывала большую привязанность к своему солидному и такому занятому мужу – она так называла Гольдберга даже в мыслях.

Он же её не просто любил, а боготворил. И была лишь одна потаённая страничка, которой он страшился даже сам, и предпринимал огромные волевые усилия, чтобы она не стала ей известной.

Суть её была в том, что он страшно, до лютой ярости, ненавидел Пепеляева за то, что тот был первым у его женщины, что тот – впереди его, такого могущественного и сильного, которому было подвластно всё, познал её любовь и страсть.

Эта ненависть так иссушала его душу, что он не выдержал и в один из дней пригласил в свой дом архиепископа, который, исподволь, сумел убедить и доказать молодой женщине, что та никаких обязательств, в силу создавшегося положения, перед своим первым мужем не имеет. Да и не известна его судьба, жив ли вообще?

И они вдвоём, после этой встречи, как-то успокоились вдруг и раскрепостились. Не было отныне прихоти, желания её, которые бы он не исполнил. Тем более – на земле мало было такого, что можно было для него возвести в ранг невозможного.

Сын их радовал. Учителя, самые лучшие, обучали его с малолетства языкам, игре на фортепиано, рисованию...

И ей казалось, что мальчик, по всем направлениям творческого развития, демонстрировал не то, что дарования, а подлинные таланты, серьёзные и они могли стать, в будущем, его основным занятием, призванием.

Ах, как она хотела явить миру нового Чайковского или, скажем, Репина, талантливого писателя, сродни Гюго – она очень любила Гюго и неплохо знала его творчество.

Все её намерения в этих направлениях поддерживал Председатель ЧК Крыма, её муж, который к шести годам сына уже изрядно затяжелел, хотя и хранил ещё видную и гордую осанку красивой головы, с пышными, вьющимися волосами, которые уже щедро выбелила седина. Но она ему очень шла и не портила породистого лица, на котором привычно лежала гримаса пренебрежения к окружающему миру, ко всем людям, которые были ниже его по занимаемому положению. И эта гримаса его оставляла только на пороге дома, в кругу любимой семьи.

Единственное, что вызывало у него недовольство собой – это большой живот, который ещё больше подчёркивался широким кожаным ремнём на шерстяной гимнастёрке.

И он, осознавая это, по настоянию своей жены, стал носить просторный френч, такой же, какой носил Вождь, что делало председателя ВЧК не только привлекательнее и стройнее, но и величественнее и значимее.

Никогда не носивший усов, он, к тридцать девятому году, отпустил их, причём, именно такие, какие были у Вождя.

И всегда гордился при этом, когда видел, что его подчинённые и просто знакомые, даже вздрагивали, встретясь с ним, так как сходство с Вождём было у него поразительное. Только ростом он был значительно выше того.

Вечер десятого мая тридцать девятого года ничем особым не отличался среди остальных.

Их мальчик, гордость отца и матери, завершал десятый класс, и они, за сытным и обильным ужином, обсуждали планы по устройству его будущего. Она и не заметила, как за последние годы на четыре размера увеличила всю свою одежду, но была, как всегда, даже сильно затяжелев, свежа и красива. Той отцветающей красотой греховных женщин, которая уже никогда не возвращается и отцветает ярко и пышно, очень быстро – раз и навсегда.

Во время ужина служба, в учтивом поклоне, передал на серебряном подносе, как было заведено у них, корреспонденцию.

Среди многих писем, документов, лежала визитная карточка французского писателя Жоржа де Пеппла, который был очень модным в Европе, ибо никто более правдиво не передал всю трагедию белого движения в России и, особенно, в Крыму.

Было такое ощущение, и председатель ЧК – и как участник тех событий, и как читатель французского писателя – понимал, что пишет очевидец этих страшных событий, суровых потрясений, сам перенёсший их и прошедший по своей страшной дороге, через все злоключения судьбы.

– О, дорогая этого надо принять. Непременно принять. Ты же тоже зачитывалась его романами, которые стали выходить где-то с двадцать восьмого года, помнишь?

И он, неторопливо поднявшись, направился к роскошным шкафам, в которых стояли тысячи тщательно подобранных книг. Своей библиотекой он гордился и знал, что такой нет ни у кого более.

Сам лично, по завершению спецмероприятий, как он называл аресты бывлой знати, отбирал в свою библиотеку оставшиеся от прежних хозяев книги.

Его жена как-то нервно вздрогнула и ответила ему в спину:

– Нет, дорогой, ваши войны и кровь, испытания – меня никогда не прельщали и не занимали... Мне просто страшно... И не интересно... Я – не хочу даже вспоминать об этом.

Скоро её муж вернулся к столу. В руках он нёс десять–двенадцать книг, на обложке которых значился один и тот же автор – Жорж де Пеппл.

Председатель ЧК особо гордился тем, что в одной из книг автор так правдиво и ярко отобразил его образ, яркого борца против сил старого мира, что даже на совещании в Москве, он и думать не мог о такой чести, сам товарищ Сталин многозначительно подчеркнул:

«Вот каким должен быть работник органов, если даже иностранные писатели отмечают его ревностное служение партии, стране...».

– И Вам, товарищ Сталин, – смел подать голос председатель ЧК.

И попал в точку. С этого дня Сталин ему доверял всецело, неоднократно ставил в пример всему руководству Чрезвычайной комиссии – как надо выкорчёвывать контрреволюцию по всей стране.

В Крыму, где её засилье было даже большим, в силу известных обстоятельств, связанных с окончанием гражданской войны, сегодня установлена нормальная, вполне достойная для строительства нового строя, обстановка.

И его сердце, при этих воспоминаниях, наполнялось гордостью, так как сам Вождь отметил, что в наведении революционного порядка в Крыму – большая личная заслуга товарища Гольдберга, у которого надо всем учиться.

Поэтому Председатель ЧК, всецело доверяясь в домашних делах безукоризненному вкусу своей жены, всё же не удержался и поставил дополнительные задачи своему секретарю по приёму известного иностранного писателя завтра, и занялся своими неотложными задачами, которые не убавлялись, а напротив – нарастали каждый день.

У неё тоже были планы на весь будущий день, как всегда – магазины, выставки модной одежды, парикмахер...

К восемнадцати тридцати вся семья была в сборе. За красиво сервированным столом на веранде, которая нависала над самым морем и была построена по её настоянию, сидел председатель ЧК Крыма в строгом

костюме; ослепительно сияя – отдавала последние распоряжения прислуге – его красавица-жена; и скромно и тихо, глядя в дымку над морем – безмятежный и красивый юноша, чистое и одухотворённое лицо которого портило единственное – капризный излом губ.

Слегка дождало, совсем немного, но это ещё больше подчёркивало уют и красоту дома, в котором ждали высокого гостя.

Минут без пяти к назначенному сроку, возле дома заурчала машина, из неё – было видно из окон веранды, у которых стояла вся семья председателя ЧК Крыма, вышел стройный и высокий мужчина в богатой и строгой европейской одежде, в шляпе и переливающейся накидке.

Открыв зонт, он постоял у двери особняка, хотя она была открыта и служка приглашал войти в дом, полюбовался морем, а только затем, передав зонт тому же вышколенному служке – легко взбежал по ступенькам в прихожую.

Это был настоящий зал. Пальмы, зеркала, дорогое серебро люстр и тяжёлые портьеры, делали её величественной и нарядной.

Посреди прихожей, вся семья председателя ЧК Крыма, встречала именитого гостя.

Он твёрдо пожал руку хозяину дома, тот даже вздрогнул от боли, поцеловал холёную руку хозяйки и на европейский манер – потрепал по щеке их отпрыска, красивого, черноволосого юношу, который даже в этой обстановке не мог убрать со своего лица привычную мину надменности и превосходства.

Француз приятно удивился, увидев, что рядом с обеденным столом, на инкрустированном золотом столике, в каких-то восточных рисунках, лежали, в двух аккуратных стопках, все его книги.

– Благодарю Вас, месье Гольдберг. Мне это очень приятно, – произнёс он, неожиданно, на чистейшем русском языке эти слова учтивой признательности, от которых и председатель ВЧК по Крыму и его жена отчего-то вздрогнули.

– Я вижу, что у Вас нет только моего последнего романа. Но он вышел только что и его, конечно же, Вы просто не могли иметь.

Как-то зловеще усмехнулся в свои аккуратные усы и добавил:

– Я его, с радостью, Вам дарю сейчас, – и он, вынув из нарядного портфеля книгу, на обложке которой была, как и на всех его книгах – свеча, Георгиевские крест и шашка, открытая книга, быстро подписал красивой ручкой, в золоте, дарственную и положил сверху стопки своих книг.

– Только одно условие, господа – эту книгу Вы прочтёте, ну, хотя бы – просмотрите, лишь после моего ухода. Иначе я буду лишён приятной беседы с такими интересными людьми. И – такими... желанными для меня, для нашей... встречи.

И как-то заговорщицки посмотрел при этом на председателя ЧК Крыма, подмигнул ему и загадочно заключил:

– Я просто убеждён, что и наша встреча послужит мне новым сюжетом к будущему роману. Вы столько знаете и столько видели, что можно тома написать. С нетерпением буду ждать Ваших интересных рассказов, историй, приключений...

Председатель ЧК от глубокого удовлетворения даже покраснел:

– М-м-м, да, уж, но для нас Ваше пребывание, Ваш визит – это такая честь. Не скрою, польщён, что в одной из Ваших книг, я предстаю каким-то идеальным, чуть ли – не святым на службе нашей власти...

– О, господин Гольдберг, наши профессии с Вами схожи и сберечь святость там, где ты видишь всё несовершенство человеческой натуры – предательство, ложь, обман, корысть, поругание клятв и даже обетов пред Господом – о какой святости можно говорить в этом случае?

– Мы с Вами – страшные грешники, – заключил он и покровительственно похлопал Гольдберга по плечу, а затем, залпом, выпил полный фужер вина.

– О, памятный для меня портвейн красный, Ливадийский. Давно его не пробовал. Почти двадцать лет. Полагаю, что Вы знаете, что это – любимое вино последнего Государя.

Гольдберг при этом даже поморщился:

– Для этого, господин писатель, мы и революцию делали, чтобы, так сказать, трудящиеся...

Француз красноречивым жестом обвёл богатое убранство дома председателя ЧК и откровенно засмеялся. Жена чекиста, увидев холодный и жёсткий блеск его очей при этом, как-то сжалась и вся побледнела.

Хозяин, после минутного замешательства, кинулся к писателю и, стараясь разрядить напряжённость, предложил:

– А может – коньяк? У нас есть замечательный, многолетней выдержки, коньяк.

– Да, – ответил француз, сегодня – лучше коньяк. Много коньяку. Мне, что-то уже очень давно, не было так интересно и так... весело. Благодарю Вас, господа,... за честь.

Коньяк приятно туманил голову хозяина и его именитого гостя.

Хозяйка же продолжала зябко кутаться в старинную шаль, при этом ещё больше бледнела и пребывала в полной растерянности.

Она словно силилась что-то вспомнить, но память о прошлом ускользала от её ослабевшего сознания и она, от этого, всё больше замыкалась в себе и боялась даже глаза поднять на гостя.

Наконец, пересилив себя, она выпила бокал своего любимого Алеатико, которому была верна всю жизнь, прожитую с председателем ЧК и только после этого стала с тревогой вглядываться в лицо писателя-француза.

Его не портил шрам, через всю правую щеку, к тому же он умело его маскировал аккуратной бородкой, усами, да длинные, с проседью,

волосы – до плеч, придавали ему мужественность и какую-то гордую таинственность.

Он был очень учтив. Опережая хозяина, норовил ей подлить любимого вина в бокал и даже прокомментировал, взяв первый раз старинную бутылку в свои красивые руки:

– О, вино императрицы! Вам Ваши вожди – повернулся он к председателю ЧК – не поставят в вину эту... м... классовую неразборчивость?

Хозяин как-то вымученно улыбнулся и поспешил опрокинуть изрядный бокал коньяку из старинного бокала.

И только после основательного подкрепления всех – и хозяев, и их гостя выдержанным коньяком и марочными винами, разговор за столом обрёл многоплановый характер.

Они, а вернее – председатель ЧК и француз, так как хозяйка только их слушала, не задавая ни единого вопроса, обсудили положение в Европе, где в Германии уже шесть лет правил Гитлер и почти вся Европа была под его властью.

Гость и здесь удивил хозяина дома:

– А Ваше руководство понимает, что эти все европейские блиц-войны – всего лишь камуфляж? Главная цель Гитлера – Россия. И попомните моё слово, этот час близится и война уже стоит на пороге Вашей страны.

С какой-то грустью в голосе, продолжил:

– Только Россия мешает Гитлеру установить мировое господство, других сил, способных его сдержать, в мире просто нет.

Помолчав, не отводя своего пристального взгляда от лица председателя ЧК и словно решившись на что-то крайне важное для себя самого, заключил:

– И в России он будет преследовать совершенно иные цели, нежели при оккупации европейских государств. Если там он не порушил основ государственного устройства, а только ограничил суверенитет и обложил эти государства контрибуциями, то в России будет стоять вопрос об уничтожении государственности, независимости, более того – культуры, что самое главное.

Хозяин дома сидел в страшном напряжении и словно оцепенел:

«Что это? Провокация? Тайный умысел? Как себя вести в этом случае?».

И гость это почувствовал. Выпив ещё изрядную рюмку коньяку, он, прямо и открыто, посмотрев в глаза председателю ЧК, сказал:

– Господин Гольдберг, не думайте, что мне Россия менее дорога, нежели Вам. Все мои корни и все истоки – здесь, в России.

Больше они на эту рискованную тему на протяжении всего вечера не говорили.

Без каких-либо усилий гость перешёл к заинтересованным расспросам и обсуждению проблем советской и французской литературы. При этом он легко переходил с французского языка – на русский, удивил хозяина дома глубокими познаниями в этой области.

Особенно высоко оценивал он творчество Михаила Шолохова, уже проявившего себя молодого Константина Симонова, Суркова, Тихонова, хорошо знал творчество Алексея Толстого, Куприна, Бунина, неожиданно смело и критично говорил о Пастернаке и Мандельштаме, цитировал многие стихи Есенина, Анны Ахматовой.

Не обошли они и тему гражданской войны. Председатель ЧК заметил, как заledenели при этом глаза его собеседника, а правая рука, непроизвольно, в горячие минуты спора, несколько раз даже опускалась на то место, где военный профессионал безошибочно находит эфес шашки.

– А Вы, простите, – подал голос хозяин дома, – в гражданскую – были у нас в России?

И как-то вымученно улыбнувшись – довершил тихо и вкрадчиво:

– Ваши романы словно родились здесь, на русской земле. Вы проявляете такую завидную осведомлённость в описании сцен битв, нравов, демонстрируете блестящее знание расстановки политических сил, на страницах Ваших книг оживают образы вождей белого движения, они у Вас – столь реалистичны, что я вижу пред собой Деникина, Врангеля.

И уже категорично, словно своему подчинённому, заключил:

– Так может написать человек, который всю эту ситуацию знал изнутри, был участником тех событий. Я прав?

Француз испросил позволения у хозяйки дома, красиво и как-то вкусно затянулся, после её кивка головой, сигаретой, от чего она вздрогнула всем телом и стала неотрывно разглядывать его выразительные руки с длинными пальцами и, вместе с тем, такие крепкие и сильные. На левой кисти, чуть выше пальцев, проходил хорошо видный шрам, который ей напомнил что-то до боли знакомое.

Он, сделав несколько затяжек, спокойно, глядя прямо в очи, ответил председателю ВЧК:

– Да, я дитя своего времени и быть в стороне от таких событий не мог. Поэтому я хорошо знаю все обстоятельства и возникновения, как Вы её называете – гражданской войны и много иного, что происходило в России в то время.

Тяжело вздохнув, почему-то перейдя на французский, еле слышно обронил:

– Да и людей той поры, с двух сторон, многих я знал лично...

И вдруг он резко сменил тему разговора, совсем на неожиданную:

– Но Вы, по крайней мере – по моим книгам знаете, что я, как представитель... Франции, немало видел интересного и во многих иных концах света. Особенно, я думаю, Вам будет интересна одна поучительная история, свидетелем которой я был в Алжире. Немало их было и в иных

государствах мира, куда меня заносили превратности судьбы или, так скажем, человека, связанного с армией и средствами массовой информации.

– Что делать, – улыбнулся он, – селяви, такова жизнь, и я, как гражданин своего государства, был часто... несвободным в выборе не только пути, но и собственной судьбы.

Поиграв старинным бокалом в руках и посмотрев через него в окна веранды, с какой-то нарочитой бодростью сказал:

– Разве я один такой? Вспомните Киплинга. Блестящий писатель, но и английский офицер, он, будучи дитём своего времени и патриотом своего государства, воевал в Индии за интересы Великобритании, не выбирая средств и способов борьбы. От него это, к сожалению, не зависело.

Поставив бокал на стол и как-то загадочно улыбнувшись, обратился к жене председателя ЧК:

– Но я Вам сегодня хочу рассказать одну необычайную историю, которая мне не даёт покоя до сего времени.

Он как-то нервно при этом засмеялся, отпил глоток коньяку и продолжил:

– Это история о любви. Необычайно красивой и трагической, – и он, как-то по-особенному, посмотрел при этих словах на хозяйку дома и её сына.

Она вздрогнула, но свой взгляд, от его пронзительных очей, не отвела. Он, спокойно выдержав её взгляд, продолжил:

– Вы задумывались когда-либо, – наклонился он к председателю ЧК, – а что такое любовь вообще? Чувство любви к Родине – это понятно, это святое. Оно должно быть присуще каждому порядочному человеку. Ибо любой из нас мало чего стоит без Родины, без служения Отечеству.

Затянулся душистым дымом сигареты и проникновенно, как, о самом сокровенном, с грустью добавил:

– Это чувство любви к своей Родине питает нравственные силы человека и раскрывает их в наибольшей мере в пору суровых испытаний.

Рубанув по воздуху рукой, с острой тоской продолжил:

– Свято и непорочно чувство любви к матери. Это единственный человек – мать, которая никогда не предаст своё дитя и пожертвует во имя его даже своей жизнью без раздумий. Я это знаю.

И откинувшись на спинку кресла, как-то даже сглатывая окончания слов, обратился к хозяевам дома свой вопрос:

– А вот любовь к женщине, единственной, что это такое?

Муж-председатель ЧК переглянулся с женой и глазами указал гостю на сына:

«Время ли говорить мальчику об этом? И можно ли вообще вести разговор с ним в этом ключе и в этом тоне?»

Гость всё понял и весело засмеявшись, ответил на немой вопрос хозяина дома:

– О, не волнуйтесь. Юноша уже выходит на дорогу самостоятельной жизни. В его возрасте я уже любил, любил высоко, истово и пронёс эту... любовь... через всю жизнь.

Он как-то стушевался и даже покраснел:

– Но я сейчас не об этом. Я был свидетелем одной необычайной истории любви, которая, как мне кажется, достойна быть запечатлена, навечно, в творениях даже более значимого писателя, нежели Ваш покорный слуга.

И он, закулив в очередной раз сигарету, начал свой рассказ:

– В союзном нам племени бедуинов, у предводителя, была жена необычайной красоты и... ума. Это был действительно цветок, жемчужина Востока, ибо я за всю свою жизнь – женщины, более красивой, не встречал. И умной.

Он при этом, с какой-то затаённой болью, пронзительно посмотрел на жену председателя ЧК. Да так, что та стушевалась и покрылась некрасивыми алыми пятнами:

– И в неё влюбился командующий экспедиционным корпусом.

Наслаждаясь оцепенением жены всесильного председателя ЧК, продолжил:

– Он нашёл предлог, чтобы удалить предводителя племени на другой фронт, а сам же повёл осаду этой особой неприступной крепости.

Нехороший смешок прорвался у него из глубины души и он, понимая это, как-то торопливо, стеснительно даже, поправился:

– Нет, нет, Вы не подумайте о нём дурно. Никакого подчинения её воли страхом, никакого насилия.

Сжав свои красивые руки, да так, что побелели и пальцы, договорил:

– Он просто был к ней предельно внимателен – цветы, подарки, неназойливые приглашения на рауты, которые устраивало наше посольство, спектакли, выезды в свет...

Но тут же, с леденящим душу спокойствием, обронил:

– И не прошло и полугода, как эта женщина... пала к его ногам. Она... полюбила этого человека. Полюбила зрело, обдуманно. Он окружил её невообразимой роскошью, она стала иметь свой дворец, свой выезд, своих служек.

Жёстко, словно в две нитки, сжал свои губы и продолжил:

– Самое же главное, он поднял её в собственных глазах: от безвольной тени своего господина – до ровни, даже выше себя ставил публично и всё подчёркивал, терпеливо возвращал её достоинства. А они были несомненными.

Минуту помолчав, словно собирался с мыслями и отчеканил ледяным голосом:

– Минуту ещё какое-то время и она родила ему сына. Мальчик, пожалуй, сегодня ровесник Вашего сына.

Жена председателя ЧК в ужасе сжалась в комок. Даже вино из бокала расплескалось ей на колени, но она этого не замечала.

Их же гость продолжил, как-то горько усмехнувшись, да так, что складка горестной грусти так уже и не ушла с его лица:

– Но, война, господа. И на войне – как на войне. Он стал её задаривать драгоценностями, которые изымались в результате разбоев у местной знати, ибо она вся уничтожалась, как противник, без лишних сантиментов. Мне кажется, что это закон всех военных столкновений, всех войн. Роскошь, в которой она стала пребывать, была запредельной.

Тут уже председатель ЧК заволновался и с тревогой стал смотреть на гостя. А тот, словно не замечая его терзаний, продолжал:

– И вот, на одном приёме, по-моему, в честь какого-то юбилея сына, куда был приглашён и Ваш покорный слуга, в зал вошёл необычный гость – это был её первый муж.

Эти слова он обратил только к жене председателя ЧК.

Насладившись её замешательством, словно ни в чём не бывало, продолжил:

– За отличия перед нашим государством он был удостоен генеральского звания, стал кавалером ордена Почётного легиона.

С каким-то внутренним торжеством, возвысив голос и пристрастно, словно о наболевшем, глубоко личном, дополнил:

– Зал при его появлении замер. Многие, если не все, знали все детали истории семьи бедуинского вождя и его красавицы-жены.

И тут прорвалась его эмоциональная натура, да он её и не скрывал:

– И то, что он сказал, обращаясь к присутствующим, явилось таким потрясением, что красавица-бедуинка не дожидаясь утра, а наложила на себя руки и в традициях кочевников – кинжалом перерезала себе горло.

Судорога исказила лицо рассказчика, но он быстро справился с нею и уже как-то опустошённо и тихо, словно говорил всё это себе одному, завершил:

– Но, это будет завтра. А сейчас, в минуту своего появления в зале, вождь бедуинов, сверкая гневом, гордо подняв голову, заявил:

«Я бы мог вас убить обоих. Сейчас же. Тем более, что весь дворец окружён моими войсками. Но я этого делать не буду. Вы и так уже мертвы. Вы мертвы потому, что вся эта роскошь, которой вы себя окружили, все эти драгоценности, которые сияют на твоих плечах, пальцах, в ушах, – и он указал на свою бывшую жену, – это кровь моего народа. Это всё награбленное и отнятое палачами у своих жертв.

Верные служки твоего мужа – женщин уничтожали только за то, чтобы они никогда не признали своих драгоценностей, истреблялся весь род, если кто-то мог хранить память о них или же – о предосудительных поступках, совершённых во имя этой преступной страсти.

Не щадили даже малых детей, чтобы у вашего сына было всё.

Даже семью старейшины рода уничтожили по приказу твоего нынешнего мужа, и ты – носишь эту диадему, как знак королевской власти?

Здесь везде, – и он обвёл рукой вокруг, – в этом дворце, кровь и слёзы тысяч и тысяч людей.

Поэтому вас настигнет проклятье Всевышнего и вы падёте под его гневом...»

– И он ушёл. Тишина в зале была такой, что долго слышались его шаги по мраморной лестнице.

Наслаждаясь растерянностью хозяев дома, почти не глядя на них, с палящим внутренним огнём, который вырывался наружу и отпечатался на его лице, француз продолжал свой рассказ:

– Гости сразу же разошлись, выразив этой семье такое презрение, вынести которое нормальным людям было просто невозможно.

Писатель помедлил, справляясь и со своим волнением, словно переживая эту историю вновь, а затем продолжил:

– Жена, как я сказал, не дожидая до утра, командующий был при таинственных обстоятельствах, через несколько дней, заколот кинжалом, а мальчик...

Голос его дрогнул, но он – всё же завершил свой рассказ твёрдо:

– У мальчика была самая трагичная судьба. Неведомо кто сделал его наркоманом и он исчез из родительского дома, закончив свою жизнь в трущобах нищим бродягой.

Перейдя почти на шепот, словно своим сообщникам, подмигнул и промолвил:

– Вот такая грустная история...

И, закулив ещё одну свою душистую сигарету, продолжил, обращаясь к хозяевам, сидевшим в полном оцепенении:

– Да, что-то я вогнал Вас в тоску, господа. Простите. Следующий раз я расскажу Вам историю более весёлую и интересную.

Тут же, посмотрев на свои богатые швейцарские часы, засобирался:

– А сегодня – уже пора...

И он сам – налив себе полный фужер коньяку, выпил его залпом и заторопился к выходу.

– Честь имею, – это он произнёс уже от самой двери, даже не подойдя к руке хозяйки дома, не пожав, словно и не видел её, протянутую для прощания и руку председателя ЧК.

А на самом выходе, обернулся и обратился лишь к их сыну:

– А книгу эту я подписал тебе. Прочти её, я думаю, ты многое из неё узнаешь...

Кивнул головой и даже прищёлкнул, при этом, каблуками:

– Прощайте, господа! Честь имею!

Сын всю ночь не сомкнул глаз. Отец и мать боялись зайти в его комнату. Они оба знали, что там происходит.

Из книги юноша узнал, кто была его мать в юности, узнал об огромной любви к ней генерала Пепеляева, чей портрет красовался в этой книге на заглавной странице – молодой красавец-генерал, с единственным Георгиевским крестом на мундире, пронзительно смотрел в глаза ослепительной и счастливой девушке, в которой, с первого взгляда, он признал свою мать.

Уже под самое утро в кабинете председателя ЧК раздался сухой выстрел, а затем – и второй.

И, когда встревоженная охрана вбежала в их покои, сразу увидела – на диване сидела, свесив голову, жена председателя ЧК и густая, почти чёрная кровь вытекала из раны, прямо из её простреленного сердца на красивое и богатое платье.

У председателя ЧК пулей была пробита голова и наган ещё дымился в его руке, подчёркивая весь ужас произошедшего.

А на столе – охранники увидели множество писем, поверх которых лежала фотография неведомого им генерала, в форме давно минувших лет, который держал за руки ослепительно красивую и счастливую молодую женщину. В ней охранники не могли не узнать жену председателя ЧК.

Сын же их исчез и сколько его не искали – никаких следов обнаружить так и не удалось.

Истаял человек и не оставил после себя даже малейшего следа.

И всё же он был, но так и остался неведомым в России, для русских...

В начале сорок четвёртого года фашисты, в Париже, казнили руководителя сил Сопротивления. Он бесстрашно шёл на казнь. И очень многие парижане узнали в приговорённом к повешению модного писателя Жоржа де Пеппла, которым многие зачитывались.

Особенно популярным, в начале сорокового года, был его роман о событиях в далёкой России.

О великой любви и великом предательстве. В главном герое, без труда, приближённые к нему друзья и просто знакомые узнали генерала Пепеляева, более известного французам как писатель Жорж де Пеппл.

Но, главным образом, в романе речь шла о неведомой для французов женщине, которая отступилась от генерала Пепеляева и связала свою судьбу с председателем ЧК Крыма, вершившем здесь свой суд и расправу со всеми, кто не только боролся с новой властью, но и просто был к ей нелояльным, высказывал даже малейшие суждения о несправедности деяний служек того режима.

Ночью, после казни генерала, группа патриотов убила часового и сняла с виселицы тело того, кто был в России дерзновенным генералом Пепеляевым, тайком захоронив его на знаменитом кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа, где нашли последнее пристанище многие достойные сыновья далёкой России.

Правда, к несчастью, и недостойных двурушников и иуд, которым наш герой не подал бы и руки – тоже упокоилось немало.

Самое деятельное участие в этой операции принял видный и бесстрашный молодой человек, который был очень похож на русскую красавицу – ту, чья необычайно красивая фотография была помещена в последней книге Жоржа де Пеппла.

Особенно поражали его глаза – необычайно голубые, распахнутые, в обрамлении густых ресниц, которые, казалось, вобрали в себя все боли и тревоги нашего сурового мира.

Он же, по окончании войны, сразу же после освобождения Франции от фашистов, поставил памятник на могиле казнённого генерала Пепеляева.

Неоднократно видели его на этой могиле и в послевоенные годы, несколько раз – в сопровождении сына и яркой женщины. Говорили они, при этом, только на русском языке.

Сподобилось и мне увидеть этот необыкновенной красоты памятник – молодой генерал русской службы, с устремлённым в сторону России лицом, словно ожидал встречи с той, которая была всей его судьбой и смыслом жизни.

Положив цветы на его могилу и зная, по счастливой случайности всю эту трагическую и величественную историю истраченной любви, я с глубокой грустью думал лишь об одном:

«Что бы явила эта любовь миру, не оказалась она на таком крутом изломе жизни и судьбы моих героев? Что, по сравнению с ней, выдуманные искусственные страсти?

Нет, жизнь всегда богаче любой выдумки, любой фантазии. Надо только уметь услышать её голос. Но мы очень часто не слышим даже друг друга, а не то, чтобы услышать голос судьбы».

*И Господь отвернулся от людей,
и страшную жатву свою
стал собирать дьявол.
Умножились страдания
и кровь пролилась реками...*

И. Владиславлев

ПАМЯТНИК В ЛЕСУ

В ожидании открытия тайны я всегда входил в этот лес, под Феодосией, с каким-то внутренним напряжением и даже страхом.

Знал, по преданиям стариков и рассказам родной бабушки, о какой-то особой тайне этих мест, но шли годы и годы, а я всё так и не мог приблизиться к её разгадке.

И плутал по лесу множество раз, сторонясь натоптанных дорог, твёрдо зная, что свой страшный грех всегда укрывает человек от чужих глаз даже в том случае, когда и не страшится никого.

Меня мучали тревоги и сомнения и я знал, что не могу оставить этот лес, не докопавшись до истины. Тем более, моя горячо любимая бабушка так и сказала, что здесь, она это твёрдо знает, и оборвалась нить жизни моего деда, полного Георгиевского кавалера, который из нижних чинов, за храбрость и мужество дослужился до высокого, немыслимого даже для простого казака, чина есаула.

И вот в один из дней, прямо в густом лесу, мне встретилась старушка, одетая в костюм, который был бы уместен сотню лет назад, судя по документальному кино и театральным постановкам о том времени.

Она несколько меня не испугалась. Да и чего бояться в эти лета – сама, первой, поздоровалась и сказала лишь несколько фраз, глядя прямо в мои глаза своими пронзительными, словно у ангела, синими очами:

– Давно замечаю, ищите. И знаю – что. И понимаю Вас, быть может, рядом с моим Алексеем и прадед Ваш лежит.

– Дед.

– Идите прямо, вон, на тот большой камень и Вы там увидите всё. И всё поймёте.

И устало опираясь на свою трость, она побрела вниз, уже выходя на пробитую в лесу накатанную дорогу.

Я долго стоял недвижимо, пока она не скрылась из виду, а затем, тяжело вздохнув, продолжил путь к указанному ею ориентиру...

Да, именно это я и искал – на вершине горы, в плотном окружении леса, раскинулся рукотворный пантеон.

В том, что это именно захоронение, братская могила – сомнений у меня не было.

На земле, камнем, был выложен огромный крест, сориентированный по сторонам света. Посредине него – почти идеальный круг, который, собственно и замыкал могилу, в которой для многих места хватило, одному такую не делают.

А посреди могилы стояли три связанные трёхлинейки, конечно, превратившиеся в куски ржавого железа, с истлевшими от времени и рассыпавшимися деревянными частями.

Стоя на возвышенности я сразу заметил, что кизилковыми деревьями, стоящими отдельной группой, была образована дата «1920 год» и поодаль от этих цифр, внизу, в зелени кустов разросшегося барбариса, угадывалась и вторая цифра «314».

Я оцепенел. Не знаю почему, где только и жила вера в эту диковинную и необычную встречу, но я искал именно это место.

Моя бабушка, царство ей небесное, сказывала, что как в 1920 году, в декабре, прогнали в сторону леса большую группу белых, в основном – мальчишек молоденьких, юнкеров, так с той поры и перестали в этот лес люди ходить.

А раньше, по её рассказам, кизильное место было и она, девчушкой, корзинками приносила домой зрелые рубиновые ягоды.

– А после того, значит, как увели белых-то, под конвоем в горы – рассказывала она мне в отпусках, – на протяжении целого месяца каждую ночь люди видели, как там горел костёр и кто-то упорно и долго рыл землю.

– Сохрани Господи, – и она торопливо крестилась при этом.

Успокоившись и отдышавшись, стала говорить так, словно это было вчера:

– И когда всё в лесу затихло и все работы прекратились, отважился один мужик пойти на то место, да седым прибежал обратно, а вскорости – и умер. Долго не мог говорить, а когда речь вернулась – он и рассказал, что памятник возник какой-то в лесу, а на винтовках, которые связанными стояли посреди кургана – гроздьями погоны висели. Всех юнкеров этих, что были постреляны, акурат, такие же, в каких и ты, когда курсантом был, в отпуск приезжал. Несколько пар было и офицерских.

Поправив свой нарядный фартук и через силу заговорила вновь:

– А ещё – рядом хижина и в ней огонь горел, и печка топилась. Он как глянул в оконце, так и разумом помрачился сразу. За столом сидела красивая, не наших мест, ведьма, убирала как раз свои волосы, а они у неё были совершенно седыми. На стене в хижине висел портрет военного. Она час от часу вскакивала и каким-то угольком или огрызком карандаша что-то там на нём подрисовывала, подправляла на этом портрете и разговаривала с ним.

Троекратно перекрестившись, с неподдельным ужасом, довершила:

– Вот с той поры никто больше в этот лес не смел пойти. Страсть такая... только вот не пойму, внучек, что-то к старости сны мне стали сниться странные. Вроде, как зовёт меня дедушка твой, и зовёт именно в этот лес. Говорит, что всю жизнь со мною рядом, а привидеться так и не удалось...

Тяжко вздохнув, стала перебирать фартук, своими высохшими от труда и лет руками. Затем продолжила свой рассказ:

– А что, я девчушкой совсем была, как меня замуж за него выдали, только и успела мать твою родить, а его – как забрали на службу, ещё царскую, так больше, почитай, и не увидела. По ранению, был правда, в отпусках, три раза. Но так и не возвратился, с той ещё, войны. Сказывали станичники, что в наших местах и смерть принял, а где именно – не знаю.

Его дружок-одногодок говорил, что погиб дед твой ни за что – его отпускали красные домой, когда их власть-то установилась, не было на нём

греха и крови не было праведной, но потребовали, чтобы он погоны снял офицерские, да кресты. Вот, как на этой фотографии, – и она в тысячный раз указала мне на фотографию, висевшую на стене, под божницей, в почерневшей уже от времени самодельной рамке.

С фотографии, увеличенной уже в наше время, на меня смотрел бравый есаул, на груди гимнастёрки которого, на общей колодке были закреплены четыре Георгиевских креста, под ними – четыре медали, на таких же лентах – оранжево-чёрных, которые в простонародье именовать стали, после Великой Победы – гвардейскими.

На такой же ленте были и святые отцовские награды – ордена Славы – уже за войну с фашистами.

– А он, – и бабушка как-то молодо и красиво улыбнулась, – не снял крестов своих и погон офицерских. Заявил, сказывали, что его отличия честные, он их удостоен за борьбу с врагами России, кровью его политые и он не позволит никому лишать его чести. Так вот и сгинул. Не простили, значит, ему гордости этой и вместе с мальчишками-юнкерами расстреляли.

Слёзы покатились у неё из выцветших глаз и она, жалобно всхлипывая, тщилась закончить свой рассказ:

– Тогда искать было некому, да и опасно это было, а сейчас – столько лет прошло, да и такая война пронеслась, этих не сыщешь нигде, столько народу повыбило, почитай, в каждой семье, а у многих – и не по одному. И твой дядюшка, в честь которого и нарекли тебя, сын мой младшенький – после твоей матери рождённый, тоже не возвратился, сгинул где-то под Харьковом.

Повернувшись к божнице, истово стала креститься, приговаривая:

– С той поры и ставлю свечку за упокой моего Фёдора Ефимовича. Сама, видишь, дожила до девяноста лет, а он – молодым совсем и сгинул. Видный был казак. Всем вышел, а уж нрав – кремень, не отступится ни за что от того, во что верил или считал верным, правильным.

Вытерев уголок фартука свои сморщенные губы, заключила:

– Скоро уже встретимся – там, – и она указала рукой на небо, – тогда всё и выясню у него, всё разузнаю.

Долго молчала, но всё же, словно на что-то решившись, продолжила:

– А в том месте лихом не была, внучек, ни разу за свою жизнь, не знаю, что там уцелело, а что не сохранилось. Сохрани меня Господь, не к ночи будь упомянуто, – и она, в который уже раз, широко осенила себя крестным знаменем.

– А женщину ту, странную, я много раз видела за все эти годы. Да вот только не заговаривали. Передам ей, молча, еду какую, воды, посмотрим друг на друга, да так и расходимся. Она не страшная, вот только глаза словно остановились когда-то и никак на этот мир не хотят смотреть.

Всё это мне сразу вспомнилось, как только я увидел это печальное место и встретился с той загадочной женщиной на лесной тропе...

Уже наавтра, со своим сыном и внуками, вооружившись всевозможными инструментами, мы были на этом месте.

Ребятам я всё объяснил и никто из них ничего не боялся, напротив, им не терпелось привести всё в порядок и отдать долг памяти сыновьям России, какой бы веры и каких убеждений они не были. Все – дети родной земли и оставив её до срока, они не дали возможности и будущим поколениям явиться в этот мир, от того и обессилела наша страна, да и стали её терзать усобицы и кровавые внутренние разборки.

Тем более, что в нашем роду все – от мала до велика – знали, что в этих местах, в Крыму, в конце двадцатого года, сгинул мой дед, а их, детей моих – прадед, Георгиевский кавалер, о мужестве которого в годы I Мировой войны несколько страниц написал даже Будённый, с которым он служил в одном полку. И даже, надо такому случиться, мой дед был у будущего прославленного маршала сотенным командиром в кавалерийском полку.

Была при начале работ и такая мысль, что если мы поступим по-человечески, праведно и приведём это захоронение в порядок, то кто-нибудь, в другом месте, поступит так же в отношении нашего родства.

А та древняя и странная женщина, я думаю, не будет на нас в обиде и одобрит наш поступок, так как мы руководствовались при этом самыми светлыми и святыми намерениями.

Пока молодёжь убирала траву вокруг камней, образующих крест и меняла их, рассыпавшихся от времени на новые, мы с сыном – принялись за обрезку одичавших и заросших деревьев кизила и кустов барбариса.

И уже через день нашего труда строго и красиво проявилась и стала видна живая дата из деревьев – 1920 год; и число – 314.

Я догадывался, что оно скрывает число жертв, упокоенных в этой могиле и хотя об этом не говорил внукам, поняли и они это.

Между тем, молодёжь, отлучившись куда-то, притащила за моей машиной зачальный тросом огромный красивый камень красноватого, с яркими прожилками, известняка.

Я при этом подумал:

«Нет, не плохие они ребята, они такие, каких мы заслуживаем. И что мы им в души заложили, то и произрастёт. Знать бы только всем, что пустое семя – хороших всходов – не даст. Вот и думайте всегда, что Вы хотите получить из каждого молодого человека.

Если хотите стоящего, нормального человека, то и среду, в которой он растёт и формируется, создайте соответствующей – совестливой, нравственной, искренней и честной. И не воспитывал я их, не одёргивал в своей жизни, в которой, за службой и не видел их почти, а выросли, я думаю, людьми, потому что не ловчил сам, жил честно и открыто, не прятался от испытаний, боронил, если было надо, Отечество своё.

И видел, с каким благоволением они, уже сызмальства, большая заслуга в этом их бабушки, святого и светлого человека, моей жены,

которая исподволь, умело, воспитала в их сердцах светлое чувство благодарности и уважения к старшим – относились ко мне, пройденному пути. И мои генеральские погоны, Звезда Героя – были для них священны».

Ну, да ладно, что-то я отвлёкся от происходящего. Сегодня речь не об этом.

Внуки оживлённо мне рассказывали, что они подъехали к карьеру, где добывался этот красный известняк и объяснили мужикам-рабочим для каких целей им нужен хороший камень. И те сами, выбрали им эту глыбу и помогли зачалить тросом.

– А зачем он вам? – спросил я ребят, сильных и рослых курсантов военных училищ: один, старший, сына – учился в лётном, а другой, младший, дочери – в военно-морском.

– А мы хотим из этого камня высечь крест и установить в центре могилы, в центре круга, где стояли остовы сгнивших от времени трёхлинеек. Одобряете наше решение, товарищ генерал-лейтенант? – с доброй улыбкой спросил младший внук Владислав.

– Одобряю, мои дорогие, – и я, что бывало не часто, в порыве нежности обнял их за плечи. Они даже покраснели от смущения и пережитого волнения.

Работа тут же закипела. Тихонько, долотами и стамесками, чтобы не разрушить цельный камень, они добились за несколько дней ровной поверхности с одной стороны глыбы, а затем, нарисовав православный крест – специально принесли книгу, соблюдая все пропорции и размеры, стали его ваять, а внизу, у основания, приладили вытесанный так же из камня – небольшой, диаметром сантиметров в пятьдесят, Георгиевский крест, который и закрепили бронзовыми шпильками (где только и достали?) с несущей стелой, на уровне земли.

Несколько дней длилась наша работа, и я замечал, в какие-то мгновенья, что чьи-то сторожкие глаза наблюдают за нами и нельзя было сказать – одобрительно или осуждающе.

Много дней подряд мы приезжали сюда. В результате наших усилий появилась дорожка из камня, ведущая к пантеону, ступеньки, а когда чуть поодаль от захоронения мы обнаружили бьющий из земли родник – очистили его, любовно выложили дно и дорожку к нему камнем, сделали аккуратный отвод для воды, чтобы местность не заболачивалась.

После этого, словно сговорившись, легко вздохнули и сели, по православному обычаю, помянуть души погибших.

Тут же возле нас, именно в эту минуту, появилась та старушка, которая встретила меня в этом нелюдимом месте.

Сегодня она словно светилась. Старческое, высохшее и измождённое лицо, почти прозрачные ручки и тоненькая шейка, заключённая в красивую, с золотом, шаль, на последнем остатке сил – словно утратили тяжесть возраста.

Пред нами была удивительно красивая, с тонкими чертами лица женщина без возраста. Порода угадывалась в её манере держаться, необыкновенной красоте и чистоте речи, а также по тому, что она и сейчас спинку держала ровно и была в этот раз без запомнившейся мне трости.

Её маленькие ножки были обуты в лакированные ботиночки с высокой шнуровкой, только в ушах, да на безымянном пальце левой руки сияли старинные драгоценности – невиданные мной старинные серьги и кольцо.

Подойдя к нам и перекрестив всех иконой, она без всякой чопорности представилась:

– Виктория Георгиевна Князева, позвольте Вас поблагодарить и поклониться Вам за труды святые и Богоугодные, – и она легко, словно и не давили на её плечи прожитые годы, отвесила нам низкий поклон, до самой земли.

Естественно, мы, как военные и просто воспитанные люди, вскочив при её приближении, стоя выслушали её обращение к нам и тоже склонили свои головы в почтительном приветствии и без единого слова приготовились слушать её.

Она, поставив икону к подножию памятника, тихонько продолжила:

– Я, вначале, испугалась Вашего появления. Но когда увидела, какое благое дело Вы затеяли – перестала приходить сюда, чтобы Вам не мешать и не смущать Вас своим любопытством.

Помолчала минуту и продолжила:

– А так, ежедневно, вот уже более семидесяти лет, я была тут, у своего Алёши, у них всех...

Мука исказила её лицо и седая головка стала подёргиваться от страданий:

– Что могла – за эти годы сделала. Сама. Но разве я много осилю? А с наступлением старости – просто скорбела...

Глубоко вздохнув она продолжила:

– И всё время – задавала Всевышнему вопрос – за что он так покарал безвинные души? Они же ни в чём не были виноваты, кроме того, что любили Россию, Великое Отечество наше, служили ему истово и верно, не щадя ни крови, ни самой жизни во имя его процветания.

На миг оживились её глаза и бездонная их синева просто пронзила меня:

– Я в полку милосердной сестрой была, ещё с германской. И мы с ним там встретились и уже не расставались. До последнего часа. И я была в этом строю, да сжалился какой-то цыганковатый, в кожанке, комиссар, за старшего был у них. И меня – просто выволокли за руки из строя, я не хотела этого и сопротивлялась, два латыша, и силком свели вниз, а там – и на какую-то подводу посадили, едущую в сторону Феодосии.

Она не замечала обильных слёз, которые стали стекать по её щекам и всё продолжала свой страшный рассказ:

– Но вернулась. Вернулась ночью и то, что я увидела – надолго помрачило мой рассудок. Весь лес пропах смертью. Кровью. Только с рассветом я пришла в себя.

Она посмотрела в сторону Пантеона, перекрестилась и горестно выдохнула:

– И поняла, что не имею права предаваться горю безучастно. Стала стаскивать тела убитых в эту балку, видите, она только посередине засыпана. Они все – там, под этими камнями и землёю...

Вновь задумалась и уже через силу, еле слышно, стала говорить дальше:

– Я потеряла счёт времени. Не знаю, сколько суток я, хрупкая девчонка в ту пору, стаскивала сюда эти страшные безжизненные тела.

Поправила седые волосы, своей маленькой ладонью отёрла слёзы:

– Слава Богу, что уже холодно было. А так – я не знаю, что бы здесь происходило.

Память унесла её в то далёкое и горестное прошлое и она, с трудом очнувшись, заспешила закончить свою исповедь:

– Пала без сил, съедала горсть кизила, пила воду из этого родника, который Вы так красиво обложили камнем, окультурили и вновь, на какой-то палатке, стаскивала и стаскивала окоченевшие тела тех, кого хорошо знала...

Сглотнула тугой комок и продолжила:

– Норовила хоть чем-нибудь закрепить негнущиеся уже руки в православном смирении... Где – куском нижней рубахи, а где – и травой, гибкими ветвями кустарника, а то – и лыком.

Горькая усмешка чуть выкривила её бесцветные уже губы и она, всё боясь упустить хотя бы что-нибудь, торопливо зачастила:

– Не гнушалась, не скрою, и кусок хлеба из кармана у них взять, а у одного есаула – красавец был, четыре Георгиевских креста на груди, в кармане шинели даже фляга спирта оказалась. Этим и спаслась, январь ведь уже шёл...

При этих её словах я непроизвольно вздрогнул. Она это заметила, и, остро вглядываясь в моё лицо, в лицо моего младшего внука, который, как все говорили, был моим зеркальным отражением, так был похож на меня, тихо произнесла:

– Господи, да Вы так на него похожи, на этого есаула. Кто он Вам?

– Дед, мой дед, а их – прапрадед, – указал я на внуков.

Постояв молча, словно давая мне придти в себя, она продолжила:

– Завершила я свою печальную миссию где-то через месяц.

Засыпала прах убиенных землёю, заложила сверху камнями и поняла, что надо идти к людям. Иначе – погибну. Хотя и не страшилась этого.

Наверное, мне даже лучше было погибнуть, вместе со всеми было бы легче, чем нести такой груз по всей своей жизни.

Было видно, что долгий рассказ её утомил и она, глубоко вдохнув живительный воздух, со щемящей грустью добавила:

– А с другой стороны – никто бы и не знал этой страшной истории, трагедии этой...

После этих слов она горько усмехнулась и продолжила:

– Грешить не буду, русских в числе палачей, когда они нас... гнали на казнь, я не видела. Все, до одного, евреи, китайцы и латыши. И дело своё, каиново, делали даже без злости, а буднично, как тяжёлую, но необходимую работу. Это я видела у них и раньше, за этим страшным... ремеслом. Они даже детей не жалели. Никого.

Закрыв лицо руками, уже через рыдания, выговорила:

– У каждого, у каждого убиенного, это я Вам забыла сказать, было ещё и штыком пробито сердце. Задумайтесь, кто мог это сделать? Нет, я полагаю – не русские люди.

Посидела молча, а собравшись с силами – заговорила вновь:

– Поскорбев и погоревав ещё несколько дней, я и ушла в Феодосию. Там много таких, как я, было в ту пору и мне не сложно среди них было затеряться. А так как я, действительно, была милосердной сестрой, то и устроилась по специальности. Записалась на новую фамилию, только имя-отчество сохранила.

И уже как-то удивлённо, словно её очень занимало это открытие, сообщила:

– И никто меня, ни разу за всю жизнь, не спросил: что я за человек и откуда взялась.

Кротко улыбнувшись, словно своим сообщникам, донесла:

– А все свои отпуска, а нередко – и выходные, тратила на благоустройство этой территории. Это стало делом всей моей жизни.

Горестно покачала головой, словно удивляясь сделанному, продолжила:

– Всё сама. Никого не привлекала. Только лесничий, местный, который появился уже перед самой войной, знал. Но человек был совестливый, я ему при первой же встрече всё рассказала, так он и не трогал меня и не сдал никому. А в войну – погиб где-то. Ни разу его не видела больше.

А затем, гордо, с достоинством поведала:

– А сама – и эту войну прошла, от первого до последнего дня, с бригадой морской пехоты. Ордена имею. За Россию ведь воевали. Я думаю, что и они все, останься в живых, встали бы за Родину нашу. Я в этом просто убеждена. Не было у них иного Отечества, иной Родины. И не хотели они иной.

Всплеснув руками и заглядывая мне в лицо, скороговоркой выпалила:

– Ой, запаматовала, заговорила с Вами, да и забыла: я ведь все документы и награды, которые были у убиенных, собрала, с каждого отдельно, заворачивала в кусочки ткани, из их же нательных сорочек и подписывала карандашом. Сначала они у меня здесь, вон, в той пещере хранились, а потом я их домой перенесла, это уже после возвращения с войны.

Закрывает глаза и замолчала надолго, а потом – вскинулась, как раненая птица:

– Через годы, как стареть стала, посадила и кизильник, и барбарис. Умный поймёт, что это за год – 1920-й, и что за цифра – 314, а дураку – так и знать ничего не надобно. Он всё равно не будет по этому поводу печаловаться, зачем это ему нужно и хранить всё это в своей памяти.

Всё тяжелее давались ей слова. Она очень устала, но, словно боясь, что другой возможности выговориться не будет, тихонько прошептала:

– А сейчас – уже ничего не могу. Приду, посижу, поговорю с ними и всё. На большее сил уже нет. Удивляюсь, как ещё и живу на свете. Не умерла, должна была рассказать Вам всё это...

Но тут же, осенив нас крестным знаменем, искренне и тепло сказала:

– Это мне Вас Господь послал. Спасибо Вам, мои дорогие, – и она, вновь, до земли, поклонилась всем нам.

– Виктория Георгиевна, – обратился я к ней, – давайте помянем, по православному обычаю, тех героев. Всех. Без различия в вере и в том, за какую правду они держались. Всё же – люди русские. Куда ни поворотись – русский на русского руку поднял. И никто усмирить, примирить русских людей не смог. Ни вожди, ни матери, ни руководители, ни церковь.

Она тепло прикоснулась к моей руке и перебивая, спешила досказать свою мысль:

– Я об этом и хотела Вас просить. Минувшая война многое и мне открыла, и на многое я стала по-иному смотреть. Только вот сердце – ничего не забывает. Слово вчера всё это было...

И без всякого перехода, твёрдо и властно, произнесла:

– Мой дом, до конца моих дней, в полном Вашем распоряжении и Вы в нём – самые желанные гости.

Мы не сопротивлялись. Тем более, что мне не терпелось увидеть документы и награды казнённых в ту суровую пору и выяснить, насколько это возможно, и свою, не дававшую мне покоя, тайну.

Сели в машину, посадив Викторию Георгиевну на переднее сидение, чтобы её не укачивало и быстро поехали в Феодосию.

Попетляв, по её указке, среди узких улочек старого города, мы подъехали к маленькому домику у самого моря, окружённому ореховыми и абрикосовыми деревьями.

В доме кто-то был, звучали голоса и когда мы вошли внутрь – я увидел две-три пары пожилых людей, очевидно – старинных приятелей Виктории Георгиевны.

В большой комнате был как-то очень красиво, по-старинному, с кружевными салфетками, в которые были обвёрнуты столовые приборы, накрыт обеденный стол.

Мы, не жеманясь, сели вместе со всеми гостями за стол и выпили поминальную чару.

Говорила всё Виктория Георгиевна и мы, в её рассказе, выглядели как-то даже не реально – уж столько доброго и светлого о нас рассказала она своим старинным приятелям.

Затем, как и водится, пошли разговоры за жизнь. И мой младший внук Владислав, мальчишка совсем, не выдержал расспросов, раскрасневшись от волнения, сразу выпалил:

– А мой дедушка – Герой Советского Союза, и он – генерал-лейтенант.

Виктория Георгиевна при этом очень тепло мне улыбнулась и тихо сказала, а мы сидели с нею рядом. Я – по правую руку от неё:

– А я так и знала, что Вы – военный. Другим это не так надо. А сегодня – и надругаться над памятью могут, осквернить захоронения. Да Вы сами это видите и знаете больше меня. Не стало Бога в душе у людей, вот она и жизнь вся, под уклон, катастрофически покатилась.

Я, учтиво поддерживая беседу за столом, с нетерпением ожидал окончания трапезы, чтобы увидеть награды, документы, о которых говорила Виктория Георгиевна.

И когда гости, убрав со столов, вымыв посуду, неспешно удалились, получив наше приглашение на завтрашнюю поездку к священному для Виктории Георгиевны месту и приняв его, я молча перевёл глаза на лицо хозяйки:

– Понимаю Вас, – тихо и светло улыбнулась она. – Не терпится всё увидеть...

– Да, Виктория Георгиевна, что-то мне не даёт покоя. Словно на пороге какой-то жизненной разгадки нахожусь и сам. Тревожно очень на душе. Покажите, пожалуйста, что сохранилось...

Она открыла старинный стол и сказала:

– Смотрите, всё – здесь, в ящиках. А я немножко отдохну. Устала очень...

Я вынимал аккуратные папки, в них лежали маленькие пакетики, уже полиэтиленовые. Если в них был какой-нибудь документ внутри или вещи, награды – пакетик был подписан красивым, бисерным почерком, с завитушками, так сегодня уже не пишут. Не умеют, прилежания не хватает.

Время для меня остановилось. Внуки помогали мне раскладывать на столе содержимое этих пакетов – документы, награды, незатейливые

бытовые мелочи, кое-где – погоны, удостоверения личности – и я всё это, по несколько раз, фотографировал своим цифровым фотоаппаратом.

Таких пакетов было ровно двести восемьдесят. Жуткая арифметика – людей давно не было в живых, а их документы, награды и вещи продолжали жить.

Но о тридцати четырёх казнённых не было даже и таких скудных сведений. Но моё сердце разрывалось от нежности и восхищения Викторией Георгиевной – она, в тех условиях, сумела составить детальный список погибших, указав в нём все возможные и доступные для неё данные.

Так и значилось в нём, в этом поминальном списке: поручик, двадцати пяти–восемью лет; вахмистр, пожилой, лет сорока пяти, с серебряным кольцом на правом безымянном пальце; юнкер, совсем мальчишка; юнкер, с татуировкой на правой руке «Инесса»; мальчик-кадет, со скрипкой в руках, на футляре надпись «Ивашов»; урядник, с золотым нательным крестом и серебряной серьгой в левом ухе... И так, по всем тридцати восьми.

«Господи, где же силы взяла эта девочка, в ту пору, на такую страшную миссию... непостижимо, просто непостижимо» – подумал я, и даже предательская слеза поползла из моих глаз.

В пяти случаях – в пакетах мы увидели даже обручальные кольца, которые Виктория Георгиевна сняла с пальцев убитых.

Одно кольцо было особое – по внутренней стороне его шла надпись: «Милому Алёше – от Анны».

Господи, была бы возможность найти эту Анну. Что она передумала за долгие годы? Или быстро утешилась? Как знать, но то, что счастья на земле, на русских просторах, становилось меньше после каждого такого противостояния – это точно.

И когда я, под самый конец этой печальной миссии, извлёк самый объёмный пакет – моё сердце учащённо забилося. Я уже точно знал, почувствовал, что сама судьба послала мне особый знак, сигнал с прошлого.

В пакете лежало удостоверение есаула Шаповалова Фёдора Ефимовича, его четыре Георгиевских креста – пока вышел в офицеры, уже три офицерских ордена, среди которых – Георгиевский крест IV степени, Владимир, Владимир с мечами, здесь же хранились его погоны и фотография.

Такую же точно, мне в своё время, передала бабушка. На ней был запечатлён бравый вахмистр, с четырьмя Георгиевскими крестами и четырьмя медалями на груди гимнастёрки. Он сидел в плетёном кресле, горделиво опёршись на шашку рукой, а рядом с ним – стояла миловидная барышня, моя милая и несравненная бабушка.

У меня задрожали руки и предательская слеза поползла по щеке.

Младший внук, в порыве чувств, прижал к своему сердцу священные прадедовские награды, а старший – взял в руки погоны есаула, да так и застыл – с ними у сердца, унесшись далеко, к тем окаянными временам в своих чистых и искренних юношеских мыслях.

И в эту минуту в комнату вошла Виктория Георгиевна. Она всё поняла сразу:

– Забирайте, голубчик, всё это себе. Я уже не дам этим реликвиям толку, а хранить дома, чтобы с моей кончиной это ушло в несправедливые руки – не имею права.

И воодушевляясь, она с какой-то особой гордостью заключила:

– Видите, не зря Господь Вас призвал к этому служению. Вы и своего деда нашли. Какой видный, красивый был человек! Я ведь помню его, будто сегодня видела, встречалась. Он был по возрасту старше всех и всё поддерживал отчаявшихся и ослабевших духом.

Непроизвольно схватила меня за руку и необычайно тепло завершила:

– Я даже помню, пока меня не выдворили из колонны обречённых на смерть, как он говорил старшему карателю: «А как же ты, мил-человек, полного Георгиевского кавалера расстреливать будешь? Не имеешь права. Вы же за закон ратуете, пусть и за свой, новый, но никто ведь не отменял положения, что Георгиевского кавалера должен судить специальный суд, состоящий из Георгиевских кавалеров».

– Помню, как тот усмехнулся, жёлчно так и хищно и заявил: «А я тебя – самолично и пристрелю. Вот и будет тебе весь суд. Всех заменю. Так что молчи лучше, а то прямо здесь, у этого обрыва и порешу. Кавалер...» – и он разразился тяжёлой руганью.

На что есаул ему ответил: «Ладно, господин хороший. Я помолчу, но ты уж меня – со всеми лучше, вместе. Лежать будет с товарищами легче. Душе моей спокойнее».

– И он уже не вступал в пикировки с этим хмурым вожакom карателей. Несколько человек идти не могли от ран и слабости, а больше – от утраты духа. Так их китайцы добились штыками, без выстрелов, но не бросили на дороге, а заставили арестантов нести трупы с собой, к месту, назначенному для казни.

Прижав руки в своей груди, взволнованно, словно всем сердцем, высказала:

– Последнее, что я видела и слышала, пока меня не выдворили из колонны и не посадили на телегу, как дед Ваш поднял на руки кадета-мальчишку совсем, у которого ещё и кровь стекала из страшной штыковой раны в области сердца и сказал карателям: «Будущее России убиваете, детей ведь совсем. И вам это зачтётся на суде Божьем. Да и людской не помилует вас, изверги и палачи».

– Так с ним, мальчишкой только что погибшим на руках, величественный и страшный, с гордой непокрытой головой, он и ушёл в

бессмертие. И когда я хоронила казнённых, я поняла, что деда Вашего они расстреляли первым, так как на нём много тел было. Видать, боялись, чтобы не увлёк личным примером неустрашимости своих товарищей по несчастью на сопротивление, на отпор.

Мы все, после её слов, надолго замолчали. Я нарушил тишину лишь после того, как испросив позволения у хозяйки, закурил, жадно затянулся пахучим дымом.

А она – даже как-то повеселела и сказала:

– Курите, я люблю, когда пахнет дымом сигарет. Да и им – веселее будет. Я помню, что они не так страдали от отсутствия пищи, нежели от того, что совсем не было табаку.

И Виктория Георгиевна, мечтательно и тихо улыбаясь, перебирая выцветшими губами, стала смотреть мне прямо в лицо, в глаза:

– Да, голубчик, я теперь определённо могу сказать, что Вы так похожи на есаула. И Ваш младший внук. Очень похож на Вас, значит – счастливым будет. И его жизнь обязан прожить. Дай-то Бог!

И мы все надолго замолчали. Наконец я прервал молчание:

– Виктория Георгиевна, милая Вы моя. Решение, безусловно, Ваше, но я полагаю, что эти священные реликвии нельзя держать в квартире, тут Вы – совершенно правы. Положитесь на меня и под моё слово чести, доверьте мне – всё это определить в музей Российской армии.

Я поднялся из-за стола и, ожидая её решения, договорил:

– Там они будут храниться вечно. И, быть может, ещё кто-нибудь из родства найдётся. Узнает о своих близких правду. Найдёт их...

Она сразу же, без единого слова, согласилась с таким решением.

– А Вам, милая Виктория Георгиевна, я сделаю цветные фотографии всех документов, всех наград и самого места... упокоения дорогих для Вас людей. И... для нас...

На том мы и порешили.

Волнение не давало мне покоя и мы, договорившись о времени утренней встречи завтра, уехали в гостиницу.

Утром, к десяти часам, мы были у дома Виктории Георгиевны.

Нас уже дожидались немногочисленные её знакомые, среди которых мы заметили и священника.

Конечно, все они не ожидали увидеть меня в мундире генерал-лейтенанта, со Звездой Героя Советского Союза. И только Виктория Георгиевна, даже засветившись особым внутренним светом от удовлетворения, сказала мне:

– А я так хотела Вас увидеть в форме. Спасибо, и им это будет очень приятно.

Поздоровавшись со всеми, расселись по машинам и поехали.

Сын и внуки уже были там, на месте, наводили последние штрихи, чтобы всё на этом священном месте захоронения безвинных жертв

страшного времени, было пристойно и, в соответствии с событием, торжественно,

И я с благодарностью к судьбе подумал:

«Хорошие у меня ребята, молодцы, чужую боль восприняли, как свою собственную. Есть ли высшее счастье для родителей?».

Я даже удивился сам, когда увидел, что рядом с годом – 1920-м, рельефно проявившимся из кустов подстриженного барбариса, появилась и дата, образованная посаженными крымскими багровыми розами – 26 декабря.

Именно эту дату и сообщила, только вчера, во время нашей долгой вечерней беседы Виктория Георгиевна.

Все гости были ошеломлены. Видать, некоторые из них, и священник – в первую очередь, бывали на этом месте и у них была возможность сравнить состояние Пантеона до и после наших стараний и трудов. Он действительно стал величественным.

Священник свершил обряд освящения захоронения, прочёл молитвы, обошёл весь пантеон и окропил его святой водой.

Я сделал очень много фотографий и всё норовил, чтобы на каждой из них в кадр попадала Виктория Георгиевна.

Не обошлось и без поминальной чары, и слёз, и благодарностей в наш адрес, на что мой старший внук, как совершенно взрослый мужчина, ответил:

– Не надо нас благодарить за это. Мы просто выполнили свой долг. И нам самим это всё необходимо даже в большей мере, нежели всем остальным. К несчастью, времена такие грядут, что мы всё в меньшей мере оглядываемся назад и обращаемся к нашим предшественникам с благодарностью и доброй памятью. Вам спасибо, родные наши, что об этом напоминаете... Жизнью своей, подвигами своими.

Священник осенил его, всех присутствующих крестным знаменем и тихо произнёс:

– Слава Богу, знать, жива ещё Россия, если есть такие светлые души.

А напоследок – сын сфотографировал меня с Викторией Георгиевной.

Эту фотографию я храню дома, она висит у меня над столом в кабинете.

Её очень любит жена и сразу же мне сказала, как только увидела:

– У неё такой взгляд, как у матери, смотрящей на своё дитя.

Молодец ты, святое дело совершил. Вы все у меня молодцы, – тут же поправилась она, и крепко обняла младшего внука, который был в это время дома в увольнении.

И крепко прижалась к моему плечу.

Через несколько дней после нашего приезда из Крыма домой, мне позвонили поздно ночью. Я сразу понял, что это был за звонок.

Приятельница Виктории Георгиевны сообщила, что её час назад не стало. И если бы я смог прилететь на похороны Виктории Георгиевны – это было бы достойным завершением всей истории, которая началась со встречи с этой удивительной женщиной.

Утром, облачившись в форму, я вылетел в Крым. Из Симферополя – машиной до Феодосии. И вот я у порога знакомого мне дома.

Во дворе, на скамейках, сидели знакомые мне уже друзья усопшей, заметил я и несколько новых лиц, которых не видел прежде. Среди них особо выделялся совсем старенький уже капитан I ранга, который бодро и красиво встал, при появлении генерал-лейтенанта, и приложил руку к козырьку своей фуражки, с позеленевшей от времени и соли кокардой.

Я поклонился ему, догадался – фронтовой друг, командир Виктории Георгиевны, когда она была милосердной сестрой в годы войны в бригаде морской пехоты.

Все живо обсуждали один вопрос – где хоронить Victорию Георгиевну?

– Мои дорогие, – обратился я к ним. При этом все прибывшие на похороны, затихли.

– Я полагаю, что у нас с Вами нет другого выбора и он будет неправильным, и даже... несправедным, если мы презреем её волю. Мы должны её упокоить там, у Пантеона, рядом с её близкими и родными людьми, которым она отдала всю свою столь яркую, красивую и благородную жизнь.

– Верно, – раздалась возгласы, – и я такого же мнения...

– Правильно говорит, генерал...

– Другого решения нет...

Капитан I ранга, который мне так сразу понравился, чётко и внятно сказал:

– Решение очень верное, но на него надо ведь какое-то разрешение властей.

– Я это решу, не тревожьтесь, – произнёс я в ответ – и тут же уехал к городским властям.

Слава Богу, есть ещё понятливые и совестливые чиновники, несмотря на то, что мы разделены надуманными границами, таможами и какими-то, рождёнными лишь властителями противоречиями, которые по живому раздрают наш, некогда единый и единоверный народ.

Глава администрации меня сразу понял и выдал соответствующий документ-разрешение на захоронение Виктории Георгиевны на территории Пантеона.

Оказывается, о его существовании власти давно знали. Но... молчали.

Более того, он заметил, что только вчера был там лично и выразил сердечную благодарность за проделанную работу.

Назавтра, в погожее ясное утро, мы и выполнили свою печальную миссию.

Приносило удовлетворение одно, что теперь – уже навсегда эта удивительная русская женщина, всю свою жизнь служившая людям и всю жизнь посвятившая увековечению их памяти, теперь будет с ними, в кругу родных и близких.

Наконец, упокоилась её святая и деятельная душа и она обрела вечный покой

Великая радость, открыл для себя после этих событий, а то в последнее время уже и верить перестал в это, всё же хороших людей у нас не так и мало.

Их большинство, нужны только определённые условия, чтобы всё лучшее, что есть в их душе – проявилось на свет.

И когда мы, всей семьёй, на следующий год приехали к этому священному месту, у родника стояла красивая, из дерева, часовенка и в ней горела негасимая лампада.

Сказывали мои, теперь уже – старинные знакомые, которых я, естественно, навестил и в этот приезд, что в связи с публикацией всех документов об этой истории, к которой и я приложил свою руку, объявилось немало родства у погибших по всей нашей необъятной России.

И один из них, могучий исполин из Сибири, и привёз эту часовенку из кедра, только вдвоём, со своим сыном собрал её, а затем – пригласил священника и тот освятил эту обитель, к которой с каждым годом стало приходить и приезжать всё больше и больше людей.

Неведомо кем была положена и новая традиция – люди стали привозить сюда землю от родных могил и памятных мест.

И высыпали её на погребальный курган. А весной находились добрые души – засаживали этот курган цветами и их буйство словно утверждало на Земле жизнь, предостерегало людей от греха братоубийства и жизни не по совести.

А в наш очередной приезд в Крым, через два года – к несчастью, давали знать о себе старые раны и приобретённые в Афганистане болезни, увидели возле родника три красивые рябинки, на которых пламенели первые гроздья багровых плодов, словно – та святая и праведная кровь, которой мы, русские люди, пролили так много и так нерасчётливо по всему белому свету.

Ладно бы вражью, а то ведь сын поднимал руку на отца, отец – не страшился греха детоубийства, брат – шёл на брата...

Доколе будет такое происходить на нашей благословенной Земле?

Всем ведь места хватит, а человеку и половины того не надо, чем он владеет даже сейчас, а не то, к чему стремиться.

И самое страшное, что призывают и подталкивают народы к большой крови сегодня те, кто своей страшится и малую толику пролить и всегда прячется за чужие спины.

Хорошо бы нам всем, вышедшим из любой веры и любого уголка благословенной России, всегда об этом помнить и не дать себя обмануть лукавым и жестокосердным, появившимся в таком избытке сегодня, словоохотливым витиям.

*Есть святые души,
чистые и светлые,
одно прикосновение к которым -
нас всех делает лучше и добрее.
Великое счастье встретить
в жизни такую душу
и отогреться её теплом.*

И. Владиславлев

ВСТРЕЧА В «ЛИДИИ»

Этот ресторанчик, практически на набережной в Феодосии, я знал очень давно и любил, по приезду в родные места, хотя бы раз побывать здесь. Это уже сегодня он развился до фешенебельного заведения, где, мне кажется, иностранцев стало бывать больше, чем нашего брата, а раньше – это был великолепный, уютный и добрый уголок, где мы, даже курсантами военных училищ, собираясь на каникулы летом, сидели – и не раз, рассказывая друг другу свои нехитрые истории.

Даже при наплыве отдыхающих в летний сезон, здесь не былолюдно, а тем более – шумно.

По какой-то неведомой традиции народ здесь собирался почтенный, спокойный.

И смакуя крымское вино и коньяки – кому что по душе и по карману, разговоры вели неспешные, за жизнь.

В этих разговорах сплетались все языки и наречия, мелькали разные лица – кто же разделит ту вековую общность, сможет остудить тот котёл, в котором переплавлялись культуры, история народов, их нравы и обычаи.

И в конце концов, получился тот особый тип человека – и не русского, и не грека, и не татарина, и, уж подавно, не украинца, а именно – крымчанина, жителя благословенной Тавриды.

Я бы и в паспорт ввёл такую национальность, особую, людей солнечных и не помнящих своего первородства.

И этот человек был столь авторитетен и влиятелен, столь умело служил, нет, не прислуживал, а именно служил всем, кто собирался со всего мира на лето в Феодосию, что и отдыхающие – через день-два, переставали толкаться на остановках, а чаще всего – неспешно, за разговорами, брели пешком по набережной.

Особая жизнь бурлила на рынке и выбирая фрукты, овощи, ни одна крымчанка не будет их вам отбирать, она просто предложит полиэтиленовый пакет – и выбирай, что хочешь, на что душа отзовётся, да глаз посмотрит.

И уже через две минуты зальётся краской москвичка, киевлянка, увидев, что иные не роются в ящиках, переворачивая их до дна, так как фрукты – все, отменные – и сверху, и снизу, поэтому люди и берут то, что лежит по порядку, красиво и любовно выложенными рядами.

Самая неприкасаемая каста здесь – рыбаки и дети – и местные, и приезжие.

Первые – за день и слова не скажут, порой – и не поймут ничего, но пользуются, особенно у детворы, непрерываемым авторитетом и они весь день не уходят с причала набережной, только бы увидеть миг, как серебристая ставридка или бараболя, а если повезёт – то и белая снизу камбала, ослепительно сверкнув на солнце, опускалась у ног рыбака.

Детворе здесь позволено всё. Никто её не пугает, но, странное дело, и она ведёт себя учтиво, корректно. И не одна торговка, себе в убыток, то одному, то другому протянет пирожок, мороженое, а к осени – яблоко, грушу или гроздь солнечного винограда.

Отдельное слово здесь о водителях. Нет, не о тех отморозках, собирающихся со всего света на папенькиных или ворованных мерседесах, бентли, лендроверах, крайслерах...

Нет, не о них речь. А – о местных, у которых – ещё первые «копейки» уцелели.

Они никогда не проедут через перекрёсток, чтобы не остановиться, не пропустить пешехода и поворот на узких улочках всегда осуществляли аккуратно, без спешки – а, ну-ка, если там люди? Молодые матери с колясками? Детвора?

И если вам надо ехать на пляж или просто проехать двести метров, они, неизменно вежливо и спокойно скажут, что поездка в любой конец города стоит десять гривен.

Удивлялся я многому, попав через годы и годы в этот благословенный уголок, посетив по несколько раз домик Грина, галерею Айвазовского.

Но больше всего мне понравился этот ресторан – «Лидия». Кто его так назвал: то ли в честь вина, популярного в этих краях, то ли тут сокрыто имя женщины – не знаю, но всегда буду помнить то радушие и гостеприимство, с которым здесь встречали и того, кто выпивал лишь чашечку кофе, и того, кто гулял широко и долго.

Но старожилы мне рассказали, что, всё же, имя своё ресторан носит от имени женщины и его ему присвоил грек, прознав каким-то образом об удивительной истории, случившейся в этих краях в тысячу девятьсот двадцатом году.

И зачастил я сюда после того, как познакомился с удивительной женщиной, которая всегда выпивала свою чашечку вечернего кофе за одним и тем же столом, выкуривала две-три сигареты и опираясь на старинную, сразу было видно, трость, медленно шла на выход и скрывалась в вечерних сумерках.

Сказать, сколько ей лет – было просто невозможно.

В определённые минуты её лицо озарялось таким светом, что с него уходили морщинки и вместо пергаментной, старческой сетки на нём, появлялась розовая, молодая кожа; в других обстоятельствах – эта женщина превращалась в такую «ровесницу Суворова», что делалось страшно – как она ещё живёт, ходит, несёт свою породистую головку на тоненькой шейке.

Завидев её в ресторане, я норовил занять столик поближе и внимательно наблюдал за этой старушкой и тем действием, которое всегда разворачивалось вокруг неё.

И как же я был удивлён, когда в один из дней, не оборачиваясь ко мне, она звонким голосом, не по возрасту, сказала:

– Деточка, что Вы меня просвечиваете каждый вечер, словно рентгеном?

И уже очень приветливо:

– Садитесь за мой столик, если Вам так интересно наблюдать за мной. Давно мне уже мужчина не оказывал такого внимания, – завершила она смешком свою тираду.

Я опешил. Мне думалось, что моё внимание к ней оставалось нераскрытым, да я и не проявлял вероломства, бестактности, а просто изредка посматривал на старушку и всё норовил понять, что за сила держит её на этом свете и почему она, ежевечерне, приходит в этот ресторан.

Я поднялся из-за своего стола, учтиво раскланялся старушке и испросив позволения присесть, представился.

– О, я знала, что Вы – военный. Только ещё военные берегли остатки хорошего тона с дамами, в каком бы возрасте те не находились.

При этом как-то обречённо и грустно добавила:

– Остальные – нет, всё растеряли.

Сверкнула, молодо, своими выцветшими глазками и довершила:

– Да и не обретали. Откуда? Вы же всё стремились разрушить «до основания, а затем», но на руинах только чертополох и растёт. А доброго, светлого – нет, через разрушение не содейть.

– Ну, да ладно, – уже светло улыбаясь, завершила она.

– Полагаю, что Вы-то лично ничего не рушили из того, что существовало до Вас.

И она, наверное испытывая меня, после этих слов протянула мне сухонькую ручку в вечерней, сеточкой, чёрной перчатке.

Я поднялся из-за стола, наклонился над нею и прикоснулся губами к холодной руке и только после этого бережно отпустил её из своих пальцев.

И услышал в ответ то, что поразило меня, словно гром среди ясного неба:

– Лидия Георгиевна Невельская, тысяча девятисотого года рождения, княжна, так и не ставшая княгиней. Правда, я бы ею и не стала, так как собиралась замуж за «несиательного»...

И она озорно смотрела при этом на мою растерянность и волнение.

И только здесь, заметив Золотую Звезду Героя на левой стороне моего пиджака, она, глядя мне пронзительно в лицо своими живыми глазами, как-то удивлённо стала рассуждать вслух:

– Нет, для фронтовика Вы слишком молоды. А где же Вы тогда получили этот высокий орден?

Она так и сказала – высокий орден на Звезду Героя Советского Союза.

– Афганистан, – коротко заметил я.

– О, бедный Вы мой. За такие войны нельзя выдавать наград. Это же – не по-божески. Разве может вознаграждаться братоубийство?

Я смутился. Признаться, эти мысли давно приходили и мне в голову, поэтому – горд и чист от того, что наотрез отказался от ордена за известные события в Баку в январе 1990 года.

В ту пору это чего-то стоило и я помню, как мне «выворачивали руки», чтобы я смирился, покорился и, как все, с благодарностью или хотя бы молча, принял этот орден. Так он где-то и пылится, так как я не верю, что ретивое начальство вышло на верха с предложением отменить указ о моём награждении.

А Афганистан – я думаю, что моя Звезда Героя – честная, так как получил её я за спасение своих людей, а меньше – за войну. Но, самое главное, я и не думал в ту пору, что иду на риск во имя каких-то наград. По-иному я просто не мог и был очень счастлив, что удалось матерям вернуть живыми десятки их сыновей.

Но в эти тонкости я свою собеседницу посвящать не стал, но она сама – меня просто изумила своей догадкой:

– Нет, я не права, наверное. У Вас хорошее лицо, Вы не могли за предосудительный поступок желать наград и принять их.

И испытующе при этом посмотрела мне в глаза.

– Да, Лидия Георгиевна, полагаю, что этого отличия мне действительно стесняться не пристало. Ибо получено оно – за «спасения други своя».

– Это – тогда же? – и она указала своим сухим пальчиком на шрам, который рассекал моё лицо – от подбородка до правого виска.

– Да.

– Простите меня, – учтиво и тихо проговорила старушка.

И мы надолго замолчали. Чтобы прервать эту затянувшуюся паузу, я спросил:

– Лидия Георгиевна! А что за тайная фотография, которую Вы всегда кладёте на стол, приходя в этот ресторан?

Она заулыбалась своим удивительно молодым, при её возрасте, ртом, обнажив белые, собственные зубы. Не то, что у меня – при ранении были выбиты почти все, особенно спереди, и я вынужден теперь сверкать металлом жёлтого цвета, который мне поставили в госпитале в Ростове-на-Дону, где я находился на излечении.

Меня всегда поражала какая-то ограниченность и дурной вкус стоматологов – что может быть противоестественней жёлтых зубов? Неужели химикам нельзя изобрести какое-то белое, сродни зубной эмали напыление на металл?

Моя собеседница прервала ход моих несвоевременных размышлений своими словами:

– Это единственная фотография с той далёкой поры. Мой возлюбленный, судьба моя – капитан Алексей Тихорецкий.

– Вы знаете, – продолжила она, – в ту пору условности света уже были размыты и как-то не очень строго соблюдались.

Засмеявшись тихонько чему-то своему, потаённому, продолжила:

– Он не был, как я – «сиятельством», был сыном честного офицера, дворянина, погибшего в Великую войну и мы с ним познакомились здесь, в Феодосии, в мае двадцатого года.

Я удивлённо поднял брови, не справившись с волнением.

– Да, да, юноша, – это она мне, почти шестидесятилетнему человеку, – я же в ту пору была барышней на выданье, мне шла двадцатая весна.

Она загорелась, заволновалась при этом, да так, что неведомо куда улетучился её возраст и я увидел пред собой ту юную девушку, поручика – её ровесника, которые вопреки всему – и логике, и рассудку, и времени, и препятствиям – встретились здесь и полюбили друг друга так, что даже Александр Иванович Куприн оставил воспоминания об этой любви в своих записках той поры.

Суть её рассказа о событиях того страшного времени сводилась к следующему: словно обезумела Россия к весне двадцатого года.

Все понимали, что развязка событий, которые длились в стране три года, а с Великой войной – и все шесть, близка.

Белое движение разваливалось. После оглушительных успехов на Юге, в Сибири, на Северо-Западе, которыми властолюбивые белые вожди так и не сумели воспользоваться, не сумели объединить свои усилия, свои войска под единым началом для достижения конечных целей борьбы с красными – началась полоса неудач, за которыми неумолимо приближалась страшная катастрофа.

Особенно чувствительный удар по самому авторитету белого движения нанёс Деникин, оставив на произвол судьбы свою армию и позорно бежавший на английском эсминце в Константинополь, за семь месяцев до падения Крыма.

Генерал Врангель, вступивший в командование войсками Юга России, изменить ничего уже не мог. Более того, как только он заявил о конечной цели своей борьбы – возрождении Великой, Единой и Неделимой России, сразу же прекратилась помощь стран Антанты, которым сильная и независимая Россия была не нужна.

И тогда перед Главнокомандующим встала самая главная в тех условиях задача – спасти войска и людей, которые поверили в него и уже до конца разделили с ним все превратности судьбы.

Я, слушая эту историю от очевидца тех событий, пребывал в полной прострации. Безусловно, я знал многое из этих событий, как военный профессионал, но с их живым свидетелем встретиться, конечно же, не ожидал и даже не мыслил об этом.

Вдруг она задумалась и мечтательно остановила свой взор на моём лице:

– А Вы любили в своей жизни? Нет, я не имею в виду то, что называют любовью большинство людей. Я говорю об ином, о высоком чувстве, а не просто о совместной жизни двух людей, привычной и будничной.

После короткой паузы продолжила:

– Я говорю о той любви-стремлении жить высоко и чисто, увлекать за своими искрами души избранника или избранницу на ту высоту, которая недостижима для остальных.

Не отводя от меня своих глаз, тихо, очень чистым и красивым голосом сказала:

– Я говорю о той любви, при которой две души – не существуют более раздельно, они сливаются в единое и неразрывное целое.

И не дожидаясь моего ответа на поставленный вопрос-утверждение, продолжила:

– Вы знаете, с первой минуты, с первого взгляда на него, я любила его именно так и всегда знала: это – судьба. Это единственное, на всю жизнь.

Горестно вздохнув, заключила:

– И если бы меня миновало это чувство, это состояние, я навсегда бы осталась несчастной.

Оживившись при этих словах, что несказанно красило её лицо, она как-то заговорщицки наклонилась ко мне, с чувством, словно и не было прожитых лет, прошептала:

– А знаете, как мы познакомились?

Отклонившись на спинку стула, даже как-то лукаво подмигнула мне:

– Я, юная гимназистка, накануне поступления в университет, в Храме, грешна – играясь, потеряла колечко. А оно было мне очень дорого, так как его подарила мне на шестнадцать лет моя бабушка, горячо любимая мною.

Улыбка воспоминаний и грёз озарила её лицо и она продолжила:

– Оно соскользнуло с пальца и куда-то закатилось. Самостоятельно найти его я не могла.

Как-то задорно и тихо, перейдя на шепот, словно ведая высокую личную тайну, поведала:

– И когда он, Алексей, впервые увидел моё лицо, и, наверное, по нему, по выражению предельной растерянности понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее – в стороне не остался, тут же подошёл ко мне, и, учтиво представившись: «Капитан Тихорецкий», – тут же спросил: «Чем я могу Вам служить, милая барышня?».

Глаза её при этом заблестели и она, помолодев на жизнь, продолжила:

– Я в растерянности и смущении ответила, что потеряла колечко, подарок бабушки.

Остановилась, справилась с волнением и уже молодо и задорно сказала:

– Не говоря более ни слова, он, опершись на шашку, низко наклонился, почти встав на колени, осмотрел пол в окружности полутора-двух метров от того места, где я стояла.

Милое лукавство выплеснулось из её глаз:

– И пропажа была найдена – кольцо провалилось в углубление, образовавшееся между выщербленными уголками напольной плитки.

Мечтательно посмотрев мне в глаза, вспомнила пережитое:

– Ах, как сияло при этом его лицо! Было ощущение, что он свершил какой-то грандиозный подвиг, так он был горд и счастлив от этого.

Притронулась к моей руке и засмеялась:

– И моя мама, увидев его лицо в эту минуту, так и сказала: «Виктория, это судьба. Так смотрят на женщин лишь те, кто их истово любит. Запомни это, я прожила долгую жизнь и не ошибаюсь в этом».

Старушка помолчала, даже мечтательно прикрыла свои глаза, а затем продолжила:

– Так и произошло. Уже в этот день, вечером, он уверял меня в своей великой любви и говорил, что вся его жизнь была предвосхищением, ожиданием такого счастья.

Затихнув на минуту, вновь вернулась к дорогим страницам памяти:

– К моему счастью, он не был штабным офицером. Они, к слову, даже у нас, гимназисток, вызывали чувство негодования и даже презрения.

Тут же, как-то отчуждённо и сурово, резко, что было ей не свойственно, проговорила:

– Даже мне, юной девушке, и то было видно, что во всех ресторанах Феодосии, а я полагаю – и всего Крыма, офицеров было намного больше, нежели на позициях.

С большой гордостью, словно она что-то могла изменить в моём отношении к неведомому мне капитану тех времен, продолжила свой, захвативший меня целиком, рассказ:

– Он же, при столь скромном чине капитана, к этому времени уже командовал батальоном.

После этих слов она, с каким-то сожалением и сочувствием посмотрев на меня и даже с отчётливым вызовом, сказала:

– Вы не знаете, что Пётр Николаевич Врангель издал к этому времени свой первый указ, – она так и сказала «указ» – и в нём говорилось, что в этой особой, братоубийственной войне, он отменяет награждения господ офицеров наградами, канувшей в лету империи и производство в очередные чины.

Я, как раз, всё это хорошо знал, но не стал её в этом убеждать, а сосредоточился на её захватывающей истории.

И она продолжила:

– В его власти было лишь их производство в очередные должности – за заслуги и отличия.

Передохнув, добавила:

– Так и мой Алексей, пройдя испытания Великой войны и гражданской, с сункера рвался на фронт, был произведён в должность батальонного командира, чем неслыханно гордился.

Оживившись, на одном порыве выдохнула:

– Славы не чурался, должностей и отличий не выпрашивал. Берёт своих солдат, сам же был везде первым. И они ему платили огромной любовью и уважением. Это было видно сразу.

Её глаза, при этом, затеплились дивным светом и она стала говорить дальше:

– Мне на всю жизнь запомнилась встреча с его унтер-офицером, душеприказчиком его и батькой названным, как его и величал Алексей. Он, внимательно вглядываясь в мои глаза, так мне и сказал: «Ты, дочка, разумеешь, что по возрасту он – малец ещё, у меня дети уже старше, а по разуму – мы все у него дети малые и не годимся ему и в подмётки. А ещё, моя хорошая, знаешь, что такие люди – верные. Надёжные. На всю жизнь. И ты уж, голубка, и ему служи верно. Он душой своей чист и беззащитен. Доверчив очень. Ты, уж, не подведи его. Как отец тебе говорю».

Она надолго остановилась, было видно, что ей не хватает воздуха, и, наконец отдышавшись, продолжила:

– Счастье наше коротким было. Мы... мы даже не стали... близки с ним, хотя я была к этому готова, только бы... его воля была.

Смущённо, словно не она, а я был старше по возрасту, добавила:

– Но он так и не дерзнул переступить ту грань, которая нас отделяла, так как не представилось нам под венец идти. А он очень этого хотел и ждал. Всё решил, обо всём договорился в Храме, да не отпустил Господь ему... нам... того заповедного дня...

Надолго замолчала и уже без прежнего воодушевления, повела свой рассказ дальше:

– Я не знала и не видела этого, это мне уже его сослуживцы рассказали – накануне нашего венчания, буквально вечером, во время эвакуации кадетского корпуса, уже при самой погрузке этих несчастных детей, только в форме, практически все они были сиротами, на корабль, в порт прорвался отряд красных.

Тяжело вздохнула и продолжила:

– Казалось, что судьба этих мальчишек была предопределена. И тогда он, с горсткой верных солдат, рванулся навстречу красным и связал их боем. Их-то и было с десяток душ всего, по сравнению с многочисленным отрядом наступающей кавалерии красных.

Подставила под свой подбородок сухую ручку, словно шейка не держала её и с гордостью в голосе, еле слышно, проронила:

– Но они сумели сдержать их в течение часа. За это время транспорт благополучно ушёл в море, ни одного кадета не потеряли, за исключением трёх мальчишек старших классов, которые прибежали к Алексею и настояли на том, чтобы он их включил в свой, истекающий кровью отряд.

Перекрестилась, застыла на мгновение и стала опять рассказывать эту давнюю историю:

– И он, оставшись один, все его товарищи погибли, снёс на причал, в его горловину, через которую только и возможно было проникнуть к другим кораблям, где ещё в полном хаосе шла погрузка людей, – всю взрывчатку, снаряды, которых было в избытке, – и хладнокровно, стоя, встретил лаву красных, а затем – взорвал причал...

Вместе с собой взорвал, так как никаких шансов на спасение у него и он это хорошо понимал, я думаю, не было.

Она снова перекрестилась и утратно, почти безмолвно, прошептала:

– Говорили, что при этом погибли какие-то важные командиры красных, но самое главное – был отрезан путь к преследованию последних кораблей, с уходящими на чужбину белыми войсками и гражданским населением.

Она закрыла лицо руками и долго сидела недвижимо, а затем глухо продолжила:

– Как я всё это вынесла, как пережила – не знаю. Наверное, спасла молодость и отменное здоровье. Самое страшное было в том, что я уже знала, что он погиб, а к нам на квартиру явился пожилой вахмистр и передал мне букет роз от «Его Высокоблагородия»...

Слёзы хлынули из её глаз и она, всхлипывая, хрипловатым голосом спешила договорить:

– Я его храню – до сей поры, хотя он, конечно же, уже весь истаял просто, стал бесцветным и рассыпается от малейшего прикосновения. Молю Господа, чтобы дождался... до моего часа последнего, чтобы с ним меня и похоронили. Просила об этом соседей. А больше некого, больше у меня никого и нет. Одна и жизнь всю прожила.

Уже успокоившись сообщила:

– Родители мои – люди известные, остаться в Крыму не могли, ушли на чужбину вместе с армией, в ноябре двадцатого года.

Застыла в оцепенении и повела, очень медленно, речь дальше:

– А я так и осталась одна. Никто меня не трогал. Никогда не преследовал. До восьмидесяти лет я проработала учительницей в местной гимназии, – она так и не научилась говорить «школе».

Улыбнулась нахлынувшим воспоминаниям и с каким-то вызовом сказала:

– А за прошедшую войну, – и она при этом ему даже подмигнула, как сообщнику, – я орден получила от новой власти.

Распрямив плечи, иным, полным гордости и высокого достоинства голосом произнесла:

– Не могла же я, русская княжна, – и при этих словах – во всей её стати, в хлипком и тщедушном теле, но ещё полном жизни, проявилось столько породы, что я даже залюбовался ею, – не служить своему благословенному Отечеству.

Постучала даже по столу костяшками своих изящных пальцев и продолжила:

– Государство – молодой человек, – это одно, а вот Отечеству нашему, благословенной России, каждый русский служить был обязан. И в меру своих скромных сил – служила ему и я.

Мечтательная улыбка, добрая и светлая, так украсила её лицо, что я откровенно залюбовался ею, столько во всём её облике было при этом достоинства и величия.

– Время было трудное, лилась кровь, причём в таком количестве, что все былые испытания, через которые прошла и я, казались ничего не стоящими. Жить было просто не на что и я пошла на рынок, чтобы поменять на свои серёжки – единственное, что ещё у меня осталось от прошлой жизни, хоть какие-то продукты. Серёжки были старинные, дорогие, ещё от бабушки достались, с бриллиантами.

Она, увлечшись рассказом, даже непроизвольно дотронулась до своих ушей, где надлежало быть этим сережкам:

– И на рынке я встретила своего директора гимназии. Он изменился до неузнаваемости – борода, какой-то картуз, но всё же – я его узнала. Не стал и он от меня скрываться и вести какие-то двусмысленные пустые разговоры.

Разгладила пальцем свои густые морщинки на лбу, как-то смешно подвигала кончиком носа и продолжила:

– Сказал прямо, что оставлен в городе – для организации подполья. И в этой борьбе с фашистами я могла бы быть очень полезной, так как знаю, – это она отметила не без гордости, – несколько языков, в том числе и немецкий, итальянский, румынский, французский и польский.

Звонко, словно помолодев на годы, торжественно добавила:

– Так началась моя борьба с захватчиками. Говорили потом, что те данные, которые я поставляла подпольщикам из мэрии, где я работала переводчицей, позволили успешно осуществить несколько операций по срыву работы в порту.

Я с чувством восхищения смотрел, неотрывно, на эту необыкновенную женщину и ей, было видно, это доставляло большое удовольствие. Поэтому она, с особым воодушевлением, повела свой рассказ дальше:

– Было уничтожено несколько больших судов с техникой и вооружением, которые фашисты поставляли морем в Крым, несколько танкеров с горючим.

С каким-то запоздалым испугом обронила:

– Но на меня не пало ни малейшего подозрения – как же, из княжеского рода, жених погиб в борьбе с большевиками.

Красивая улыбка преобразила её лицо до неузнаваемости:

– Так я и дождалась освобождения Крыма нашими войсками. И вновь учительствовала, а в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году, к двадцатилетию Победы, где-то нашли следы моего героического, – не без сарказма выговорила она это слово, – прошлого и вызвав в Симферополь, машину специально прислали, – вручили орден Боевого Красного Знамени. Странно, правда, княжне – и такой орден. Вот ведь какие превратности судьбы, разве можно их объяснить без вмешательства Господа?

Она звонко засмеялась:

– Так что и я, в некотором роде – орденосец, – и она уважительно остановила свой живой и светлый взгляд на моей Звезде Героя.

– Нет, милая Лидия Георгиевна, тут я с Вами не согласен, Вы – не в некотором роде герой, а подлинный, настоящий. Спасибо Вам, я сердечно Вам кланяюсь за это, – и я надолго прильнул к её руке губами.

Было видно, что этот – не дежурный, а искренний знак внимания, был ей очень приятен. Она даже разволновалась.

Я проводил её от ресторана до самого дома. Как я ни настаивал на том, чтобы её покормить, довезти на машине, она решительно и даже категорически отказалась:

– Я не могу, молодой человек, себе этого позволять. Иначе – не смогу потом жить, полагаясь только на себя. Мне так легче

Я даже стушевался и пытался ей что-то сказать в ответ ещё. Она решительно, но вместе с тем – ласково и нежно остановила меня:

– Нет, нет, спасибо Вам, но я – ни в чём не нуждаюсь, поверьте мне. Мои запросы сегодня весьма скромные.

В одноэтажном доме она занимала маленькую комнатку, правда, с отдельным входом, после которого была крохотная кухонька.

В комнате и на кухне было почти по-больничному стерильно чисто.

В уголку комнаты, под окном, стоял узенький, закрытый покрывалом диван, у другой стены – шкафчик, двухстворчатый, маленький столик и три стула – вот и всё убранство этой милой монашеской светёлки.

Но она не чувствовала ни униженности, ни неловкости от такой простой обстановки, даже можно сказать – нищенской.

Это – был её мир, и в нём она ничего не хотела менять, да и не чувствовала в этом никакой нужды.

На стене висели две фотографии, старинные, большие: ослепительно красивой девушки, в которой я, по глазам лишь, признал свою необычайно интересную знакомую, и молодого офицера русской армии в капитанском чине.

Она, перехватив мой взгляд, улыбнулась:

– Не узнаете?

– Узнаю, Лидия Георгиевна. Узнаю...

– Да, это я, в семнадцатом году. Весной... А это – он... Мой Алёша...

– Я это понял...

Она, не отвечая мне, тут же принялась хлопотать над чаем.

О, это было целое действо. Из каких-то баночек – она серебряной ложечкой насыпала в старинный заварной, совсем миниатюрный, как и всё в её квартире, чайник, какие-то травки и когда залила всё это крутым кипятком, по комнате стал распространяться необыкновенно вкусный, неведомый мне ранее, дивный и неповторимый запах.

Я же, во время её колдовства с чаем, разглядывал со вкусом подобранную библиотеку – это была единственная роскошь, которую я видел в этом монашеском доме.

Через несколько минут она пригласила меня за стол и налила ароматную жидкость в красивые старинные чашки.

– Ну, как, вкусно?

– Лидия Георгиевна, искренне говорю – божественно.

– То-то же, – не без гордости приняла она заслуженную похвалу.

И тут же преподала мне урок:

– Молодой человек, никогда не сопровождайте святых слов сорняками. Разве слова: Бог, божественно, Господь, Вера – нуждаются в дополнениях, таких, как Вы произнесли сейчас – «искренне говорю, честное слово»...

Как профессиональный учитель, безотносительно к нашей беседе, продолжила:

– Божественно – значит, уже наивысшая степень, самая высокая оценка. Истина. Ибо Господь и есть наша высшая истина. И выше этого – нет и не может быть ничего. Поэтому никогда не употребляйте никаких иных слов, рядом со святыми и священными. Они просто их унижают.

Она перешла даже на какой-то особый тон:

– Это ведь всё равно, что сказать: «Я искренне люблю Родину, любимую женщину».

И утвердительно, на вопросе, и завершила нашу сегодняшнюю беседу:

– А разве можно, подумайте, в этом случае быть неискренним?

Мне очень не хотелось уходить из её дома, но я видел, что она очень устала и я, выпив ещё одну чашку чая, удалился, испросив у неё позволения встретиться с ней ещё.

И таких встреч затем, у меня с Лидией Георгиевной, было ещё несколько, а уж если буквально – то девять.

Каждую из них я запомнил на всю жизнь, так как она находила возможность, не прилагая к этому совершенно никаких усилий, быть столь притягательной и интересной, что я большей частью её только внимательно слушал.

В один из вечеров мы заговорили о вере.

– Нет, мой мальчик, – он часто именно так обращалась ко мне, – для меня Вера – это не стояние в Храме, да и... насмотрелась я в двадцатом году на наше священноначалие... Не любило оно Россию и не служило ей.

Строго и сурово, словно приговор вынесла:

– Да и не сделало ничего, чтоб примирить враждующие стороны. Напротив – разжигало рознь среди единокровного народа и благословляло одну его часть, считая её за истинно верную и правую, на братоубийство. На кровь.

Покачала головой и продолжила:

– Поэтому, Вера для меня – не лукавые песнопения, за которыми мертва душа, а то состояние всех чувств, когда ты веруешь, истово, в правду и совесть, когда даже наедине с собой, без свидетелей, без посторонних глаз, не можешь свершить поступок недостойный и предосудительный.

Вздыхнула, чуть перевела дух, но с мысли не сбилась, выразила её ясно и чётко:

– Без принуждения, лишь по зову души, голоса внутреннего и высокого, который и связывает нас с Господом.

Указав пальцем куда-то вверх, притихнув на миг, дополнила:

– Для общения с Ним – мне не надо священнослужителя, который нередко слаб и лукав, сребролюбив, не свободен от страстей нашей суетной жизни, ему ли понять моё внутреннее состояние, порыв моей души, которая желает всему человечеству любви и счастья.

И снова учительница взяла над ней верх:

– Жить Верой – это значит жить с образом, а образ – Бог. И без-ОБРАЗ-ная жизнь никогда не бывает праведной и чистой, честной и светлой.

Я с непрерывным интересом смотрел на неё, а она, воодушевившись благодарным слушателем, всё развивала свои воззрения:

– Поэтому – не удивляйтесь, что в моём жилище, человека истово верующего, нет икон. Я не верю в то, что слабому, не лишённому страстей, в том числе и низменных, человеку, дано передать лик Господа, Богоматери, Апостолов, Святых.

Чеканя каждое слово развивала свои мысли дальше:

– Нет, никто этого сделать не мог и всегда на иконе было узнаваемое лицо близкого для иконописца человека, а во время ранней Руси – ещё и только одной, при этом, национальности. Немилосердного к России народа.

Заглянула мне в глаза, ожидая встретить сопротивление и не увидев его, умиротворённо, как союзнику, поведала своё сокровенное:

– И это хорошо, это совсем не грех, однако это вера художника, это его образ, его видение святости, но оно не может быть для меня истинным и каноническим для всех.

Страстно, как свою высокую и выстраданную убеждённость, которую уже не сменит ни за что до конца своих дней, подытожила:

– Поэтому – мой Бог, а я ещё раз повторю Вам, что я верую истово и глубоко, он во мне. И только он – мой единственный, моя поддержка и опора, моя высшая истина.

Обратившись к далёкой памяти привела яркий и убедительный, на мой взгляд, пример:

– Я была юной гимназисткой, начальных классов, но хорошо помню, как Победоносцев, по сути – единолично правящий Священным синодом, организовал отлучение от церкви Льва Толстого. Я бы так, в силу

юных лет, этого не запомнила, но эта новость очень живо и активно обсуждалась у нас в доме до самой войны.

Причём, с участием знаковых людей того времени. И Куприна, и Бунина, и Бакунина, и графа Толстого, Алексея, и князя Кропоткина, всех и не упомнишь, кто бывал у нас дома.

Я даже оторопел от этих имён её современников, которых мы воспринимаем лишь как исторических персонажей.

– Так вот, все сходились на одном: ежели самого совестливого и святого человека на Руси, который первым и изрёк, что Бог – во мне, отлучили от церкви – надо ждать страшных потрясений и испытаний, которые Господь и обрушит на головы отступников от веры. Жаль, что и безвинные при этом страдают.

Переспросила меня тут же:

– Не утомила я Вас ещё? – и не дожидаясь ответа страстно продолжила:

– Ведь этим деянием, в котором не было никакой заботы о вере, а только политические, конъюнктурные интересы, разрушалась триада, с соблюдением которой только и возможно существование Великой, Единой и Неделимой России – Вера, Самодержавие и Отечество. Попрание хотя бы одного из этих краеугольных камней русской государственности, их подмена, влекло за собой уничтожение государства, Отечества. Что, к несчастью, и случилось, буквально через несколько лет.

И очень горько, словно о невозвратной личной утрате, дополнила:

– И так ведь не простили ему этого, нет, не вольнодумства, а понимания Господа, как неотрывной сути себя самого, как высшей совести и высшей правды, по которым только и достойно жить человеку. Не пощадили. И упокоили Великого гения русской земли без креста и без благословения. И грехов не отпустили.

– Я с Вами полностью согласен. Много и сам думал об этом, Лидия Георгиевна.

Она, получив мою поддержку, воодушевилась ещё больше:

– И это – самому святому и искреннему человеку, сделавшему для упрочения величия и славы Отечества больше, нежели все его хулители вместе взятые.

Какая же милость в этом действующих чиновников от церкви? Какое их величие и любовь к ближнему при этом проявлены?

Не собираясь, совершенно, спорить со мной, лишь высказывала давно осмысленное за долгие годы и пережитое:

– Вы не пережили то время, но я хорошо помню, как русская зарубежная церковь, а ведь православная при этом, устами митрополита Храповицкого, её предстоятеля, благословляла фашистов на поход против России, оправдывала все злодеяния власовцев на нашей земле. Я уже не говорю о злодеяниях католической, униатской церкви. За ними – реки крови

по всему миру, стоит только вспомнить усташей в Югославии, бандеровцев – на Западной Украине.

– Да, Лидия Георгиевна, я много об этом читал, – вставил я свою реплику.

– Деточка. Вы – читали, так как Вы – послевоенный, я так скажу, молодой человек и можете не знать, что на оккупированных фашистами территориях, а это ведь до Москвы включительно, была образована особая зона и шесть митрополитов русской православной церкви призывали паству служить верой и правдой фюреру великой Германии, который и есть «...суть меч божий для борьбы с большевиками».

– Я об этом знаю, милая Лидия Георгиевна, – ответил я.

– Тем лучше. И после этого – эти служки могут быть для меня авторитетом? Посредником между мной и Господом? Нет уж, увольте меня от этого, – и она, при этом, как-то решительно махнула рукой.

– Я не могу воздавать хвалу новому режиму, он у меня забрал всё, но – нельзя же не видеть и того, что только этот режим и спас Россию от закабаления силами зла и насилия, только он сохранил саму государственность Отечества.

– Согласен...

– Но запомните, деточка, и без веры человек – ничто, он ничтожен и слаб, он не может избежать искушений, ошибок и заблуждений.

На миг остановившись, и уже – как итог, произнесла запальчиво, с жаром:

– Поэтому – веруйте, веруйте истово и ищите у Господа совета в роковые минуты, но никогда, никогда не избирайте в посредники между собой и Господом лукавого попа, который сам погряз в грехах...

Этот разговор с Лидией Георгиевной я запомнил на всю жизнь, как, впрочем, и все иные. Но этот меня просто потряс. Я не ожидал такой осведомлённости в делах веры и церкви от этой дивной русской женщины, ровесницы далёких и отшумевших событий.

Я совершенно по-иному стал оценивать действительность и своё место в этом мире. Свои скромные человеческие возможности, которые умножались лишь тогда, когда человек отвергал без-ОБРАЗНОЕ, то есть, жизнь без образа, а ОБРАЗ – только Господь, только вечная и непорушная истина.

От неё свет и верная дорога в жизни, защита и охрана всем нам от дурных мыслей и поступков.

Сам, полагаю, имел какой-то опыт, что-то знал, всё же был академиком и профессором прославленной военной академии Генерального штаба, где уже несколько лет возглавлял факультет оперативного искусства, но её рассказы, ясный и светлый разум меня просто завораживали, а её милое бурчание, никогда не переходящее известных границ, словно вернули в раннее детство, где я, к несчастью, не видел такой материнской

заботы и нежности, желания передать накопленные знания и жизненный опыт.

Я неплохо, к тому же, знал немецкий и французский языки и она, прознав об этом, теперь вечерами говорила со мной только на них, тут же подправляя моё произношение.

И мне кажется, что я за семь–восемь вечеров общения с нею, своеобразных и интересных уроков, достиг заметного продвижения вперёд в разговорной речи, так как она всё меньше и меньше делала мне своих милых замечаний.

Но здоровалась она со мной и благословляла вечером на дорогу, только на русском языке.

Видно, что и для неё моё внимание и неподдельный интерес значили многое.

И она, уже не стесняясь, принимала от меня в ресторане приглашение отужинать вместе.

Всегда, как правило, съедала две-три барабошки, другой рыбы не ела, с зеленью. И выпивала чашечку своего неизменного кофе.

Вчера же, неожиданно для меня, сама попросила – «на доньшке», так она и сказала, коньяку.

– Сегодня у меня особый день. Сегодня Его день рождения. Жду, жду уже встречи с ним. Все свои дела на земле я уже завершила, да их-то и не было никогда много, только вот не знаю почему, за что вознаградил Господь – зажила так долго.

И уже только для себя:

– Пора уже мне, пора давно, по иному пути идти. С ним рядом...

И она, выпив глоток коньяку, закурила. И вдруг, молодо засмеялась:

– Генерал, а я ведь пьяна. Уже лет сорок ничего не пила. Что же Вы делать будете со мной?

– Не волнуйтесь, Лидия Георгиевна, сейчас всё пройдёт, и мы – снова, с Вами, по нашему маршруту, тихонечко пойдём к Вам домой.

Она успокоилась и даже на несколько минут закрыла глаза.

Проводив её домой и договорившись о завтрашней встрече, я не торопясь пошёл в свою временную обитель.

Почему-то не спалось. Практически всю ночь я просидел на балконе, непрерывно курил, нарушив свой же запрет – не более шести сигарет в день, и даже выпил полбутылки коньяку.

Необъяснимая тревога давила на сердце. И я, не зная причины, как в минуты опасности, собрал всю свою волю в кулак и насторожился:

«Что мне здесь, в раю, может угрожать? Успокойся и угомонись».

Но как только рассвело, я побрился, надел куртку – было свежо, и быстро пошёл к дому Лидии Георгиевны.

О, этот запах смерти. Я его почувствовал задолго, ещё не дойдя до её дома. Часто, к несчастью, встречался он в моей жизни.

И я, зайдя к соседке, с которой уже были знакомы, попросил её пройти со мной на половину Лидии Георгиевны.

Соседка не удивилась, при этом спокойно, не волнуясь, сказала:

– Да, что-то я не слышала бабушку сегодня. У неё, правда, это бывает. Она – может и до полудня пролежать, всё что-то читает. Выпьет чашку чаю и читает свои книги.

Я заторопился к двери Лидии Георгиевны. Чутьё меня не подвело. На своём диванчике, в неведомом мне – красивом, но, видать, очень старинном платье, лежала, вытянувшись во весь свой маленький рост, Лидия Георгиевна.

Её маленькие и уже восковые руки, были сложены в смиренный замок на груди. Глаза закрыты. Лицо, обретшее привычную для покойника желтизну, было величественным и спокойным.

На столе, в целлофановом пакете, лежал истлевший букет роз или, вернее, то, что от него осталось и письмо, адресованное мне.

А ещё – та большая фотография Лидии Георгиевны, которая так мне нравилась.

В своём письме она писала:

«Генерал! У меня нет души, ближе Вашей в этом городе, где я прожила почти всю свою жизнь.

Мне некому и нечего завещать, кроме книг и этих нескольких дорогих для меня безделушек (и только после этих слов я увидел маленькую коробочку алого бархата, которая стояла у фотографии).

Я очень хочу, чтобы Вы, на добрую память обо мне, взяли себе книги и эти фамильные драгоценности. Пусть они доставят радость Вашей милой дочери, а она, затем, передаст их Вашей внучке. Так Вы и будете меня помнить, а я же и из той жизни, теперь уже вечной, буду всегда молиться за Вас и просить Господа о милости к Вам и любви.

Мою же комнату я завещаю моей милой соседке, которая всегда помогала мне и поддерживала меня во все трудные времена...».

Женщина ещё яркая и красивая, но уже отпылавшая зенитом женской красоты, при этом – заплакала навзрыд и стала что-то поправлять на уопшей.

Я продолжил чтение письма:

«Похороните меня, прошу Вас, я не хочу, чтобы это делали чужие люди.

Деньги у меня скоплены на этот случай и лежат в верхнем ящике письменного стола.

Положите со мной Его фотографию, мою же – возьмите себе на память, мне очень нравилось, как Вы всегда её разглядывали.

Храни Вас Господь.

Княжна Л. Невельская».

Я всё выполнил, конечно же, не взяв ни копейки денег со стола Лидии Георгиевны, лишь указав на них хозяйке.

К её чести, она сама потребила их только на похороны, да на скромные – присутствовало лишь несколько стареньких учителей, бывших коллег усопшей, поминки.

– Вы не волнуйтесь, я – на оставшиеся, – и она показала мне деньги, – на следующий год поставлю памятник, чтоб всё по-людски было.

Больше оставаться в Феодосии после случившегося я не мог. И уехал в тот же вечер, отправив багажом, на свой адрес, её библиотеку.

Мой случайный попутчик, который оказался в купе вагона «СВ», какой-то научный работник академии наук, удивлённо, но с пониманием посмотрел на меня, когда я предложил почтить память светлого и уважаемого мною человека и помянуть его по русскому обычаю.

Он, молодец, не жеманясь, взял стакан в руки, который я на две трети наполнил коньяком, выпил залпом и только потом спросил:

– Родственник? Приезжали на похороны?

– Родная душа, так будет правильнее сказать. Святая и чистая. Сегодня – таких уже нет. В числе последних, из самых лучших, ушла...

И только при этих словах на моих глазах выступили слёзы облегчения и покаяния.

И я их не стыдился.

Нам всем есть в чём каяться и за что просить у Господа прощения.

Не всегда мы оглядываемся даже на ближних, а уж на далёких для нас людей – и вовсе внимания не обращаем. Не учитываем их мнения, их чувств и страданий, поисков и переживаний.

Отсюда – такой крутой и кровавый путь России, к несчастью.

Целые народы ломаем через колено, если только чувствуем свою силу и понимаем только свою правоту. Не всегда милосердную для других.

А что уж тут до слабого человека, одного, его, не имеющей ценности для других, судьбы?

Поэтому мы и рассеялись по миру, причём, самые лучшие и достойные изошли из русской земли во все лихолетья и наше время – тому не исключение, оставив её на произвол немилосердных сил.

А скольких со света этого извели, кто считал?

И всё лишь для того, чтобы свой верх сохранить, поставить себя над другими.

Научимся ли мы когда-нибудь быть терпимее, сердечнее, добрее и участливее?

А ещё, – подумал я, – научимся ли различать, как неоднократно говорила мне Лидия Георгиевна, – понятия Отечество и государство?

Отечество у нас одно, у людей разных убеждений, разных классов и разных сословий – Россия наша и понятие Отечества всегда выше государства.

Сколько бы бед избежали, если бы усвоили эту, такую простую, истину. Сможем ли, хотя бы сегодня, накупавшись в праведной крови, понять это?

Ибо если не поймём этого – крови не избежать вновь. Каким чудом, вразумлением каким прервать эту печальную традицию, когда у каждого поколения в России – свои усобицы, в ходе которых всегда льётся праведная кровь.

Недопустимо много источили её друг из друга. Больше нельзя. Иначе – остановим саму возможность к развитию, к продолжению жизни.

*Изменяем мы, в первую очередь,
самим себе. А изменив себе -
не страшимся измены и тем,
кто нас любит.
И их боль и утраты
всегда нам кажутся не достойными
нашего сочувствия и сожаления.*

И. Владиславлев

ИЗМЕНА

Эту историю мне рассказал мой дед, который прожил на этой земле 93 года, имел два Георгиевских креста, лычки старшего урядника, да ран, сабельных, на теле – немеряно.

И так случилось, что ко времени этой истории, он, первогодок, со своим отцом Фёдором Ефимовичем Шаповаловым, служил в полку, которым командовал молодой и известный всей Добровольческой армии полковник Лапшов.

Такой к нему, разумеется в пересказах, а где-то – и в домыслах, дошла эта история – высокой и трагичной любви.

Боже мой, как же ждал полковник Лапшов этой минуты.

Он, как проклятый, уже шестой месяц не выходил из боёв. Армия стягивалась в Крым и все, даже юные поручики, понимали, что конец, развязка всей их борьбы, близится.

Все понесённые жертвы были зряшными. Не принял Господь их молитвы, обращённые к нему из десятков тысяч неприкаянных сердец за защитой и поддержкой.

За грехи, видать большие, не смог простить Господь своим сыновьям, которых жалел и пёкся о каждом, принимая их страдания и боль в своё вселюбящее сердце.

Но и оно имеет свои пределы. И было переполнено до краёв жалостливое сердце Господа болью и страданиями, кровью праведной, а как же ещё – ведь её, по обе Его руки, лили люди русские без разбору, не щадя не только врагов своих, но и самих себя.

И милость Божия была сокрыта за реками крови и не могла она пробиться к людям, так как кровь – она прочнее всего. Она превращала человека в зверя лютого, а кто же такому на помощь придёт и спасёт.

И Лапшов, накупавшись в крови досыта, так прямо и сказал командующему:

– Ваше Превосходительство, три дня, только три дня прошу, Вы меня знаете с четырнадцатого года, ни разу никого не просил ни о чём личном, а сегодня – прошу. Не отпустите – застрелюсь, сейчас же застрелюсь, у Вас на глазах.

И Пётр Николаевич Врангель, зная одного из своих лучших командиров полков, понял его сразу – до края, значит, дошёл человек.

Закончился запас его сил – и физических и моральных и душа вся истлела настолько, что уже не страшится она любого греха.

И он разрешил полковнику Лапшову краткосрочный отпуск. Да не три дня, как тот просил, а целых пять.

– Поезжайте, Дмитрий Вячеславович, поезжайте, голубчик. Я думаю, что за пять дней никаких радикальных перемен не случится. А Вам надо отдохнуть. Я это знаю. И простите, Бога ради, своего Главнокомандующего, что сам не догадался и не предложил Вам, хотя бы несколько дней, заслуженной передышки.

И Лапшов, со своим верным ординарцем, ещё с той Великой войны, урядником Шаповаловым, батькой своим названным, старым уже казаком, с тремя Георгиями на вылинявшей гимнастёрке, тронулся в путь, в Севастополь.

Шаповалов предложил пролётку, но Лапшов отказался:

– Нет, отец, так будет нам тяжелее пробиться. Ты же знаешь, что сейчас на дорогах творится. Мы – верхи, – он так и сказал, по-казацки привычно «верхи», – так оно вернее, да и быстрее будет.

И, как оказалось впоследствии, это решение Лапшова было мудрым. Дорога на Севастополь, вся, была забита беженцами, телегами, экипажами, а в Ласпи Шаповалову даже пришлось стрелять вверх, чтобы обеспечить проезд своего командира.

Казалось, вся Россия стронулась с места и спешила неведомо куда и за какой долей.

Какие пожитки у окопного офицера, даже столь высокого положения и чина? Один вещмешок и набрался. И среди личных вещей – свежей гимнастёрки, шаровар с алым лампасом, орденов, которые лежали в

нарядной, алого бархата коробке, да несколько пачек патронов к офицерскому нагану-самовзводу, с которым не расставался с четырнадцатого года – лежал подарок для Нёе.

Давно он купил его у татарина-менялы, все деньги, что у него были, отдал. Это был необычайной красоты старинный браслет червонного золота, с бриллиантами и такие же серьги.

Грел этот подарок душу Лапшову и берёг он его пуще зеницы ока.

Господи, как же он любил эту женщину. Как он боготворил её.

А встретилась она ему – на дорогах этой уже войны, несчастная, растерянная, сидевшая прямо в придорожной пыли, а на коленях держала уже безжизненную голову красавца-капитана, которому шалый снаряд оторвал обе ноги и он, промучавшись несколько часов, так и скончался.

Лапшов силой оторвал Её от остывшего тела капитана, велел подчинённым похоронить его, а сам, усадив потерянную и ушедшую в неутешное горе молодую женщину в пролётку, не утешал, не говорил ни слова, а просто укрыл шинелью, налил почти полкружки спирта и заставил выпить.

Она безропотно всё это выполнила, даже не задохнулась с непривычки и тут же уснула.

А он сидел, молча, в пролётке, всё смотрел на это удивительно красивое лицо и думал:

– Вот ведь как жизнь заворачивает. Хорошо мне, никто не заплачет, никто не поскорбит. Родителей давно утратил – отца, профессора Петербургской военно-медицинской академии, растерзали пьяные анархисты – ни за что, просто так, только потому, что старый генерал-хирург не снял погоны и не поклонился им, как они того требовали.

И не остановило их даже то, что он был врачом, прошёл японскую войну, а в последние годы возглавлял кафедру полевой хирургии.

Мать не вынесла утраты и стояла за ним следом, через несколько дней.

А жениться Лапшов не успел. Юным поручиком, как ушёл на фронт в четырнадцатом году, так вот уже шесть лет и не выходит из боёв.

Сначала – за Веру, царя и Отечество, а сейчас?

«А сейчас за что? – спросил он сам у себя. И ответа не нашёл.

«За Отечество? Так его нет. Веры не стало. Как не стало и царя.

Поэтому – за что же ты, Лапшов, воюешь с конца семнадцатого года?»

Он тяжело вздохнул, да так, что даже вскинулся в седле его батька, как старый ворон, едущий рядом, а Лапшов продолжил в мыслях:

«Не простой вопрос, коль вся Россия отвернулась от нас и пошла – супротив, как батька мой дорогой говорит».

Даже сердце зашло в при этих мыслях:

«Ведь у меня, кроме службы, ничего нет. Ну, стал я полковником в двадцать семь лет, полком уже второй год командую, а воюю-то с кем? И за что? За какие идеалы?»

Как-то счастливо улыбнувшись, что ещё в большей мере подчеркнуло его возраст, горестно сосредоточился на дальнейших размышлениях:

«Там был германец, там было всё понятно. А сейчас? Против таких, как Шаповалов?»

И он сбоку, с жалостью, посмотрел на дремавшего в седле своего ангела-хранителя.

«Сначала было объяснение. Узнав о трагической гибели отца – всю ненависть изливал в боях. Смерти не искал, нет, но и не страшился встретить её».

Эти мысли ни на миг не оставляли его, а он всё смотрел и смотрел на эту женщину, которую подобрал на дороге и думал:

«А зачем я это сделал? И куда я её привезу? Таких как она сегодня – пол-России. Разве всех обогреешь? Сердца ведь на всех не хватит».

Он даже покраснел в миг, когда вспомнил, что святошей не был. Случались у него краткосрочные романы на дорогах войны, но всей душой он так ни к кому и не прикипел, не успел, да и не смог.

А сейчас – всё его сердце, не знавшее настоящей любви, женской ласки, наполнила такая нежность к этой незнакомой женщине, что он, будь обстоятельства иными, поклялся бы ей в верности и тот же час просил бы её руки.

Он даже сам устрасился неожиданному обороту своих мыслей и тихо пробормотал:

– Нервы, нервы проклятые, расшалились. Успокойся. За тобой – полк, три тысячи живых душ. Их надо поить-кормить, учить воевать, хоронить... Надо исполнять свой долг. И помнить, что кроме тебя его не исполнит никто.

Так они доехали до Ялты, где и предстояло полку Лапшова пополниться людьми, боеприпасами и вновь выступить на передовую.

Его попутчица очнулась. Ошалелыми глазами смотрела на молодого красивого полковника, который берёт её покой и правой рукой обнимал за плечи, подложив ей под правую щеку свою папаху.

Сам же сидел с непокрытой головой, в одном мундире, несмотря на изрядный холод и пронизывающий ветер.

– Ну, что, голубушка, немножко отошли? Прошу Вас, успокойтесь только: былого не вернуть, война, будь она проклята, а Вам, молодой и такой... красивой, надо жить, – эту фразу он произнёс каким-то чужим голосом, которого даже сам устыдился.

Она, даже сквозь слёзы, прорывающиеся рыдания, не смогла не задать ему вопрос:

– А Вам-то, сколько лет, полковник?

– О, я уже старый. Двадцать девятый.

Она улынулась, сквозь слёзы и, как-то обречённо, сказала:

– Тогда я – древняя старуха, так как мне уже тридцать первый год. К слову, только вчера исполнился тридцатый.

Лапшов даже покраснел:

– Простите, я не это хотел сказать. Я... видел, что Вы – совсем юная девушка. Простите...

Она сердечно его поблагодарила, подала папаху, которую он тут же, по-казачьи лихо, привычно сбил на затылок, выпустив из-под неё иссиня-чёрный чуб справа и тепло ей сказал:

– Вы не тревожьтесь. Мой ординарец, – и он указал на Шаповалова, дремлющего, чутко и сторожко, в седле, – Вас устроит с жильём. А там – что-нибудь придумаем.

Шаповалов, словно и не спал, слышал весь их разговор и тут же ответил:

– Ваше Высокоблагородие, барышню в Севастополь надо. В Ялте пропадёт. А у меня там – и свояк есть. Всё же легче ей будет, по нынешним окаянным временам-то...

– Тогда, отец, без промедления, – велел Лапшов, – садись в пролётку, смени коней только, запасись харчами – и в Севастополь. Даю тебе – на всё-про всё, три дня. Выполняй.

И легко соскочив с пролётки, тут же – вскочил в седло своего красавца-коня, которого вёл в поводу, возле своего, бок – о бок, верный Шаповалов и погрузился, даже не оглянувшись более ни разу на неё, в неотложные и нескончаемые заботы командира такого огромного хозяйства, которым был его полк.

Шаповалов вернулся к исходу второго дня.

– Так что, всё исправил, Ваше Высокоблагородие.

И тут же, перейдя на более привычный для него тон, продолжил:

– Всё, сынок, разрешилось, слава Богу, без особых усилий. Устроил барышню, по нынешним временам – по-царски. Дай-то Бог уцелеть ей в этом аду. Светопредставление творится, сынок, в Севастополе. Словно всю Россию струнули с места...

Лапшов только через несколько дней спросил у Шаповалова, хотя ежедневно эта мысль крутилась у него в голове:

– Так, где устроил-то нашу попутчицу, отец?

– А я, сынок, не стал её у свояка определять. Опять же – неизвестность, что там и как впереди будет? А я набрался храбрости – да и пошёл к самому градоначальнику. Сердитый, кричит на всех. Я даже оробел, когда он ко мне подошёл. И как только он стал и на меня кричать, я ему, поперёк: значит – так и так, Ваше Высокоблагородие, полковник Лапшов, мой командир, велел Вам кланяться и просит устроить эту барышню – и на проживание, и на какую-никакую службу при Вас.

– И ты знаешь, сынок, он даже кричать перестал, посмотрел на нас обоих и к ней обратился: «А печатать на машинке можете?».

– Она, ему в ответ: «Могу. Я была учителем словесности. И печатать хорошо могу».

– Вот и славно, – ответил полковник, пожилой уже совсем старик, лет-то – поболее меня будет, – давай, урядник, определяй барышню на жительство вон, в том доме, – указал на нарядный, почти у моря, белый особняк.

– Скажи, что я велел. А завтра, милая барышня, на службу. Вот так.

– Ну, я всё обрешил, с комендантом встретился, одежду ей всю добыл – пальто, шапку, юбочки, платья какие-никакие, да и к тебе...

– Спасибо, отец. Сердечное спасибо, – порадовался Лапшов и более не спрашивал ни слова об этой женщине.

Через несколько дней, в Севастополе, Главнокомандующий проводил большое совещание. И Лапшов был его участником.

Он сразу увидел Её в зале заседаний. Строгий, полувоенный костюм, удивительно ей шёл.

Здороваясь со знакомыми офицерами, он всё пробирался к ней.

Оказавшись совсем рядом, тихо, в растерянности и в замешательстве, произнёс:

– Здравствуйте. Вы меня не забыли ещё?

Глаза её радостно заблестели:

– Я никогда Вас не забуду, Дмитрий Вячеславович. Каждый день молно Господа за Ваше здоровье и за то, что Вы встретились мне на пути. Погибла бы без Вас...

К ним подошёл пожилой полковник. Он тяжело дышал и его лицо было багрово-красным.

– Уважаемый Николай Константинович, – обратилась она к нему, – это и есть полковник Лапшов Дмитрий Вячеславович.

Лапшов понял, что это и есть градоначальник и прищёлкнув каблуками, вытянулся, как юнкер, перед старым служакой:

– Благодарю Вас, Николай Константинович, за помощь этой... милой барышне.

Старый полковник был польщён: «Молодец, малец, – подумал про себя, – в чине равном, а ведёт себя учтиво. И орденов-то – герой, истинный герой».

А вслух сказал:

– Это я Вас, Дмитрий Вячеславович, благодарить должен.

Виктория Георгиевна – сущий клад для меня. Я без неё просто бы не справился. А она такой порядок в канцелярии навела, такую дисциплину установила в управлении градоначальника, что я просто не знаю, как Вас благодарить, голубчик.

И он, с чувством, потряс руку Лапшову. И тут же извинившись, ушёл.

– Простите, дела, сейчас Главнокомандующий прибудет...

Все совещание Лапшов с Викторией, обменивались взглядами. Она что-то быстро печатала на машинке, адъютант Главнокомандующего забирал у неё готовую работу, подносил на подпись Его Превосходительству и тихонько выскальзывал из зала, относя приказы и распоряжения на телеграф. А затем, снова возвращался к Виктории и она, вновь, стучала по клавишам блестящей, такой Лапшов и не видел, пишущей машинки.

И когда Главнокомандующий объявил перерыв и пригласил всех на обед, Лапшов снова оказался возле Виктории Георгиевны.

Слава Богу, он теперь хотя бы знал её имя-отчество. Так её назвал градоначальник.

– Виктория Георгиевна! Осмелюсь просить Вас – давайте пообедаем вместе. Я знаю тут рядышком одно очень приличное место, по крайней мере – таковым оно было в недавнее время, во время моих не частых наездов с фронта.

Она с радостью согласилась. И уже через несколько минут они были в небольшом и уютном ресторанчике, почти на самом берегу моря.

Людей было немного и им был предложен столик в стеклянной веранде, через окна которой был слышен рокот моря и редкие гудки кораблей.

Как же им легко было вместе. Они говорили, говорили и не могли наговориться, даже забыв об обеде.

Но, всё же, наскоро съев вкусную рыбу, какие-то салаты с морепродуктами, спешно вернулись в зал заседаний Военного Совета.

Там было, непонятно почему, безлюдно и очень тихо.

И тут, словно из-под земли, пред ними объявился градоначальник:

– Молите Бога, счастливы, совещание продолжится завтра, в шестнадцать часов, а сейчас – Главнокомандующий убыл встречать союзников.

Хитро подмигнул им, как поверенный в их сердечных делах и заключил:

– Так что у Вас – масса времени. Идите, идите, – и он по отечески, тепло, даже подтолкнул Лапшова к выходу.

Молодость! Какая же это святая пора! Она быстро врачует раны, даже самые тяжкие, сглаживает утраты, а сердца, не знавшие настоящей любви, так её ищут и так её ждут.

Она просто и без обиняков, сказала:

– Дмитрий Вячеславович! Не хлопчите о... жилье. У меня – целых две комнаты, спасибо милейшему градоначальнику. Мы с Вами зайдём на рынок, купим чего-нибудь съестного и продолжим нашу беседу. У меня...

Он от неожиданности даже покраснел:

– А удобно ли это? Я не стесню Вас?

– Удобно. Теперь всё удобно, Дмитрий Вячеславович, – сказала она таким тоном, как говорят с маленьким мальчиком.

– Тем более, что нам действительно есть о чём поговорить. И у меня – лишь Вы, да Ваш урядник – единственные родные люди на всём белом свете. Нет у меня более никого, – и слёзы полились из её глаз, таких удивительных, карих, с едва заметной раскосинкой.

– Виктория Георгиевна, не надо, Прошу Вас, хорошая моя. Я Вам говорил тогда, ещё при первой встрече, что я тоже один на этом свете.

Она крепко взяла его под руку и они зашагали в сторону рынка. Купить здесь можно было всё. И скоро извозчик, погрузив их поклажу, вёз счастливого Лапшова с его спутницей, к месту обитания Виктории Георгиевны.

Какой это был упоительный вечер. Они, касаясь и умышленно переплетаясь руками, готовили ужин, затем – сливались в страстном поцелуе и замирали на несколько минут, не двигаясь и только глазами спрашивали друг у друга:

«А мы правильно поступаем? По чести? Мы не заблуждаемся?».

«Нет и нет», – говорили её глаза.

«Милая, светлая, родная моя!» – отвечал он ей своим пронзительным взглядом.

Конечно, он никуда не уехал в эту ночь.

Они открывали друг друга, срывая покров непознанного и неизведанного ими, словно переливались друг в друга своими сердцами и душами, так не любившими до этой поры, дополняя, обоюдно, силы и чувства другого...

И с той поры он искал любую возможность, чтобы встретиться с нею.

Но, будучи человеком долга и чести, заявил ей, уже во вторую встречу:

– Родная моя! Я всё решил, договорился с настоятелем Храма Святого Владимира, который в обиходе называется усыпальницей адмиралов, о... нашем венчании...

Как же лучились и сияли её глаза при этом. И она, без любых раздумий, ответила согласием.

День был ярким и праздничным. Полыхала листва на солнце. Совсем рядом – слышалось дыхание моря.

Лапшов и Виктория прошли мимо памятника Нахимову, поклонились великому флотоводцу. Ей очень понравилось, как Лапшов при

этом, приложил руку к козырьку своей щегольской фуражки, а левой – подобрал шашку и застыл, на мгновение, торжественно и недвижимо.

Отец Владислав их уже ждал. Горели свечи. Певчие на хорах, высокими голосами, торжественно, пели венчальную. Всё было как в каком-то фантастическом сне.

Но самое главное, что навсегда осталось в памяти Лапшова, до самого смертного часа, были слова священнослужителя по завершению обряда венчания.

Он взял их обоих за руки и проникновенно сказал:

– Дети мои! Вы выстрадали своё счастье. Но оно приходит только к тем, кто умеет верить и ждать. Не верящие не могут быть верными, помните это всегда, дети мои. Поэтому – верьте в Господа нашего, просите у него защиты и приносите Ему свои покаяния. И он никогда Вас не оставит своими милостями.

И он осенил их, размашисто и красиво, крестным знаменем. А затем, поочерёдно, поцеловал троекратно Лапшова и Викторию по-отечески, в лоб, а затем – и в обе щеки.

– Храни Вас Господь, милые дети. И будьте счастливы. Достоинно несите по жизни свою любовь, берегите друг друга.

С этого дня жизнь Лапшова и Виктории наполнилась новым высоким содержанием.

Он всегда, как только выпадала минутка, рвался домой. И знал, что он всегда любим и является высшим смыслом жизни для этой молодой и ослепительной женщины, красота которой с замужеством расцвела настолько ярко, что её, тайком, даже крестили в спину бывалые матросские вдовы, которые прибирались в Храме в воскресные дни:

«Господи, прости! Нельзя человеку быть в такой порочной красе. Не к добру она. Ох, не к добру. Большое горе за собой ведёт...».

Господи, какие же это были ночи, в дни его приезда домой. Они не могли насытиться друг другом, не могли наговориться друг с другом, не могли налюбоваться друг другом.

Пришедшая к ним любовь заполонила всё их естество, всю их суть. Они не могли быть друг без друга ни один миг.

Она ему так и сказала:

– Ты знаешь, родной мой, что только ты и пробудил во мне женщину. Я не знала, я не знала, что так можно любить. Так верить и ждать. Так желать тебя.

И они вновь и вновь переплетались своими сильными молодыми телами и отдавали друг другу всё тепло и всю силу любящих сердец.

И вот, уже более пяти месяцев, он ни разу не встретился с нею. Бои, страшные бои, не позволяли ему отлучиться ни на миг с передовой. Да и не возникало у него таких мыслей, так как кровь лилась рекой и его полк просто таял на глазах, выполняя задачу прикрытия отхода остатков армии в Крым.

А стало чуть потише, да и задача, за которую его похвалил генерал Врангель, была выполнена с честью – и что-то нашло, так скрутило сердце, сжало его тоской такой силы, что вынести больше разлуки не мог, поэтому и попросил у Главнокомандующего, столь категорично, об отпуске.

И когда копыта лошадей звонко зацокали по мостовой Севастополя – он оживился.

Господи! Ещё несколько минут – и он увидит ту, что стала смыслом и счастьем его жизни, ту, без которой он больше не мог и не мыслил остаться даже на единый миг.

Совершенно случайно им по дороге встретился градоначальник.

Он как-то засуетился, заторопился от Лапшова, чего с ним в жизни не было никогда. Он всегда был приветлив и любил этого молодого полковника, как сына.

Сегодня же он постучал ладонью по груди Лапшова и только сказал:

– Ладно, голубчик. Все в жизни под Богом ходим. Крепитесь и молитесь Его о защите.

– А... Виктория Георгиевна – э... жива-здорова. Не волнуйтесь за неё. Догляд за ней есть, и живёт она... благополучно, – и при этом он старался не смотреть в глаза молодому полковнику.

– Прощайте, голубчик, дела, – и он спешно ретировался.

Муторно стало на сердце Лапшова от этой встречи. Что-то заскребло по душе. Но он гнал прочь все дурные мысли, а только думал:

«Больна? Что же приключилось с ней? Скорее, Господи, скорее», – и он прищипил уставшего коня.

Шаповалов с тревогой смотрел на своего любимца. В его бы власти – повернул бы коней, да и обратно – в полк. Так беспокойно и так тревожно стало у него на душе после слов градоначальника.

«Ишь, как вор бежал. С чего бы? Разве добром так встречают? Ты бы с него, – и он с тоской и сердечной болью посмотрел на Лапшова, – зашёлся так кровями, да столько людей в боях положил, а каждый у него – за сына ведь был родного, несмотря на его возраст, тогда не говорил бы так», – всё тянул и тянул старый солдат в своих мыслях.

Возле её дома стоял нарядный экипаж. На козлах дремал какой-то абрек в мохнатой папахе и накинута на плечи бурке.

Лапшов передал повод Шаповалову и глухим голосом попросил:

– Отец, выводи коней, полчаса. А затем – и поднимайся в дом.

Жду тебя, будем ужинать.

При этих словах абрек открыл глаза и гортанно проговорил:

– Эт, и куда ты идишь? Туда нэльзя. Там князь Туманишвили.

– Не пуцу! Князь нэ вэлэл никаво пускать.

Лапшов – впервые в жизни, ударил солдата. Ударил сильно, так, что тот слетел с козел и распластался чёрной птицей на мостовой.

– Молчать, негодяй, – налился краской Лапшов, – пристрелю, если ещё слово скажешь.

Шаповалов с ужасом смотрел на своего любимца и не узнавал его, так исказила гримаса боли и отчаяния это родное красивое лицо, что оно стало в эти минуты просто страшным.

Лапшов открыл входную дверь своим ключом. Он его, как талисман, всегда носил с собой и говорил Шаповалову:

– Пока, отец, этот ключ со мной – ничего со мной не случится. Я бессмертный.

Уже в прихожей увидел чужую бурку, богатую шашку в серебряных ножнах, португеею на два плеча, с наганом.

И он, постарев на годы, стал тихо подниматься по ступеням лестницы на второй этаж.

Рука сама, непроизвольно, расстегнула кабуру и уже через секунду – привычно обхватила рукоять уже утратившего воронение нагана, прошедшего с ним все годы Великой и этой войны пальцами и он так сильно сжал оружие в руке, что та даже побелела...

Своих выстрелов он не слышал. Он только видел, как пули сбросили на пол мерзкое, как ему показалось, всё поросшее дикими волосами, тело Туманишвили, а – последнюю, после минутной задержки, успев посмотреть ей в омертвевшее лицо и в глаза, расширившиеся от ужаса, вогнал ей прямо в сердце.

Затем, разрывая карман, выхватил из него припасённые в подарок – браслет и серьги и швырнул их на её грудь, которая – ещё жила, трепетала в предсмертной агонии, красивая, розовая, налившаяся от чувственности и совсем недавних ласк.

И не помня себя, не утолив жажду мести, стал выбивать шомполом пустые гильзы из барабана нагана, чтобы снарядить его новым смертоносным свинцом. И, как знать, что бы случилось дальше – опоздай Шаповалов хотя бы на миг.

Опомнился он только тогда, когда Шаповалов стал силой его выволакивать из комнаты.

– Пошли, пошли, голубь ты мой, горе-то какое, что ты сам это сделал... Пусть бы... Господь её наказал... Покарал... за грех тяжкий...

Лапшов, неведомо куда, рвался из крепких рук своего батьки названного, а тот, как маленького, всё уговаривал и уговаривал его:

– Нельзя тебе тут находиться. Нельзя, сынок... Господом прошу, не смотри ты на неё!

И он, взяв Лапшова на руки, как не раз выносил его из боя после смертных ран – где и силы находил, и понёс на улицу. На лестнице, не выдержав душевной муки, закричал, от чего Лапшов и пришёл в себя:

– Нету тебя, Господи! Нету! Иначе – не попустил бы, не позволил бы душу голубиную, сына моего, убить. За что ты так его, Господи! Не жил ведь ещё, только и думал, что жизнь сладится...

Лапшов застонал, вырвался из рук Шаповалова, сам обнял его за плечи и стал успокаивать:

– Не надо, отец. Всё, успокойся, я... уже пришёл в себя.

А Шаповалов, даже отступив от него, стал истово крестить его, приговаривая:

– Спаси, царице, небесная... Свят, свят...

Его командир, сын его и боль его, стоял пред ним совершенно седым...

Утром Лапшов был в полку. Все удивились этому и испугались, увидев своего любимого командира совершенно седым и... страшным. Словно две ледышки, незряче, смотрели на окружающий мир его глаза, да в нервном тике билась правая часть лица. Жизни же никакой на нём не было. Человек ещё существовал, но уже не жил...

А через два дня, сам, в первом ряду, повёл полк в конной лаве в атаку. С одной Георгиевской шашкой в руке, которую ещё в шестнадцатом вручил ему за доблесть великую Алексей Алексеевич Брусилов. Портупею с ножами не стал даже брать. Бросил у коновязи.

– Ты, что же это, сынок... Что же ты так, – прохрипел Шаповалов и повис у него на плечах.

Его лицо при этом исказила такая гримаса боли, что на него было даже страшно смотреть.

– Не хороший это знак. Нельзя шашку без ножен. Это знак беды, безнадёги...

– Ладно, отец, будем живы – не помрём, – как-то нарочито-весело, – ответил Лапшов.

– Не отставай, за мной, братцы, – хриплым голосом прокричал он и впервые ударил между ушей своего коня шашкой, плашмя. Тот – от боли и

обиды как-то неестественно взвизгнул, вздыбился, и уже не выбирая пути и не видя ничего вокруг от бешенства – понёсся, в налёте, вперёд.

А ещё через минуту Лапшов был убит. Пуля ударила ему прямо в переносицу.

И над полем боя раздался дикий, звериный крик Шаповалова:

– Сынок, сынок, родной ты мой, как же это так, Господи! Меня, мою жизнь заberi, только его оставь... Пощади, Господи!

Но на это обращение к Богу сами люди никогда не ждут ответа, так как знают, что никто и никогда его не получил.

Видать, Господу не до людей в ту минуту, когда льётся праведная кровь. А может быть и не хочет он ответ давать людям за то, что он сам, по своей верховной воле, лучших к себе первыми призывает. Ему никак не обойтись без верных и самых искренних.

В этом же бою погиб и верный Шаповалов. Да он и искал смерти после того, как не стало сына его названного, его любимца, его судьбы...

Умирал очень тяжело и долго и всё силился что-то сказать своим боевым товарищам. Но кровь, стекая у него изо рта тугой струёй, мешала этому.

И он, затихнув на минуту, с натугой как-то проглотил очередной кровавый вал и еле произнёс только одно слово:

– Рядом...

И товарищи поняли, что просил у них он одного – быть похороненным рядом со своим любимцем и командиром.

На взморье, под могучим каштаном, неведь откуда взявшимся здесь, вырыли они одну широкую могилу и бережно опустили в неё Лапшова, с шашкой на руке, которая так и повисла на Георгиевском темляке, рядом со своим душеприказчиком и батькой названным, дорожке кровного и родного.

– Теперь уже не расстанутся вовек, – неведомо для кого проговорил старый урядник, по щекам которого, градом, лились крупные слёзы.

Правда, зная о наступающих временах, не стали формировать даже могильный холм, а всё вокруг замели ветками, лишь отметив на карте место захоронения, хотя и знали, что вернуться сюда, скорее всего, никому не придётся.

А для верности – ещё и провели по самой могиле, в поводу, несколько раз коня Лапшова, который жалобно ржал, пританцовывая ногами, и не хотел уходить от того места, где он явственно ощущал родной запах своего хозяина.

Так и стояли эти две достойнейшие судьбы. Может, зачтёт им Господь жизнь праведную и честную на этой земле и введёт под сень своих чертог?

Они, как и многие в то время, это заслужили. И ошибались, и заблуждались, но никогда не ожесточались сердцем – к живущим. А за прегрешения свои и платили дороже всех – своей жизнью, которую всегда ставили ниже чести.

Вот честь для них была превыше всего и они никогда не могли пойти на сделку с совестью.

Не смели унизить себя бесчестным поступком.

Таким всегда живётся тяжелее других, они ни на кого не перекладывают свою ношу и ни от кого не ждут милости. Они привыкли больше отдавать людям, нежели брать от них.

И неустанно думаю я – и о третьем герое этой истории, вернее – героине. Почему так случилось?

Ведь любила она Лапшова, любила, и в первую минуту своей неверности ему, когда грубая чувственность взяла верх и она, изнывая от тоски, уступила ухаживаниям князя, она глубоко ненавидела себя, замкнулась, отдалилась от людей.

Казалось, навсегда, потухла её улыбка, ушла из сердца её нежность и участие к людям. Она и в церковь сходила, но на исповедь, правда, так и не решилась. Не посмела.

И, когда льстивый и приторно-сладкий Туманишвили, осыпал её, в буквальном смысле, цветами, картинно вынул наган из кабуры и приставил его к виску, сказал, что если она не пощадит его, не откликнется на его чувство, он – тут же, у её ног, застрелится, она дрогнула и в смятении отступила.

Какой-то червь точил её душу и она, в какой-то миг, подумала: «Ладно, уступлю, лишь раз, а там – забудется. Да и живая я, сколько уже не вижу его? Полгода минуло...».

Проницательный Туманишвили понял её состояние и сделал всё, чтобы она, ни на один миг, не оставалась без его внимания.

И крепость пала. Но, ежели бы кто-нибудь сказал ей, что она предаёт память о Лапшове, отступает от своей любви, пятнает её изменой – она бы ни за что и никому не поверила. Она любила только его. И хотела знать только его.

Но дьявол-искуситель оказался сильнее и изворотливее её и в один миг погубил её душу и святую любовь того, кто и был для неё смыслом всей жизни.

А может быть – и немилосердное время наложило свою печать на эту любовь?

Когда рушились царства, закатывались раньше срока судьбы многих народов, до чистой ли души любимых и любящих...

Те, последние, которых мы

помним, были когда-то первыми.

И. Владиславлев

ПОСЛЕДНИЙ ЮНКЕР

Я часто, вечерами, прогуливался по набережной Ялты. Благо, времени было – девать некуда, младшая сестра, с мужем, подарила королевский отдых, которого я и в жизни не упомню.

Целых двадцать один день безмятежной жизни, в прекрасных условиях. Днём я, как правило, пропадал на море, уютно расположившись под тентом – годы, годы уже не те, чтобы, как молодые, жариться на солнце, и дописывал свою рукопись очередной книги, которую надо было сдавать в издательство. А вечером – шёл на набережную, там неспешно ужинал в приморском ресторанчике, с интересом разглядывая толпы и нарядных, и босяковатых отдыхающих.

Сам никогда бы не вышел в людное место в таких шортах, да в майке застиранной и обвисшей, да во вьетнамках – на босу ногу.

Но им было комфортно и глубоко безразлично к тому, что о них думает этот седой, в светлом костюме, мужчина.

Если что и привлекало во мне, да и то, только тех, кто постарше и только знающих, так это Золотая Звезда на левой стороне моего пиджака. Но она терялась в вечерних сумерках и, мне кажется, ни одной живой душе я был не интересен на этом празднике жизни. И очень этому радовался, да и сам не стремился к какому-либо знакомству.

Мне не было скучно, напротив, я отдыхал от напряжения дня и запивая знаменитую крымскую барабольку рубиновым красным портвейном Ливадия (сказывают, сам государь, последний, любил это вино), и всё думал о финальных сценах своего очередного романа. Как я называл его условно – любовно-белогвардейского.

Но, в последнее время, недалеко от этого ресторанчика, появился какой-то шумный раздражитель. Весь день – там что-то сверлили и пилили, и в один из вечеров – я подошёл к этому месту, досадуя на то, что моё спокойное времяпрепровождение в этом райском уголке чем-то порушилось.

На самом берегу возводилась часовня. Уже успели выгнать стены цыганковатые, как и у нас в России, молдаване, даже прикрепили чёрную, в золотых буквах плиту, на которой значилось, что сия часовня воздвигается в честь невинно убиенных – тысяч офицеров и юнкеров Добровольческой армии, а так же – священнослужителей, павших от рук красных.

Меня это заинтересовало, так как подлинную историю последних боёв в Крыму я знал хорошо и действительно, был такой печальный и трагический факт, когда тысячи мальчишек-юнкеров были пощажены новой

властью и под честное слово командующего Югфронтом – Михаила Васильевича Фрунзе, отпущены по домам.

Да не все туда добрались, не все, далеко не все сумели оставить Крым и вернуться к родным местам.

Но не Фрунзе тому виной и не советская власть. Это, уж, если доподлинно честно.

Была сила, уже в ту пору, над которой не властен был и Фрунзе.

Ударные отряды Троцкого, бывшие дети закройщиков и цирюльников, закованные в кожу, с тяжёлыми маузерами на боку, словно в отместку России, мстя ей за свои былые унижения, вершили свой несправедливый суд и расправу над боевыми офицерами, мальчишками-юнкерами, которые дали честное слово красной власти, что никогда не выступят против неё более.

Но венгерский еврей Бела Кун, не имевший даже русского гражданства, что в ту пору было не дивом: не имел его и Артузов, работающий в руководстве ВЧК; Радек – на самом вершине новой власти, множество других, прибывших в Россию искать славы и богатств – поддержанный старой большевичкой, председателем Крымревкома Розой Моисеевной Землячкой, которую старые партийцы знали под её родной фамилией Залкинд, тысячами загоняли этих мальчишек в концентрационные лагеря, а затем – без суда и следствия – расстреливали во всех поросших акацией крымских балках.

Не справлялись расстрельные команды, тогда их, мальчишек этих, многих ещё с алыми погонами, обшитыми золотым галуном, ставили в строй и выкашивали из пулемётов.

Никто не может сказать достоверно, сколько их осталось, навечно, в крымской земле, а то и просто утопленных в море, с камнями на ногах или на шее, привязанными толстой веревкой. А если её не находилось, то и колючей проволокой, которой у них всех были скручены и руки за спиной.

Это правда, как правда и то, что во времена исхода белых войск из Крыма – тысячи и тысячи красноармейцев, да и мирных жителей, приняли такую же мученическую смерть за то, что они просто были русскими людьми и не разделяли правды Деникина, не хотели быть скотами, рабами, а стремились к жизни свободной, хотя бы для своих детей.

Беседовать со строителями было делом зряшным, но я приходил и приходил к этой строящейся часовне, словно исполнял какую-то повинность, духовную обязанность и стремился понять, что же двигало русскими людьми в ту пору, отчего такой жестокостью была наполнена каждая минута, прожитая в те лета.

Как бы то ни было, но прав всегда народ. И народ не пошёл за старой властью. Ему было невмочь вновь холопствовать перед деникиными в ту пору, когда новая власть заявляла о жизни неведомой и такой красивой.

Народ отшатнулся от белых вождей. И именно народ, а не новая власть, и даже не красная армия, предрешил конец того мира.

«Какая же это власть, коль выстояла, – думал я, – победила, повела за собой народ, если офицеров у Колчака, Деникина, Юденича, Покровского, Май-Маевского было во много раз больше, нежели тех самых большевиков, о которых в семнадцатом году, по сути, никто и не слышал и не знал – в чём же их сила и суть».

И в один из вечеров, когда я стоял у этой часовни и не мог справиться со своими мыслями, ко мне подошёл статный, опирающийся на изящную трость, но старый уже совершенно человек.

Это было видно по пергаменту кожи на его лице, да по рукам, состоящим из одних бугристых сухих морщин.

– Что, интересуетесь? – обратился он ко мне первым, лишь на мгновение, задержав взгляд на моей Золотой Звезде.

– И, конечно же, осуждаете – и власти, и этих, – он указал рукой на копошащихся на стройке молдаван, – за благое деяние...

– Ну, зачем же Вы так, не зная меня, а сразу – осуждаете...

И я – уже с сердцем, несдержанно:

– Разве может быть оправдано беспричинное зверство и уничтожение своего народа? Только вот не надо правды лишь одной стороны. Кровь, реками, лилась с обеих сторон, а здесь, в этой часовне, изначально заложено осуждение лишь красных. Это не так, это неправда.

Старец, с улыбкой, смотрел на меня и в его потухших уже глазах, загорелся даже какой-то огонёк интереса и жизни.

Я продолжил:

– А Вы – знаете, что Ваш душка-Деникин, творил на Дону, на Кубани?

– Не надо, молодой человек, я знаю... Я – участник тех событий и всё, к несчастью, знаю.

Тут уже пришла пора удивляться мне.

– Да, да, Вы не удивляйтесь. Правда, не знаю, как Вам и представиться?

– В ту пору – юнкер Турчинский, комбригом уже – меня звал Александр Васильевич Горбатов и Константин Константинович Рокоссовский. В одной камере сидели. Да и освобождены были вместе, в сороковом году.

– А войну закончил командующим славной 28 армии, генерал-лейтенантом.

– А Вы, простите, – повернулся он ко мне, – в каком чине?

Моя настороженность прошла и я, уже открыто улыбаясь, тепло и сердечно ему ответил:

– Мы с Вами в равных чинах, и... команду я, как раз, 28 общевойсковой армией Белорусского военного округа, уважаемый Владислав Иванович.

Он, при этих моих словах, даже вздрогнул и спросил меня:

– А откуда, молодой человек, Вы меня знаете? Не имел чести...

– Плохим я был бы командующим, если бы не знал своих предшественников, тем более – дорогих моему сердцу фронтовиков...

– Благодарю Вас, – как-то красиво и чопорно ответил он в ответ и тут же обратился ко мне, указав рукой на Звезде Героя:

– А это – за что?

– Афганистан.

– Я так и понял, так как для фронтовика Вы слишком молоды.

– Да, – после некоторой паузы сказал он мне, – не беседовали бы мы с Вами, если бы – не Михаил Васильевич, лично.

Его лицо озарилось светлой улыбкой, и он продолжил:

– Фрунзе как раз проезжал куда-то со своим штабом, а нас, мальчишек, вели на расстрел.

Посмотрел мне пристально в глаза и чётко, как и подобает военному человеку, отчеканил:

– Скажу я Вам – прекраснейший человек. Правда, о том, что это Фрунзе, я узнал немного спустя. Он остановился у нашей колонны, вышел из машины, спросил у начальника караула – куда и зачем эту группу молодых офицеров и юнкеров ведут под конвоем?

– Тот беспечно, и как-то развязно, ответил: «Так известно куда, товарищ хороший. Бела Кун приказал, только что, всех отправить по одному адресу – «в штаб Духонина».

Воспоминания преобразили его лицо, оно стало одухотворённым, оживились его глаза, речь стала более быстрой и напористой:

– Фрунзе прямо пополотнел. Он подошёл к нашему строю, а вернее – толпе, какой там строй, и громко, чтобы слышали все, спросил:

– Оружие сложили добровольно? Слово не сражаться с советской властью – давали?

Мы – дружно, в ответ:

– Да! В соответствии с Вашим приказом.

Справляясь с волнением, словно эти события происходили сейчас, он на минуту замолчал, а затем тихо заговорил вновь:

– Кто-то даже листовку из кармана достал, их много раз из аэропланов сбрасывали красные над нашими войсками.

После этих слов он замолчал уже надолго, тяжело отдышался, видно, что ему непросто даются эти воспоминания, а затем – продолжил:

– Да и командиры наши – отцами были нам, мальчишкам. Это ведь они нам объявили своё решение – сложить оружие и под честное слово командующего фронтом красных, сдать.

Как-то горько и обречённо дополнил:

– Жалели молодёжь. Самим уже терять было нечего. Знали, что не простят. Крови было много между ними и новой властью. А нас – как могли, спасали.

И уже, как единомышленнику, поведал то, чем гордился и что обогревало его сердце:

– Фрунзе высадил из машины всех чинов своего штаба и приставил к нашему отряду. Велел проводить на специальном поезде до Джанкоя и тут же, собственноручно, написал приказ, объявив его и нам, что почтёт за врага советской власти любого, кто, добровольно сдавшихся юнкеров и офицеров будет преследовать и подвергать каким-либо притеснениям и репрессиям.

Мой собеседник молодо улыбнулся и, молодым же голосом, продолжил:

– Вот такая, если кратко, история, молодой человек. Простите, коллега.

Он хорошо улыбнулся, для чего-то постучал тростью о камень, вздохнул:

– Так я и остался жив. И смог послужить России. Уже в январе двадцать первого года был зачислен в Красную Армию, где и прослужил всю жизнь, за исключением четырёх лет, до конца сорокового года.

Горькая улыбка сделала его лицо отчуждённым и далёким:

– А там – поверили. И так, с ромбами комбрига, принял дивизию и воевал до сорок второго года. После того, как погнали мы фашиста из под Москвы, генерал-майора был удостоен. Командиром корпуса стал.

Посмотрел на море и спокойно, как о неотвратимом, неизбежном для каждого, заметил:

– Знаете, мне жить – уже мало осталось, поэтому лукавить нет смысла, да и не приучен, вроде, был к лукавству и неискренности.

Пригласил меня пройти по набережной и продолжил свои воззрения:

– Так вот я Вам и скажу, уважаемый коллега – на этой плите, что на чаще часовни, я думаю – одна лишняя строка, одна неправда – это о немыслимом числе жертв среди церковных служителей.

Мы медленно шли среди праздного люда и я, с упоением, слушал его рассказ:

– Во-первых, такого количества их, как здесь указано, не было, да и не могло быть с уходящими войсками, нет, не было, это точно. Но даже не это главное. Главное в том, что ни один из них, ни один – поверьте очевидцу, не призывал к замирению русских людей, оказавшихся на двух берегах реки жизни. Сколько и помню, всё призывали сокрушать безбожную власть, а наиболее циничные – даже сокрушались об убиении большевиками государя-императора.

Как-то сдержанно хмыкнув в свои белые аккуратные усы, дополнил:

– Но я-то помню, как уже в мартовские и, особенно апрельские дни семнадцатого года, она же, церковь, призывала нас всех «освободившись от оков тирании и сатрапии», служить верой и правдой Временному правительству.

– Да, Владислав Иванович, я это знаю, – вставил я свою реплику.

– А, затем – вместо того, чтобы встать посреди разделившегося русского люда и призвать его к миру, а не братоубийству, во всех храмах провозглашали «многая лета» Деникину, Май-Маевскому, за ними – Врангелю, которые должны сокрушать «красного дьявола».

И уже страстно, убеждённо, как давно выстраданную правду, подытожил:

– Только вражду и ненависть сеяли святые отцы. Ни один из них не взошёл на Голгофу за то, что призывал к миру народ русский и к взаимопониманию, взаимному прощению.

Я зачарованно слушал своего собеседника. Признаться, такую точку зрения на роль и практическую деятельность церкви я слышал впервые, хотя знал, полагаю, неплохо и сам историю церкви и её роль в жизни российского государства, особенно, в эти непростые годы.

Так, мало кому известно, а русской православной церкви и не хочется афишировать эту скорбную и очень постыдную страницу из своей истории, что на временно оккупированных территориях Советского Союза, немцы открыли православных храмов в три с половиной раза больше, нежели за всё предшествующее время.

Здесь действовало «митрополитбюро», как его называли обиходно, где шесть отступников-митрополитов, оказавшись на временно оккупированной территории, перешли на службу фашистам и открыто призывали народ бороться с советской властью.

А уж деяния митрополита русской православной церкви за рубежом Антония Храповицкого – вышли за все пределы понятий о вере и верности Отечеству.

Пастырь, высший иерарх церкви, называл Гитлера «карающим мечом в борьбе с богопротивной властью» и призывал его, как и папа Римский, к крестовому походу против большевиков...

Мы ещё несколько раз встречались с этим интересным человеком.

Переговорено было обо всём, не оставили мы в стороне и события сегодняшнего дня, раздирающие, по живому, единое государство и разобщающие единомерный народ на враждующие лагеря.

А затем – он перестал приходить на ставшие уже традиционными наши вечерние встречи.

Я обратился в военкомат, чтобы узнать, где он живёт и поведать старого солдата.

И дежурный майор, несмотря на то, что был в мундире украинской армии, вытянулся предо мною, отдал честь и ответил на мой вопрос:

– Товарищ генерал-лейтенант, не стало нашего старейшего ветерана. Вчера его хоронили на Аллее Героев.

Утром, купив букет багровых крымских роз, я был на этом священном месте.

Простой крест украшал могилу, было много цветов, много венков. Положил и я свой траурный букет на могильный холмик.

Больше всего меня поразила надпись на ленте одного из нарядных венков – «Верному солдату Отечества».

Какая правда и какая сила в этих, всего в трёх словах.

Он действительно истово и честно служил Великой, Единой и Неделимой России, Отечеству нашему, которое мы сегодня потеряли.

Понятие Отечества не всегда, а если уж прямо – никогда, ни при каких обстоятельствах, не совпадает с понятием государства.

Отечество всегда значительно выше, нежели государство. По смыслу выше, по содержанию. Отечеству могли служить все совестливые русские люди, если они были даже разобщены верой и знаменем, под которым им довелось жить и умирать за благословенную Отчизну.

Думаю, что Отечеству, именно нашему Великому Отечеству, Великой, Единой и Неделимой России, служил всегда и мой старший товарищ.

Земля Вам пухом, старый солдат, последний юнкер Великой России.

*Правды и чести
приумножилось бы на Земле,
если бы мы знали,
какая участь нас ждёт
в жизни вечной.*

И. Владиславлев

СТАРАЯ ПОДКОВА

Прогуливаясь вдоль моря, по любимой дорожке, в один из солнечных дней, я увидел что-то необычное в напластованиях минувших лет.

И, когда ножом поддел находку, выдрав, с силой, её из плена песка и травы, забвения прошедших лет, увидел старую, стёртую подкову.

Что же ты можешь мне рассказать, старинный кусок железа? Как ты здесь оказался и в какие минувшие лихие времена?

Как ни странно, но, неожиданно – очень многое.

Вот, правая сторона подковы стёрта больше, нежели левая, значит, была болезнь сустава у лошади, или от старых ран подволакивал ногу, на внешнюю сторону норовил наступать больше.

Подкова лёгкая, летняя. Такими – ковали лошадей лишь на задние ноги.

Нужды иной не было. Не Север ведь, а Крым. И, видать, было дело летом или ранней осенью. А извлечённый, следом за подковой, обломок солдатской шашки, подсказал, что здесь, в этом месте, разыгралась, одна из многих в то время, трагедий...

Но связать, воедино, все уголки этой старой истории, все нити, я так и не смог в тот день.

А поздно ночью, через несколько дней после этой находки, разыгралась страшная гроза. Диво для Крыма – в августе. Гром сотрясал всё окрест. Страшный ливень хлестал по окнам, а деревья в Александровском парке – стонали под напорами ветра. И я, выпив почти целый бокал коньяку, впал в какую-то прострацию, сидел в кресле недвижимо и не просто видел, грезил историей, томившей мне душу, а чувствовал себя участником тех давних событий, одним из главных действующих лиц, разворачивающейся трагедии в театре жизни тех грозных лет...

Эту подкову я забрал с собой, принёс в гостиницу, отмыл и, положив на лист бумаги, так и оставил на столе. Шли дни и я уже почти перестал её замечать, эту старую, стёртую подкову...

И вот, в эту грозную ночь, мне, которому никогда не снились сны, не приходили видения, грезилось отчётливо и ясно...

Начало ноября двадцатого года. Крым агонизировал. Его судьба была предрешена.

Красные обложили полуостров по суше надёжно, крепко и развязка неумолимо подступала, как неотвратное наваждение, к каждому.

И мы знаем, что 10–11 ноября были освобождены от белых Феодосия и Керчь.

Но ещё раньше – свершилось великое предательство белого движения – и Вождь, Верховный правитель Юга России, генерал-лейтенант русской службы Антон Иванович Деникин, за семь месяцев до окончания сопротивления в Крыму, тайком, воровски, оставил свои войска, без надежды на спасение и позорно бежал, на английском эсминце, в Константинополь.

Ситуация предательства, вернее – традиция предательства, была в крови у генерала Деникина.

Он предал Государя, а ведь присягал ему на верность, получал от него чины и иные отличия, а как только почувствовал, что новые, более могущественные хозяева, даруют ему то, о чём он и мечтать не мог всю свою службу – так сразу и отступился от Помазанника Божьего.

Разве ему, не блиставшему умом и даром военачальника, могло пригрезиться в старое время, что он станет Главнокомандующим войсками фронта, а предательство Государя – будет вознаграждено и новой, запредельной для любого, даже самого даровитого военачальника, должностью – начальника штаба Ставки Верховного Главнокомандующего.

Но нигде он так и не смог проявить своих дарований по той простой причине, что они у него отсутствовали напрочь. Он обладал крайне слабой волей, больше полагаясь на предприимчивую и очень уж практичную молодую жену. Ему уже было пятьдесят лет, когда он, впервые, вступил в брак и он души не чаял в двадцатилетней красавице-супруге.

Когда он стал командиром бригады, не зря офицеры, его подчинённые, мрачно шутили, что дела бригады сразу бы пошли вверх, ежели бы вместо Антона Ивановича – командование было вверено его жене.

И – слава Богу, что в это страшное время, когда Деникин был озабочен только собой и своей семьёй, а ещё тем, чтоб было на что жить, и хорошо жить – за рубежом, куда он уже принял твёрдое решение бежать, оставив войска и примкнувших к ним обывателей – нашёлся совестливый человек, генерал-лейтенант Врангель Пётр Николаевич, который изменить ситуацию на Юге страны уже был не властен, но спас людей, спас армию – и эвакуировал весь этот табор, плохо управляемый, подверженный панике и потерянный, из Крыма.

Поклон ему земной и сердечное спасибо за каждую спасённую русскую душу.

Но все эти ремарки, так скажем, пригрезились мне, прорываясь через главное, через историю со старинной подковой.

Самое главное, что в моих грёзах-снах в этот вечер, я сам и был главным действующим лицом этих видений. А, может быть, это зывала ко мне кровь моих дедов-прадедов, которые в это суровое и страшное время были, с шашкой в руке, на обеих сторонах среди тех, кто доискивался своей правды и воли...

– Хорунжий Тымченко! – раздался зычный голос полкового командира, молодого красавца полковника Суконцева.

– Слушаю, Ваше Высокоблагородие.

Суконцев поморщился. Не любил он этого обращения. И сам, всегда, обращался к подчинённым по имени-отчеству и любил, если так величали и его.

И даже рядовые казаки, прошедшие с ним все испытания Великой войны и этой, самой страшной и кровавой, обязательно, после привычного

«Ваше Высокоблагородие», всегда добавляли, душевное – «Аркадий Степанович».

Но, Тымченко, кубанец, с Темрюка, выслужившийся в офицерский чин в шестнадцатом году, по-иному не мог величать своего полкового командира.

Полковник Суконцев был для него царь, бог и воинский начальник, хотя и был-то старше за Тымченко – всего на четыре года.

И Суконцев смирился. Любил он этого лихого казака, бесстрашного в бою и очень стеснительного, как большой ребёнок, в повседневной жизни, среди товарищей.

На его алой черкеске, знаком высшей доблести, благородно отсвечивали четыре Георгиевских креста, и четыре же – медали под ними, а рука – горделиво опиралась, при этом, на Георгиевскую шашку с муаровым темляком.

Случай небывалый для офицера в столь скромном чине, чтобы он был удостоен самого желанного и высокого отличия – Георгиевского оружия. Но по иному оценить и вознаградить его высокий подвиг, когда он, с полусотней казаков, в ночной вылазке спас более трёхсот пленных из многострадальной армии генерала Самсонова, Суконцев считал не вправе. И сам, во время пребывания Государя в полку, обратился к нему с просьбой – по чести, за столь высокие заслуги, отметить хорунжего.

Этим отличием Тымченко дорожил более всего. Как же, сам Государь, перед строем, вручил ему эту священную награду.

Хитрые, с прищуром, зеленоватые глаза, так и не стали холодными и немилосердными в этой жизни, хотя изведали и бед, и страданий, и горя, и крови столько, что десятерым было не под силу вынести, а они, пронзительно и удивлённо взирая на мир, всегда излучали свет и добро.

Дети, они вернее всего чувствуют душу человека – поэтому в каждой станице, в каждом городе, который занимал полк полковника Суконцева, возле Тымченко всегда было полно любознательной и шумливой детворы.

Они сразу угадывали в нём душу щедрую и открытую и позволяли с ним себе то, чего не могли позволить даже с родней, со своими близкими.

И даже конь Тымченко, верный друг и брат его, с которым они прошли вместе долгие годы войн, позволял детворе всё. Он, в седло к которому, на спор, не могли сесть самые отчаянные и бывалые казаки, детвору принимал с любовью и нередко нёс на своём красивом крупу по шесть-восемь дитёнышей бережно и чутко.

Всё это пронеслось в голове полковника Суконцева, пока его любимец приводил себя в порядок и спешил, по вызову своего глубокочтимого и любимого командира.

Он знал, что для выполнения его особой задачи, лучшего исполнителя, нежели Тымченко, было просто не найти.

И когда тот, без подобострастия, но уважительно, тепло и участливо, как сын – отцу, доложил, что готов к выполнению любых распоряжений Его Высокоблагородия, Суконцев, обняв за плечо своего любимца, просто и прямо, глядя при этом ему в глаза, сказал, ничего не приукрашивая:

– Ну, что, мой дорогой, брат мой названный, только тебе и могу доверить дело исключительной важности. От твоей проворности, от твоей обязанности дойти до наших, обязательно дойти, любой ценой, во что бы то ни стало – дойти, будет зависеть успех всего нашего дела, спасение многих тысяч людей.

– Дойди, Тымченко, прошу тебя, как друга, – произнёс полковник дрогнувшим голосом и протянул ему конверт, опечатанный тяжёлой печатью.

Уже строго, напутствуя, добавил:

– Не ввязывайся ни в какие переделки. Главное для тебя – дойти. Вот – письмо генералу Врангелю. Передай ему, самолично.

– Я понял Вас, Ваше Высокоблагородие. Разрешите, тогда, прошу Вас, на Ястребе.

Ястреб был племенным жеребцом донской породы, которого берегли пуще зеницы ока, так как один, со всего конезавода, остался.

– Да, казак, – ответил Суконцев, – на Ястребе. Он вынесет тебя из всех передряг.

И Тымченко весь отдался подготовке к выполнению ответственного задания. Сняв нарядную черкеску, облачился в простую гимнастёрку и захопотал по хозяйству, основательно и степенно, как он делал всё.

Накормив коня овсом, но не до отвала, а как перед боем, для силы лишь и выносливости, выпоил его тёплой водой, с отрубями, перековал задние ноги на новые лёгкие подковы. Да вот беда, на правую ногу так и не нашёл припасённой новой, и пришлось воспользоваться уже бывалой, в которой прошлое лето его конь отходил. Была немного стёртой с одной стороны, но не сильно. Тымченко даже подумал:

– Ничего, на одну ходку нам с тобой хватит, а там – сниму снова, гуляй вольным, Не под седлом бы тебе ходить, не твоё это дело. Тебе потомство возродить надо, а то и зачахнет род. А разве возможно повторить такое чудо? – и он любовно погладил Ястреба по холёной шее.

И когда тот, быстро съев овёс, стал выпрашивать у Тымченко ещё, он, глядя в красивые лошадиные очи, как человеку, сказал:

– Вот – возвернёмся, Бог даст, благополучно, я тебе, слово даю, отмерю овса, самого лучшего, столько, сколько сможешь съесть. А сейчас – нельзя, родной мой. Хватит.

И конь, поняв своего хозяина, успокоился и стал ожидать, что тот ещё будет делать с ним перед дальней дорогой.

Поочерёдно, подставлял сам ноги хорунжему, чтобы тот вычистил стрелки, напильником прошёлся по копытам, убирая даже малейшие заусеницы.

Щёткой, а затем – суконкой, до блеска, вычистил спину; глаза, уши – чистой тряпочкой. Размял каждую жилочку на ногах. Отказавшись от тяжёлого казачьего седла, велел принести лёгкое, калмыцкое.

Когда всё справил, всё подготовил, простился с полковником, обнял своего четвероногого друга за породистую морду, да так и застыл на мгновение.

Но так как Тымченко – был я сам в этом сновидении-мираже, то я даже помнил, что я ему сказал в сторожкое ухо:

– Ну, что, мой родной. Не выдай, не заржи, зачуяв кобылицу, волком проскользни через заслоны красных. Прошу тебя, друг сердечный.

Вывел его под уздцы в темень и только там – сел в седло. И сразу же растворился, с чудо-конём, в тёмной ночи.

Ни разу не оплошал мой боевой товарищ. Ни разу – даже ноздри не раздулись его, заслышав впереди конных, ржание, в переклик, недоумков-жеребцов и кобылиц в отряде красных.

Где было надо, особенно по камням, мне казалось, он даже ступал – сначала подержав на весу ногу, и, только найдя твёрдую опору, без звука, опускал её на земную твердь.

Несколько раз в темени, чем меня поразил неслыханно, ложился сам, без команды. И, как оказывалось, вовремя.

Через мгновение – в трёх шагах от нас проезжали разъезды красных.

Так минула ночь. С ладони – попоил я Ястреба водой, которую подливал из фляги – сам не пил, лишь облизал влажную ладонь после него, дал кусочек сахару и сказал ему:

– Ну, что, мой хороший, мы – почти у цели. Ещё немножко.

Но, в последний миг, я сплоховал сам. Сам виноват. Поспешил.

Полагая, что мы уже находимся на территории своих войск, я, наконец, дал волю своему горячему коню. Торопился, хотел, как быстрее...

Гикнув и чуть сжав его бока сапогами, я во весь опор помчался на коне-птице, по едва видимой извилистой дорожке, прямо над морем.

Тут-то и подстерегла нас неведомая опасность. Нам бы затаиться ещё на час, выждать и уже ничего не помешало бы выполнить задачу Его Высокоблагородия.

Из балки, заслышав топот копыт моего Ястреба, выскочило пять, я их увидел в один миг, именно – пять красноармейцев и устремились ко мне наперерез.

Другого пути у меня не было и я мог только, опередив их на секунды, уйти, затем, вперёд.

Да и где было им сравниться с моим Ястребом. Он – молнией пластался над степью и красные понимали, что перестреть нас и догнать, затем – у них не было никакой возможности.

И они, опытные солдаты, видать, все уже навоевались достаточно и приобрели боевой опыт, не стали и пытаться пускаться за нами вдогон.

Сорвав с плеч карабины, они повели сосредоточенный и беглый огонь – именно по моему Ястребу.

Первую пулю, которая настигла его, я почувствовал сразу. Он, как-то неестественно скакнул влево, но, тут же – выправился и ещё быстрее понёсся к спасительным курганам.

Другая – ударила его в правую ногу, и он, даже задрожав от боли, всё равно хода не сбавил.

Хорошо стреляли красные, ничего не скажешь. Научились за долгие годы войны.

И, когда две пули сразу, ударили Ястребу в голову, он тяжело, со стоном, остановился и закачался на ногах. При этом – повернув голову ко мне, насколько это было возможно, виновато посмотрел мне в глаза через кровавое марево, которое заливало ему всю красивую морду:

«Прости, хозяин. Я не виноват. Но я... больше не могу. Не живой я уже...».

И с последних сил, дав мне возможность выдернуть ноги из стремян, как и стерпел, родимый, рухнул в полынь, да и затих сразу же, не бился даже и в конвульсиях.

Никогда я не плакал, даже тогда, когда хоронил братьев своих, друзей, годков, которых так мало осталось после той войны, а уж после этой – во всём полку – двух-трёх, больше не найдёшь, а тут – рыдания подступили к горлу, да такие, что напрочь лишили меня всех сил.

Это и предопределило всё в дальнейшем. Мог бы я, мог бы, используя замешательство красных и то, что на какой-то миг стал им не виден – скрыться в прибрежных зарослях.

Но я упал на шею Ястреба и упустил эту минуточку. А когда опомнился – красные уже подъезжали и охватывали меня в полукольцо.

Один из них мне понравился, старый, видать, солдат, прошёл не меньше меня. Он и был у них за старшего.

Я даже слышал, как он закричал, отдавая своему войску команду:

– Прижимай его к скале, братцы, там он никуда от нас не денется. Важный беляк, не для прогулки под ним такой конь был. Делегат связи... Прижимай, не дай уйти!

Мне ничего не оставалось, как принять бой с разездом красных.

Трёх, в том числе – и этого командира, я срезал сразу, первыми же выстрелами, со своего, ещё с той войны, карабина.

Под двумя – убил коней. Так и закончилась моя единственная обойма, которую я и брал с собой всего, чтобы коню было легче, потому что в такой дороге – и грамм лишний.

И оставшись с одной шашкой, памятной и дорогой, мне её – Его Высокоблагородие, под Перемышлем, подарили – пошёл навстречу двум оставшимся в живых красным...

А мысль, даже в этих условиях, довершила: «Спас я его в том бою, первым перестрел вражий клинок, на себя его принял, так как отбить уже никак не успевал».

Смог и ещё дотянуть, в воспоминаниях:

«И захлёбываясь кровью – австрияк был здоровенный, своим палахом рассадил мне всё правое плечо, как и не отрубил вообще – упал я под ноги своего коня. Так Его Высокоблагородие – сам меня из боя вывез, на своём коне, а как только я пришёл в себя – навестил в лазарете и, на зависть всем – снял с себя, богатую, в серебре, шашку и меня одарил», сказав при этом, так душевно:

– Заместо брата ты мне теперь, казак, как брата и прошу принять дар этот на добрую память. Пусть тебя всегда хранит клинок этот, дедов ещё, он его из похода – против турок, на Дон привёз. С ним и отец мой Родину защищал.

Отбросив волевым усилием эти воспоминания, я приготовился к последнему бою. Был спокоен и сосредоточен. Как всегда, в минуты высшей опасности.

Знал, конечно, если уж честно, что лучше меня – в полку шашкой не владел никто. И я знал, что красным надо было призывать своего бога, чтобы он, значит, им за упокой пропел.

Тем более, я видел – пацаны, куга зелёная, навстречу мне шли. Они и шашки свои держали в поднятых кверху руках – сразу было видно, что вояки они никакие.

Я стал даже ухмыляться и это, я думаю, всё дело испортило.

Золотушный какой-то, не русский, узкоглазый, стал что-то кричать на непонятном мне языке, обращаясь к другому, а затем – отбросил шашку свою в бурьян и сдёрнул с плеч карабин. Остался, знать, у него патрон в карабине. Он-то и был роковым для меня.

Китаец, я вдруг вспомнил, кто был этот красноармеец, их много было у красных, дождавшись, пока я подойду к ним вплотную, не целясь, почти упираясь мне в грудь стволом карабина, выстрелил.

И посинев от страха – видать, не привык ещё к убийствам, стал неумело махать карабином у меня перед лицом, норовя отбить шашку.

Коротким выпадом, самым кончиком клинка, я снёс ему голову, второго, отбивая его клинок и перебив его, посредине, меня этому удару научили даурские казаки, я просто заколол своей старинной шашкой, подарком Его Высокоблагородия.

Увидел отчётливо, как изумился красноармеец, оставшись с обрубок шашки в руках, которым даже не закрывался и, ещё не понимая, что он уже не жилец на этом свете, – закричал жалостливо и звонко.

Я даже посмотрел, как он нырнул носом в перезревшую полынь и затих, уже навечно.

Я понимал, мой мозг работал чётко и ясно, что всё это я совершил – будучи уже мёртвым, пуля китайца, ударив мне прямо в сердце, никакого шанса на спасение не оставляла.

Поэтому я, последней волей своей, сжёг письмо полковника, а сам – сделал ещё несколько шагов к морю, да и скатился с горной тропы, почти в волны.

Слава Богу, это я уже видел с того Высокого и Вечного мира, куда возносилась моя душа – казаки нашего разъезда, оказавшись на месте боя, сообразили, что я направлялся к ним от полковника Суконцева и увидев обгорелый конверт и несколько ещё разборчивых слов в донесении, всё поняли, так как старший разъезда стал торопить своих товарищей к началству.

Поэтому меры были приняты и все наши люди были спасены.

А я, с той поры, так и остался на этом крутом крымском берегу. Похоронили меня с честью мои новые товарищи с того разъезда, что минуту лишь не успел прийти ко мне на помощь.

Могилку с землёй сравняли, засыпали под цвет местности полынью и даже лошадьми по ней несколько раз проехали, чтоб, значит, не обнаружили красные и не надругались над моим последним приютом.

А как вышли наши, полковника Суконцева люди к своим, он приехал, в последний миг, на могилку, поскорбел, поминальную чару выпил и даже сказал:

– Спасибо, казак, Спасибо Тымченко, выполнил ты свой долг. Вечная тебе память, а от меня – благодарность великая.

И преклонив колено, в носовой платок набрал горсть земли с моей могилы, да и положил себе в карман мундира...

Много лет прошумело с тех пор. Видел я много с Вечного мира, да вот рассказать никому не могу ничего, из живущих, кроме своих товарищей, которых – не счесть, встретил по ту сторону земной жизни.

О многом мы перебеседовали с ними за эти долгие годы. Торопиться уже было некуда.

И сошлись, с большинством в том, что жизнь свою, ни за какую цену, менять не стали бы. Всё в ней было правильно, а самое главное, что не я один, а почти все – думали, что за правое и праведное дело головы свои сложили. За други своя. А светлее этого – ничего быть не может.

А недавно – увидел, как какой-то седой человек, по всему видать – военный, держался так, что сразу видно, штатские так себя держать не умеют, да и неведомая мне Звезда на его пиджаке, слева, пламенела, отличие какое-то высокое, нашёл подкову моего верного Ястреба, косточки-то давно уже его истлели и кусок клинка, который я своей шашкой перебил в тот роковой день у моего стародавнего врага.

К слову, и к врагам у меня ненависти не осталось. Они шли своей дорогой, я – своей, не поразуметься нам было в ту пору, а сегодня, особенно после страшной войны, которую все пережили, и в нашей компании, в Вечной жизни, добавилось столько народу, душ святых и безвинных, что мне даже жаль, что кто-то сумел нас так развести по обе стороны реки-судьбы в ту пору.

И мы, не найдя слова доброго и. что самое горькое, даже правды своей друг другу не высказали, а сразу – взялись за шашки, да и давай друг друга изводить.

Не правильно это, нет, не правильно. И слава Богу, что в этой войне, как пошёл на нас фашист, нашли все общий язык, объединились в единую силу, народ единый и сумели отстоять Отечество наше, дорогую моему сердцу Россию.

Многих я видел, затем, своих земляков, в славных гвардейских казачьих корпусах.

В единой лаве шли на врага – и те, кто по белую сторону был, и те, кто красной веры придерживался. И, слава Богу, нельзя, никак нам нельзя, хранить былые обиды и друг на дружку руку поднимать.

Заклюют тогда вороги нас всех, землю нашу разорят дотла.

А я – что ж, не жалею, что на двадцать пятую весну жизнь не завернула. Только и справил двадцать четыре года, да и расстался с жизнью.

Самое главное – не зря. И даже ценой своей жизни спас группировку полковника Суконцева.

Любил я его и – как отца родного – встретил, прямо на пороге Вечной жизни. Случилось это в тысячу девятьсот сорок четвёртом году.

Погиб, как герой, в Югославии, защищая эту братскую землю от фашистской нечисти. Погиб славно. Так, что братья наши, до ваших дней память о нём хранят, его именем назвали городок, школу, памятник ему воздвигли – на века, и песню задушевную сложили о русском соколе, который бился за их свободу и независимость. Правда, сейчас стали реже её петь и вспоминать, как порушили это славное государство, разорили войной.

Я думал, что закончились уже войны-то, как нашествие фашистов разбили, ан, нет, льётся и дальше людская кровь, словно водица.

И оценивая происходящее, часто мы, с их Высокоблагородием, беседуем.

Обо всём. И то, с четырнадцатого года мы с ним, за батьку родного был мне, хотя и ровесник, почти. Опять же – и чин офицерский он мне выхлопотал, и шашку свою – подарил, все четыре креста – самолично вручал ещё на той войне, где мы не делились на правых и виноватых, а были – все заедино, за Россию Святую, бились.

Нет, жизнь моя состоялась. Иной и сто лет проживёт, а сделать ничего не сможет, особенно – за товарищев не постоит. А что же это за

жизнь, тогда? Так, пыль одна и маета душевная. Так что прожил я не зря свои лета. Маловато, правда, но – кому что, Господь, отмеривает.

А то, что Господь рано к себе призвал, так ведь и Ему верные нужны, надёжные. Без них и здесь жизнь не сладится.

Много тех, кто жил несправедливо, а хотят, не по заслугам, миновать спрос с себя, не представлять пред Судом Высоким и Последним, чтоб, значит, ответ держать – за всю несправедливость, ими сотворённую. Вот мы им, с товарищами, и не позволяем колобродить и учинять неправду великую в Вечной Жизни, к которой они привыкли в земной юдоли.

Хватит, натворили на земле такого, что целым поколениям никак не разобратся.

Пусть хоть здесь, пред Господом, ответят за все свои грехи сполна.

Вот и служу я теперь Ему, в вечности. Как учили, как наставлял и вразумлял меня полковник Суконцев, Его Высокоблагородие.

Да и сейчас – не оставляет нас своим попечительством и вниманием.

За детей родных нас принимает. Почитай, весь уже полк его здесь собрался. Никто не уцелел, правда, многие дотянули свою борозду по ниве жизни до конца и присоединились к нам уже в новое время.

Много странного нам рассказали, удивляемся и понять не можем – за что же кровь лилась тогда, коль сегодня всё заворотили назад, обратно. И снова разделили Россию на бедных и богатых, на грешников и праведников.

Только, почему-то, в чести, в последнее время, те, кто разорил страну великую и присвоил себе всё, что народом в труде тяжком отстроено и добыто. Все жилы народ порвал, чтобы после войны с фашистом восстановить из пепла порушенное, а завладели всем этим какие-то проходимцы.

Но мы им тут воли не даём. Пусть хоть в этой жизни ответят за свои злодеяния.

И полковник Суконцев – завсегда впереди нас, на суде праведном. Не даёт им воли.

Дошёл, наверное, какой-то слух и до вашего мира, очень уж страшатся к нему попасть те, кто грешил много в вашей жизни.

Таким немилосердным не был, Его Высокоблагородие, даже к врагам на поле боя. Всегда честь хранил и от нас совести требовал.

Враг – он лишь в бою, там одно правило – если не ты его клинком достанешь, то он – тебя. А после боя, нет, не допускал полковник лютости, свято честь воинскую блюл, а тут – прямо в лицо меняется, сатанеет и всегда говорит сегодняшним христопродавцам:

«Моя бы воля – я всех бы вас, за поругание родной земли, со света извёл, нет у вас права на жизнь, на страданиях и на крови народной преуспели, богатства несправедливые нажили. Такой разор по всей России учинили...».

Поэтому и стало больше душ светлых и прозревших, хоть в этом, Вечном мире.

Спасибо ему за науку.

И за честь высокую спасибо...

*Спасибо нашей памяти,
что ведёт нас по дороге совести
и правды, чести.
А без этого и жить ни к чему.*

И. Владиславлев

ПОЛЫНЬ

Крымская полынь всегда полыхала, к осени, багряными красками. Сверху, у кисточек, она была ещё белёсой, а чем ниже, где находились листья более крупные и размашистые – она, в начале ноября, становилась почти алой.

Грустно было в такой степи. Наплывало такое ощущение, что ты в чью-то судьбу вторгся непрошено и бредёшь по ней, не сообразуясь даже с тем, а нравится ли это кому-нибудь или нет – из тех, чьи искры души рассыпаны в безбрежной Крымской степи.

И вспомнились мне в этом горьковатом мареве, от которого даже кружилась голова, две истории, свидетелем и рассказчиком которых был мой дед, Георгиевский кавалер, старший урядник той ещё, давно забытой войны.

Две войны сломал, как он говорил, а вот на третьей, уже ведь в годах был, душу сорвал.

И к смерти привык, и к крови. Проливал её только по нужде, расчётливо, чтобы больше, значит, вражьей выходило. Но и своей – немало источили эти годы. Да и как тут уберёжешься, такие войны были, миллионы лучших, задолго до срока, Господом определённого, ушли в Жизнь Вечную.

И взирают они на нас с той жизни и, я думаю, не всё им нравится, как мы с их памятью, их завещаниями обошлись. Как же – за что тогда они погибали, если мы и державу не сберегли, разорили её, а она такой кровью им досталась, такими жертвами.

Думаю, что есть у них право судить нас за это. И с каждого спросить: по совести ли он жил и поступал, когда чёрное вороньё, из тех, недобитых и лживых, которые всегда норовили самый жирный кусок себе оторвать, без учёта – а достанется ли что-либо и другим. Так и порвали на

куски, лакомые, такую страну, державу великую, всё себе на потребу пустили,

И не спросит с них никто в жизни этой, а Божьего суда они не страшатся, уверены, что его – нет над ними и не будет.

Манштейн танковыми клиньями рвал Крымский фронт. Спасения не было нигде.

Авиация доставала и одиноко бредущих бойцов, и выкашивала густые колонны пехоты и кавалерии, которые отступали к Керчи...

И дед всегда говорил:

– Много, внук, судеб клинок мой прервал. А не страдал, нет. Не страдал. Понимал, что если не я врага – он меня.

И с глубокой грустью дополнял:

– Да и молодой был. Что – тут, будешь оплакивать вражью жизнь? Нет, доблесть только душу распирала. Да и кресты, конечно, свидетельствовали о том, что казак я был справный и командование мне доверяло.

Уже к началу семнадцатого года был взводным командиром, шутка ли?

Как-то обречённо, при этом, махнул рукой, надолго замолчал, а затем – обронил, как камень в воду бросил:

– Но то – всё пустое. Прошло и следа не оставило. Только память...

– А вот, – и дед улыбнулся в свои седые усы, – довелось и мне на старости лет молодость вспомнить и в конной лаве – сойтись с врагом.

Глаза его загорелись, словно молодость вернулась, и он повёл рассказ дальше:

– Конница немцев, на холёных, но жирных, перекормленных конях, вынырнула из балки.

Деваться нам было некуда. Два маха лошади разделяли нас и врагов.

И я – только вырвав шашку из ножен и не криком даже, а движением руки, увлёл бойцов в атаку.

Наш удар, по вытянутой в стрелку колонне разомлевших немцев, был страшным.

Мало кто ушёл. Пластались наши дончаки по полыни и шашка сама находила новую цель.

Уже пятерых я достал своей шашкой, а шестой – порезвее конь-то у него был, мой уже устал изрядно – от жары, боя и бескормицы, стал уходить от меня на полном скаку.

– Эх, недотёпа, – засмеялся дед, оборотясь ко мне, видать грели душу эти воспоминания, – разве вытянет долго твой закормленный конь такой аллюр, да ещё – вверх, в гору.

– И я, – продолжил дед, – погладил своего верного боевого друга между ушей, который готов был, из последних сил, сорваться в погоню за врагом и сказал ему, словно человеку:

– Не торопись, дурашка – куда ему от нас деться? Мы курган с тобой обойдём и он – прямо на нас и свалится.

Так и вышло. И когда моя шашка, в неотвратимости страшного движения, обрушилась на голову затяжелевшего офицера, тот, по-русски, жалко и жалобно, на весь мир закричал:

«Урядник! Как же ты так... Как же больно, Господи, как же мне больно... Если бы ты только знал... Вот уж – не думал никогда, даже в дурном сне, от кого смерть приму...».

И только тут я узнал своего бывшего эскадронного командира есаула Еланцева.

Правда, сейчас он был в немецком мундире и тяжёлые витые погоны на его плечах указывали на полковничий чин.

– Выслужился, ты ведь у фашистов выслужился, Ваше Высокоблагородие...

Я остановил коня, который всхрапывал, никак не могла божья тварь привыкнуть к запаху крови и смерти, это мы, люди, быстро привыкаем и к крови, и к смерти, и долго смотрел на поверженного врага. Краска жизни сходила с его лица, оно, на моих глазах, делалось восковым и безжизненным.

В правой руке, навечно, застыла знакомая мне Георгиевская шашка, с темляком оранжево-чёрным и золотым крестиком на белой эмали нарядной рукояти.

Вспомнилось, как мы гордились в ту пору доблестью своего командира, который, в столь юные лета, был награждён таким высоким отличием. Вместе с ним – выпала и мне честь получить свой первый Георгиевский крест.

Услужливая память увела деда к тем годам молодости и отваги, бесшабашности...

Нашему эскадрону – сам Пётр Николаевич Врангель, командир корпуса, поставил задачу – выйти в тыл противника и «...пошуметь там, изрядно», привлечь на себя внимание главных сил, а когда они устремятся к нам, полагая, что здесь у русских и наметилось направление главного удара, корпус нанесёт молниеносный выпад по флангу австрийской дивизии и займёт уездный город.

Так всё и произошло, за тем исключением, что австрияки опомнились быстро и полностью окружили наш эскадрон, решив его добить, во что бы то ни стало. Один за другим падали в придорожную траву мои побратимы, спешно закатывалась жизнь моих боевых товарищей.

Эскадрон, спешившись, отстреливался, вначале – густыми пачками, а за убылью патронов – редкими, но смертельными для врага выстрелами. Совсем скоро дошло дело и до шашек. Оставив бесполезные уже карабины, в них не оставалось ни одного патрона, мы – человек тридцать, во главе с есаулом Еланцевым, бросились на врага. И он не выдержал, страшен был наш вид – все в крови, не было ни одного, кто бы остался без ран, наспех перевязанных нашими же нижними рубашками.

И мы прорвали коридор, а тут и наши поспели. Корпус нанёс по австрийской дивизии удар такой силы, что нас никто не преследовал и мы благополучно вышли к своим. Вышли, правда, громко сказано, так как на ногах мог стоять я, да Его Высокоблагородие. Ещё человек десять – лежали в беспамятстве, оглашая лес своими страшными стонами и криками.

Подоспевший к нам на выручку отряд застыл в изумлении – мы, с Его Высокоблагородием, стояли, опираясь спинами – друг о друга, замкнув левые руки в нерасторжимый замок, с шашками – в правых руках, все в крови и изготовились защищать своих увечных товарищей до последней капли крови.

Так мы, вместе, попали и в лазарет. Неслыханное дело – Его Высокоблагородие настоял, чтобы нас и в одну палату положили. Начальник лазарета попытался перечить, так Его Высокоблагородие так на него зыкнул, что тот уgomонился и велел принести кровать и для урядника.

В этой же палате генерал Врангель и вручил нам высокие отличия: Его Высокоблагородию – Георгиевскую шашку, а мне – крест.

А сейчас, я, не сходя со своего коня, смотрел на германского полковника, в котором всё ещё угадывался тот молодой есаул и думал:

«Вот и свиделись, Ваше Высокоблагородие. Не думал Вас здесь встретить. Во вражьем стане. А ведь был – душа-человек, любили и почитали все мы своего командира. И гордились Вами...»

Полынь, замешанная на крови, тяжело дурманила голову.

Не знаю почему, но я спешился – тяжело, от пережитого, спрыгнул с коня, сам вырыл сапёрной лопаткой могилу, неглубокую и, к удивлению своих однополчан, стянул в неё тело бывшего своего командира, закрыл лицо ему своим носовым платком, а затем – полынью, да и засыпал землёй.

И только комиссар полка, старый казак, мы с ним годками были, понял меня и велел всем любопытным не мешать мне.

Довершая свой печальный обряд, без жалости, но и без ненависти, думал:

«Где же ты так заблудился, сердечный, что с врагом на Родину нашу пошёл? Где так душой измаялся, что и веру утратил и совесть?»

Ишь, служил, видать, долго, исправно, супостатам, до полковника дослужился...»

Шашкой сгрёб землю, с известняком, в яму. Знака никакого не стал ставить, напротив, сравнял могилу с землёй, чтоб неприметной была и никого не привлекала к себе.

«Прощевай, господин есаул. Есаулом я тебя и запомню, а вот фашистским полковником – не неволь, не хочу. Не встретимся более, даже и в будущей Вечной жизни. Так как – ежели есть Господь и он – судия всем самый высший и справедливый, то, полагаю, не сустретяся нам уже никак, не должен Господь попускать тем, кто предал землю отчую и с врагом пришёл на родные пепелища. Поэтому – в аду гореть тебе, непременно, Ваше Высокоблагородие».

Был соблазн – шашку забрать, но памятовал заповедь старых солдат, ещё с той войны, когда мы вместе, с Его Высокоблагородием, в одном строю были и к единой цели своими шашками прорубались – ничего не брать с покойника, дурной знак.

Поэтому я и шашку положил, в канавку, возле могилы, да и загрёб над ней землю своими сбитыми и выбеленными солью сапогами.

Затем, нарвал кураю, полыни яркой, застелил свежую землю. Так она и скрылась из виду. Даже если и захочешь, так не найдёшь.

Взяв коня за повод, я медленно пошёл прочь. Одна мысль, как и помню, всё время вилась у меня в голове:

«И для чего жил человек? Имеет ли семью, детишков, продлил ли род свой? А может, так и стоял сухой ветвью и некому по нему и слезу пролить. Вспомнить некому... Зачем, тогда, и на этот благословенный свет явился?».

А через несколько дней я уже и думать перестал о своём бывшем командире, жизнь которого и оборвал мой быстрый клинок. Тут такие дела завернулись, что и себя забудешь.

Измолотил нас Манштейн. Весь полк полёг. Начальники наши, мать их в душу – редко заворачивал мой дед крепкое словцо, а тут не удержался, выругался – всё норовили бросать нас, в конном строю, против механизированных колонн вышколенного противника.

Да что там полк, весь Крымский фронт перестал существовать. Разрозненными группами войска отходили к Керчи, другим портам, откуда можно было рассчитывать переправиться на материк – кораблями Черноморского флота или рыбацкими сейнерами. Малая, но всё же – надежда.

И мы её держались. Но и свои жизни, не буду гневить Бога, мы – не за так отдавали фашистам, многие из них не вернулись к своим семьям, к своей германской земле. Ожесточились мы до крайности и уже никаких пленных не брали, если выпадала удача в бою. Клинок, слава Богу, рука держала ещё твёрдо.

И вот эта самая полынь, которой я и могилу моего бывшего командира засыпал, мне и самому жизнь спасла.

Через несколько дней страшных и кровопролитных боёв, остались мы с комиссаром вдвоём со всего нашего славного полка, Краснознамённого, имени красного героя гражданской войны Олеко Дундича. Чудное имя какое-то, я даже не знаю, из какого он народа, нации какой.

Комиссар раненый был. Мужик крепкий, степенный, держался мужественно, но понимал, что силы его на исходе. Поэтому он мне и приказал – Знамя полка, которое было при нём, принять, намотать на тело, под гимнастёрку и во что бы то ни стало, ежели – с ним что, дойти до своих и спасти святыню, как символ доблести красных конников и героизма.

Я заверил комиссара, что только смерть, а от неё ни у кого не было гарантии укрыться, помешает мне выполнить его приказ.

– Нет, сержант, не имеешь права ты погибнуть. Во имя всего полка, прошу тебя, дойди и Расскажи всем, как мы гибли, но честь сберегли. И святыню нашу – Боевое Знамя не посрамили. Поэтому, мой тебе приказ – выжить, дойти до своих, хоть змеёю ползи, но дойди до своих.

А тут, на утро, когда комиссар стал уже бредить, фашистские мотоциклисты, с пулемётами, всю степь стригли очередями, выискивая случайно уцелевших наших бойцов, нигде, если бы и хотел – не укроешься.

И комиссар, мгновенно придя в себя, из последних сил оттолкнул меня под обрыв, встал на ноги, качаясь, рванул гимнастёрку на груди и с одним «ТТ» пошёл навстречу врагам.

И тут я понял, что это он от меня опасность отводит, даёт мне возможность уйти и выполнить его приказ.

Я метнулся в заросли, да и затаился там. Услышал торопливые выстрелы из «ТТ», а затем – длинные пулемётные очереди. Я всё это видел, как очередь из пулемёта - пересекла его, почти поперёк. Но он не упал сразу, а как-то медленно встал на колено, опёрся рукой о землю и только после этого быстро кувырнулся на бок, да и зажёб, по полыни, своими разбитыми хромовыми сапогами.

Я рванулся к комиссару, но, в последний миг опомнился – Боевое Знамя полка было на мне и я не имел права на опрометчивый поступок, хотя в немецком «шмайсере», который я забрал у зарубленного мною фашиста несколько дней назад, был ещё почти полный рожок патронов.

Понимал, что слава и доброе имя полка – дороже двух-трёх поганых жизней фашистов.

Так я и пролежал, до поздней ночи, в полыни. Даже голова страшно разболелась от густого настоящего запаха, а уж гнус покоя не давал и потную шею, руки, лицо всё – искусал до крови.

Я уже даже не отбивался от него, бесполезно всё было. Просто терпел.

И только ночью, наспех похоронив комиссара, забрав у него все документы из кармана, фашисты почему-то его так и оставили, убитого, в

попыни и пошёл туда, где мерцали далёкие зарницы не затихающего сражения.

Почти под утро я всё таки вышел к своим. Прямо у переправы на Тамань.

Увидел генерала, не знал его, но, видно было, что он самый старший был у переправы, так как много командиров к нему с докладами спешили и получив указания – тут же устало, скорее – для формы, козыряли и спешили к своим частям.

Человек, было сразу видно, волевой, умный. На переправе был установлен железный порядок и офицеры комендатуры не церемонились с паникёрами и трусами, иными шкурниками.

То тут, то там – потрескивали пистолетные выстрелы и люди, сторожась, подтягивались, сбивались в строи подразделений и норовили, по установленному порядку, как можно быстрее, погрузиться в катера, всевозможные шаланды и сейнеры.

Я, набравшись духу, подошёл к генералу, еле пропустила охрана, остерегались диверсантов, поэтому и «шмайсер» мой забрали, и трофейный пистолет.

Шашки только я не дал:

– Не трожь, сопляк, нос вначале вытри – сказал я молодому рослому бойцу из комендатуры, – я с ней с четырнадцатого года...

Он недоумённо уставился на меня, а я – только рванул шашку на себя и ещё твёрже ему сказал:

– Не трожь!

И тот как-то стушевался и всё же пропустил меня к генералу.

– Товарищ генерал!

Старший урядник Шаповалов...

Генерал даже засмеялся:

– Узнаю старого солдата. Старший сержант, ты хотел сказать, солдат?

– Простите, товарищ генерал, запямятовал после встречи, недавней, с сослуживцем бывшим, – и я чуть выдернул из ножен шашку.

Генерал, опытный вояка, увидел сразу на ней уже заржавленную кровь и посуровел:

– Слушаю тебя, солдат.

– Так что, товарищ генерал, Боевое Знамя при мне, нашего Краснознамённого, имени Олеко Дундича, полка. Вынес на себе...

И я, расстегнув гимнастёрку, быстро снял с себя ремень и, размотав Знамя со своего тела, на вытянутых руках протянул его генералу.

– Спасибо, солдат, – он благоговейно встал на левое колено, поцеловал алое полотнище, но брать его не стал.

– Вот и давай – на первый же корабль и на тот берег. Есть Знамя, значит и полк жив. Слава его жива.

И торжественно так, что я даже вытянулся в струнку:

– А тебе, старший сержант, властью мне данной – орден Боевого Красного Знамени.

Повернулся к своему адъютанту, чёрному от недосыпа, и распорядился:

– Запиши майор, сам проверю. За это святое дело – даже Знамени мало, да видишь, солдат, что творится. А на Героя, а ты его заслужил, нет моей власти. А пошлю, как установлено, не верю, что дадут. Фронт рушится, скажут, что не может при этом быть героев. Так что – с орденом тебя, старший сержант. Живой останешься – станешь и героем, Лихой ты казак. И я верю в это.

Снова обратился к майору и попросил налить мне стакан водки. Подождал, пока я её выпью и закушу куском хлеба, с каким-то мясом, а затем – задумчиво так сказал:

– Жаль, нет времени поговорить, старший урядник – уже с доброй улыбкой на своём смертельно уставшем лице, проговорил генерал.

– Сам ту войну завершил штабс-капитаном, так что понимаю тебя, старший урядник, очень хорошо. Будь жив, солдат. Удачи тебе. А за Знамя полка – поклон тебе земной, – и он не рисуясь, а искренне, к недоумению всех командиров, стоявших рядом, поклонился мне до земли.

– Редкое событие тех дней – завершил дед свой рассказ, – чтобы через неделю мне вручили новенький орден Боевого Красного Знамени, вот этот, ещё на закрутке, без колодочки. Как и нашли в запасном полку, где формировался наш новый полк... Но под спасённым мною Знаменем.

Вот такие две истории мне наполнил багрец полыни, которая в Крыму всегда разгорается к ноябрю и долго затем полыхает, до самых новогодних дождей, а то и снегов.

А у меня дома, всегда, стоит веточка полыни и её горьковатый запах напоминает мне пережитое и услышанное от деда моего, Георгиевского кавалера той далёкой уже и орденоносца минувшей Великой Отечественной войны.

Вечная память тебе, дед. Ты оказал на формирование моей души огромное влияние. И я тебя всегда помню.

Поклон тебе земной, старый солдат.

А шашка твоя, та, с которой ты и завершил минувшую войну, так и висит у меня на стене, как символ чести и славы.

Наступит час – сыну передам, как ты мне в тот святой майский день, когда собирался в самую дальнюю из дорог, из которой уже не возвращаются к родному порогу.

На всю жизнь запомнил я этот день – в майском цветущем саду на твоём подворье, в присутствии всех твоих друзей, почтенных старцев и солдат Отечества, ты и вручил мне свой боевой клинок.

Спасибо, дед, я это буду помнить всегда.

А пока мы помним ушедших, до тех пор и будет длиться наш род на земле, во славу благословенного Отечества.

Если сохраним память и славу своего Отечества, да не забудем о чести его защитников.

Только вот боюсь я, что всем эта память дорога. Столько завелось у нас двурушников поганных, не помнящих родства, откровенных отступников и предателей земли отчей, что в час испытаний не собрать такой единый строй, в котором деды и отцы наши шли на врага, к победе шли, всё преодолевая.

Вот это и страшнее всего.

*Милосердными
могут быть
только те, кто сам
много страдал,
любил и верил.*

И. Владиславлев

МИЛОСЕРДНАЯ СЕСТРИЧКА

Я давно уже приметил эту старушку. Она, как и я, ежедневно приходила на этот утёс и долго стояла у края обрыва, вглядываясь в безбрежную синеву моря.

Одета всегда была очень аккуратно, но необычная для женщины деталь – полосатая флотская тельняшка выглядывала из-под её нарядного пиджака, одетого поверх алой блузки.

И я чувствовал себя даже виноватым, что причиняю ей беспокойство и появляюсь на святом для неё месте, это было видно сразу по тому, как она прикивала к камням щекой и что-то шептала, при этом, лишь для себя одной.

И на третий день я не выдержал, подошёл к ней и спросил:

– Простите меня, я, наверное, Вам мешаю? Тогда я уйду... Уж больно и мне это место понравилось – такой простор, дышится легко... и щемящая грусть от чего-то – я и сам не знаю...

Заинтересованно выслушав меня, эта, неведомая мне женщина, сказала:

– Нет, нет, – голос у неё, на удивление, оказался молодой и звонкий, – мне никто помешать уже не сможет... ждать его.

Опытным, не старушечьим, а живым взглядом, скользнула по мне, на миг задержалась уже выпцветающими, но такими выразительными голубыми глазами на моей Звезде Героя, спросила:

– За Афганистан?

– Да, за Афганистан...

И больше мы в этот день с ней не говорили. Но я чувствовал, что даже как-то заинтересовал её. И мне было очень интересно узнать, кто она, эта необычная женщина и что за тайну она несёт по жизни.

В своих мыслях я не ошибся и уже на следующий день она сама заговорила со мной.

– А я здесь – с сорок пятого. Как пришла с войны, так всё и жду его.

Было видно, что и она к этой встрече готовилась тщательнее, чем обычно – на её пиджаке была внушительная орденская колодка, по которой я увидел, что у неё – орден Боевого Красного Знамени, две Славы, Красная звезда и Отечественной войны, множество медалей.

Я, как-то неожиданно для себя самого, приложил руку к сердцу и поклонился ей:

– Спасибо Вам, ни у одной женщины не видел таких наград, даже у Героев.

Видно, ей была приятна моя реакция, мой изучающий взгляд, остановившийся на орденских колодках, и она, даже помолодев на глазах, отметила:

– Не думали мы, сынок, о наградах тогда, мы Родину защищали. А награды – уже после сорок второго года пришли.

И встряхнув головой, словно решившись на что-то, дополнила:

– А я считаю, что это неправильно. Я бы всем, кто дожил – с начала войны до Победы, такую же героическую звезду вручала.

– Вы совершенно правы, – отозвался я, – это было бы справедливо. Да и по заслугам.

– А в каких же чинах состоишь, сынок? Или уже не служишь?

– Генерал-лейтенант, мать. Служу ещё.

Она как-то даже стушеввалась:

– Ну, сынок, прости, если что не так. Мы – простые люди...

Я требовательно взял её руки в свои и по сыновьи поцеловал:

– Зачем Вы так? Не надо. Я ведь тоже – не из князьёв. Все корни моих дедов-прадедов – на Дону остались.

И не выпуская её рук, продолжил:

– А главные люди, на всей нашей многострадальной земле – Вы, фронтовики. И если кто об этом забудет, тот и не человек вовсе.

– Спасибо, сынок. Что-то нынче не многие у нас, на Украине, (она так и сказала – на Украине) так думают. Вон, видел, как бандеровцев, всех фашистских недобитков, во Львове привечают?

И, вдруг, полыхнула гневом:

– Пока жива – не позволю над памятью героев глумиться. Зубами всякую нечисть, рвать буду. Не спущу надругательства.

С запалом, продолжила:

– Я же сама видела, как их, вот здесь, матросов наших раненых, а не раненого тяжело– ни одного и не было, фашисты штыками добивали.

Её лицо покраснелось и она, громко и взволнованно продолжила:

– И с ними, уже тогда, прихвостни эти были, с Западной Украины. С повязками, в чёрных мундирах, с серыми воротниками. Так они даже впереди фашистов прыть свою показывали, старались. Страшно зверствовали.

Тяжело при этом вздохнула и уже совсем тихо, добавила:

– Не щадили, правда, и мы их после увиденного. Никогда не брали в плен.

Тяжёлые морщины собрались у неё на лбу, когда она с душевной мукой выговорила сокровенное:

– А он, сокол мой, меня и спас среди этого побоища. Я ранена была. Так он ночью уложил меня на плот, с кузова машины, привязал к нему, чтобы я в бесспамятстве в море не скатилась, да и оттолкнул от берега.

Как-то удивлённо, словно и не с ней всё это было, выдохнула:

– Не знаю, за что Господь спас. В эту же ночь наш торпедный катер в море подобрал.

С той поры – вот и жду. Кто говорил, что видели его живого, и даже как на Сапун-гору вёл матросов в атаку. Это – когда мы отбивали Севастополь у фашистов, а кто – даже в конце войны видел, у рейстага.

Надолго замолчала, и уже со слезами в голосе, обронила:

– Только я не верю. Был бы жив – он нашёл бы меня, – горько и обречённо бросила она, уже сквозь слёзы.

– Но ты не думай, сынок, что разуверилась я. Я жду его постоянно. И надеюсь, хотя бы на какую-то весточку о нём.

И молодо, даже озорно сверкнув глазами, с вызовом сказала:

– Теперь так не любят. Мы ведь даже не нацеловались, разочек только и прикоснулся к моим губам, а говорил, что, как только закончится война – и мы, честь по чести, поженимся.

Моя собеседница посмотрела в синюю безбрежность моря, тихо и счастливо улыбнулась чему-то своему и продолжила:

– Он к началу войны на флоте отслужил уже шесть лет.

Главстаршиной был в ту пору, как мы познакомились. А я – совсем юная девчушка, только медучилище завершила и с началом войны и пришла, по комсомольской путёвке, в бригаду морской пехоты.

Мне казалось, что и не ко мне, вовсе, были обращены её слова, она говорила с собой, с тем временем, когда она была молодой:

– Так он, с первой минуты, таким вниманием меня окружил, что никто – и подойти не смел ко мне. Говорил, что полюбил сразу, как только увидел. А я молоденькая – хорошенькая была. Крепкая, сильная, с копной непокорных волос. Глаза – зелёно-карие. Чёрный берет на голове, а под форменкой, с той вот поры – тельняшка, – и она положила свою ладонь правой руки на вырез в костюме, где виднелись чёрно-белые полосы

любимой всеми моряками флотской натальной рубашки, именуемой звучно и тепло, так по-домашнему – тельняшка.

– Вскорости – страшные бои начались. Что я тебе о них буду рассказывать? Не хуже меня знаешь. Вся крымская земля, каждая её пядь, а Севастополь в особенности, политы кровью наших героев. Мы гибли за Отечество, другой цели и смысла своей жизни мы не видели более ни в чём. И он, всё время ведь – на передовой, норовил мне: то воды флягу передать; то – где-то раздобудет – пару яблок; а один раз – не забуду никогда – три плитки шоколада, нашего, знал, что от фашистов, убитых – я есть бы не стала, а тут – наш, давно забытый, фабрики «Красный Октябрь».

Лицо её озарилось при этом такой красивой улыбкой, что мне показалось, даже годы и пережитое ушли от неё.

– То-то был пир у нас, с девчонками, такими же, как и я, милосердными сёстрами. Нас так и звали все моряки – милосердными сестричками.

А в ноябре, помню, букет цветов передал. Он уже к этому времени лейтенантские нашивки на рукаве носил. Магросы его очень любили. Боготворили просто. Везде был первым.

Она тяжело вздохнула и продолжила:

– А вот обидел один раз, очень сильно. Сам во главе десанта уходил, а меня не взял. И даже накричал, что я, мол, твоим родителям скажу, если что. И что – мала ещё, не выросла.

Правда, слава Богу, что сам живым вернулся. Раненый только был. В правое плечо, но – живой и счастливый, что задание командования выполнил к сроку.

Нотки гордости так явственно зазвучали в её голосе, что он даже окреп, стал звонче и пронзительнее, словно и годы ушли за море:

– Ему тогда, случай небывалый для сорок первого года, вскоре такую же звезду вручили, как и у тебя, сынок. Так он её и не носил. В кармане, на груди, в платке, который я ему подарила, лежала.

– Всё говорил мне: «Что, я один – самый лучший? Да все у меня в десанте – настоящие герои и заслуживают такой же звезды»...

И не знала эта милая женщина, что эта история будет иметь совсем уж неожиданное продолжение уже через несколько дней.

И что мне именно выпадет горькая участь уверить её в невозможности утрате, лишит надежды, но, вместе с тем – и стать свидетелем невиданного, по силе, чувства, небывалой великой и светлой любви.

Муж моей младшей сестры, большой милицейский начальник в Украине – по Крыму, вечером, за ужином, мне сказал:

– Представляешь, лодку подняли, подводную. Времени войны. Разворочена носовая часть, видно, на мину напоролась.

Я заинтересованно слушал его.

– Само по себе – событие не такое уж и редкое в последнее время, – продолжил он, – таких находок много обнаружилось, как стали искать «Армению». Знаешь, что-либо, об этом теплоходе?

– Да, – ответил я, – более семи тысяч погибло женщин и детей, которых эвакуировали из Ялты. Фашисты, мерзавцы, знали, что только мирные люди эвакуировались, кресты, красные, были растянуты по всем палубам. Но это их не остановило и они, волна за волной, налетали группами бомбардировщиков и сбрасывали бомбы на обречённый корабль до тех пор, пока он полностью не скрылся под водой.

*– Так вот, – продолжил мой родственник, – в одном из отсеков, он был задраен и воды там не было, нашли останки нескольких моряков. Время пощадило корпус лодки, в иле ведь лежала, одна только рубка из него торчала.

У одного из них, в кармане, лежала звезда Героя Советского Союза в носовом платке, вышитом, а в планшетке – письмо.

По звезде-то мы сразу и нашли Героя, это был капитан-лейтенант Александр Николаевич Ильичёв, наш крымчанин. А вот кому письмо адресовано – не знаю.

– Коля, – вскричал я, – я знаю. Я знаю. Позволь мне взглянуть на это письмо и... передать адресату.

Муж моей сестры искренне изобразил крайнюю степень удивления, не зря был старым, опытным милицейским зубром, и спросил:

– Откуда ты знаешь, кому письмо адресовано? Ты – что, провидец?

И я очень кратко, но внятно, рассказал ему историю своего знакомства с интересной женщиной, морячкой-фронтовичкой, сестрой милосердия, которую встретил в Балаклаве.

Назавтра, соблюдая все формальности, оставив расписку в получении планшетки и письма в ней, после того, как работники Главка сделали множество снимков с планшета, и копий – с письма, мне было вручено это свидетельство высокой любви и верности.

Я запомнил его дословно, а одну копию всё же попросил у генерала милиции Косачёва себе на память. О внуках подумал, чтобы им показать.

Пусть простит меня его автор и милая женщина фронтовичка, но это письмо – уже не частное дело погибшего и той, к кому оно обращено. Это письмо всем бы молодым людям, да перед глазами, чтоб помнили и знали, как возможно любить, как должно любить, как любили наши отцы и матери, как верили и ждали.

Вот оно:

«Родная моя! Счастье моё светлое и теперь уже – недостижимое. Я знаю, что жить мне осталось несколько часов. Это - в самом лучшем случае. Не было бы и их, да лодка, подорвавшись на mine, легла на дно у берега, на небольшой глубине, и мы успели задраить люки отсека.

Нас здесь шесть человек. Как старший по воинскому званию, объявил, что беспорядков и паники, малодушия не допущу. Труса и истеричку пристрелю сразу же...

Ну, да не это главное. Главное в том, что я самый счастливый человек на Земле, так как мне было дано великое счастье – знать тебя, любить тебя, ждать и верить.

И я знаю, что всем своим сердцем любила меня и ты, светлая моя.

Я верю, родная, что закончится эта война нашей победой, Великой нашей Победой. Разве может враг одолеть нашу любовь?

Нет такой силы, чтобы её победить.

И я очень хочу, и верю в это, что так и будет – ты доживёшь до этого светлого дня и будешь счастливой.

Не печалься обо мне, моя хорошая. Останешься живой – найди хорошего парня, фронтовика, и выходи за него замуж.

Только знай, что больше жизни люблю тебя. И буду любить до последней минуты своей, до последнего удара сердца.

Знаешь, наивно, но думаю – а, может, свершится чудо, и мы каким-то образом останемся живы?

Тогда я бы не ждал конца войны, а тут же позвал тебя замуж.

Будь счастлива, моя родная. Я очень тебя люблю.

Твой Александр».

Уже через час я был в Балаклаве. Сидел на скамейке, у дома той, кому было адресовано это письмо, курил и всё не мог зайти в подъезд.

А через десять-пятнадцать минут из подъезда вышла Она, вся в чёрном – костюме и старинной шали, с кистями.

Села возле меня и без слёз, тихо сказала:

– А я, сынок, почувствовала, когда увидела тебя, что с недоброй вестью ты ко мне сегодня...

– Да, уважаемая Галина Ивановна, это так.

И я молча протянул ей планшетку, которую она прижала к груди и только после этого из её глаз полились слёзы. Я кратко рассказал ей об обстоятельствах, при которых было найдено это святое для неё письмо и планшетка.

– Саша, Сашенька... как же ты, родной мой? А я ведь всю жизнь тебя ждала... И – верила, что мы встретимся... а ты – рядом совсем, такую мученическую смерть принял...

Сдержалась и при мне письмо, адресованное ей, читать не стала.

– Я знаю, сынок, что он мог написать мне... Хорошо знаю...

Я дотронулся до её руки:

– Галина Ивановна, в воскресенье, на Аллее Героев в Севастополе, будут захоронены останки капитан-лейтенанта Ильичёва и его боевых товарищей, с которыми он и встретил свой последний час на подводной лодке.

– Ишь, – мягко улыбнулась она, – а я его только лейтенантом помню... Капитан-лейтенантом стал...

И она, как о чём-то оговоренном ранее, просто сказала:

– Ты, уж, сынок, заедь за мной. У меня нет ближе и роднее тебя. А сама – я не выдержу этот день... Этого испытания...

– А сейчас, прости, в церковь схожу. Сама. Давно уже не была там. А сегодня – надо. Не провожай меня...

И она, тихонько, постарев на многие годы, пошаркала в сторону Храма, откуда, вдруг, ударили колокола и их звон поплыл над притихшим городом и такой красивой бухтой, заполненной, до отказа, всевозможными катерами и лодками.

*Что может быть страшнее,
когда бывшие отступники
объявляются властью,
в оправдание собственной
неразборчивости,
сегодняшними
провидцами и совестью нации?
Так и хочется спросить – какой нации?*

И. Владиславлев

НЕОЖИДААННЫЙ СОБЕСЕДНИК

Словоохотливый старичок, на набережной Ялты, мне сразу очень понравился.

Он был не шумным, в беседу вступал не с каждым, а лишь с тем, кто проявлял к нему неподдельный интерес

А не проявить его было просто невозможно. В его увесистом пакете лежали шесть–семь книг Александра Исаевича Солженицына, от пресловутого «Одного дня Ивана Денисовича» – до «Архипелага Гулаг», «В круге первом».

Он, поочерёдно, вынимал их из пакета, находил, наизусть, было видно, нужные ему страницы и, уже по новой, подчёркивал важные, на его взгляд, мысли.

При этом всё приговаривал, от чего я и обратил на него заинтересованное внимание:

– Ну, и шкура, вот так шкура. Это же надо и никто ему не укажет на это святотатство. Как же так можно?

– А что, отец, здесь не так? – обратился я к нему, после приветствия.

Он скользнул по мне своими уже выцветшими, но очень живыми глазками, крикнул удовлетворённо, увидев Звезду Героя на моём тёмно-синем пиджаке и, уже решительно, спросил:

– Значит, свой, браток? А где же это и за что? – и он указал на Звезду.

– Афганистан, отец. За службу Отечеству, которое мы потеряли.

Мне очень понравилось, как он сразу парировал на мой ответ:

– Это вы потеряли. Мы берегли и боронили Отечество, а вы – доверились таким лже-Христам, как мой однополчанин, и поэтому всё и потеряли. Эх, сынок, сынок, как же вы так могли?

И вдруг, словно споткнувшись, вернулся к началу нашего разговора:

– Извини, не тебя виню лично, хотя мы все ответственные за то, что происходит на нашей Земле. А за Звезду – извини, я так и понял, что за Афганистан. За Чечню уже героя России дают. А вот скажи, кто же это придумал, чтоб на высшей награде России красовался власовский триколор? Его, значит, верх, отступника и предателя. Много у вас возни с этими нелюдьми, У нас не меньше, видишь, и бендеровцы нынче в чести и им тоже геройские звания дают. И это за то, что уничтожали, сотнями тысяч, людей безвинных, которые только и хотели жить свободно и спокойно.

И не стыдно им ведь принимать эти награды, за войну с собственным народом? Что у вас, что у нас, – и он горько усмехнулся.

– Видишь, как поделили нас? Вчера ещё был единый народ, а нынче – независимые государства. От кого только – независимые? Друг от друга, на радость Америки?

И вновь перешёл к моей Звезде, чем ввёл меня в смущение:

– А ты, наверное, сынок, последний Герой, коль на красной ленте, то есть – ещё Союза Герой. Кланяюсь тебе, сынок.

– Да что Вы, отец! Это я Вам кланяться должен, – и я указал на ленты от честных солдатских наград на его пиджачке, чистеньком, но уже совершенно старом, с потёртыми рукавами и воротником.

По орденским лентам я увидел ордена Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали, в том числе – и какая-то мудрёная, мне неизвестная среди них.

Он заулыбался, увидев, что я разглядываю, с особым интересом, эту ленту.

– А это, сынок, поляки меня отличили. Спас их командира, вынес на себе с поля боя. Они с нами вместе воевали. Побратимы, дышло им в печёнку. Нет, нет, не фронтовикам, те – честные были солдаты, гонористые, всё «Пся крев», да «Пся крев», но воевать умели, не трусили, а вот ныне – брательники, видишь, что вытворяют. Им Россия – поперёк горла встала. И это за то, что нашего брата более 600 тысяч погребло за освобождение Польши.

Мне он положительно нравился всё больше и больше. Он был в курсе всего, что происходило в мире и, конечно же, я понял, что он говорил о братьях Качиньских, недоброй памяти нынешнего президента и премьера Польши.

– Да, сынок, многих своих товарищей я в Польше схоронил. Шутка ли, дивизия наша вся легла, почти, за Краков. Как жив остался – не знаю. Не ранили даже. Кто-то молился за меня истово.

И как-то горько, обречённо, обронил:

– А теперь – видишь, оккупанты.

Вскинулся, даже задрожал от гнева:

– И этот власовец, чистый власовец, с ними – заодно. Ты же видел, наверное, как всю Россию печаловаться заставили, по этому нелюдю, да ещё и захоронили рядом с совестью России, её честью – Василием Осиповичем Ключевским.

– Ты не удивляйся, – он посмотрел на меня твёрдо, но с улыбкой, – я учитель, всю жизнь детей учил, поэтому кое-что в жизни понимаю, да и в литературе смысло.

– Вот, скажи, – он вновь перешёл почти на крик, – написал длинное письмо Проханову об этом «фронтовике», опубликуют или нет?

– Думаю, что нет, отец. Вы же читали, как Бондаренко, в той же «Завтра», возносит пророка, как он его назвал.

Мой собеседник витиевато выругался и испытующе посмотрел на меня:

– Так что – правды не найти? Нет её? Куда же её так глубоко спрятали?

И вдруг, как-то даже подпрыгнул на месте, и продолжил:

– Удивляешься? Мол, блажит, этот дед? Я, правда, тебе не сказал сразу, что я ведь с этим «пророком» служил. В одном полку. Только он звуковой батареей командовал, как мы её называли. По-правильному – батареей звуковой разведки и появился у нас – где-то в сорок третьем году, а я, к этому времени, хотя и рядовым войну начал, был уже командиром артиллерийской батареи, противотанковой, родимые семидесятишестимиллиметровые.

– Отец, – уже с улыбкой заметил я, – не почтите за дерзость, но я не ел ничего с утра, а уже и обеда время наступило. Пошли в ресторанчик, вон, на набережной, пообедаем.

Он – набычился и как-то грубовато, растягивая слова, мне ответил:

– Да, с моей огромной пенсией, только по ресторанам ходить.

И снова завёлся:

– Видишь, бендеровцам больше платить стали, чем нам, фронтовикам. И не только пенсии выравнивали, а ещё и в конвертах дают. От властей, особенно – в Западной Украине.

Стал прямо кричать:

– Информация верная, не думай, что я наговариваю. Со мной одна такая сволочь в доме живёт. И вчера, с гордостью такой, что чуть не лопнул, – говорит мне: «Ну и за что ты воевал? За Родину? За Сталина? А я вас, сволоту, на Западной Украине, не одного упокоил. И, видишь, сегодня и пенсию получаю, поболее твоей, да ещё и в конверте приносят. Так что – только и пожить пришла пора. Только твои комиссары, сволота, двадцать лет из жизни вычеркнули, до шестьдесят седьмого сидел.

Я бы вас, сволочей, и сегодня... Рука бы не дрогнула – только бы автомат дали».

Задохнулся от ярости мой собеседник и хрипло довершил:

– Истину говорю, сынок. И так у меня сердце зашло, что я даже свою трость о его хребет поганый, переломал... Правду говорю.

Он развёл руки в сторону и сокрушённо, от великой печали, вздохнул:

– А ты говоришь – ресторан. Нет у меня на ресторан. Опять же, трость покупать надо. Тяжело мне уже, без трости...

Я его даже перебил:

– Не обижай, отец. Мы же солдаты. Я приглашаю и хватит об этом говорить. Пошли.

– Ну, коли так, – и он улыбнулся, – я уже сто лет в ресторане не был. Пошли, коль от чистого сердца.

– От чистого, от чистого, отец, – засмеялся я, и, подхватив увесистый сидор с книгами Солженицына, взял так понравившегося мне фронтовика под левую руку и мы стали неспешно подниматься по ступенькам, от самого моря, на суетную набережную.

Проходили, как раз, мимо киосков со всякими сувенирами, и я увидел всевозможные трости, целые их охапки, красиво установленные в специальные, круговые стеллажи

– Отец, одну секунду. Посиди на этой скамейке. Я сейчас...

И когда я, через несколько минут появился с красивой, вишнёвого дерева тростью, окованной бронзой по рукояти – он даже прослезился.

– Это, отец, чтоб не лопнула на спине того мерзавца, прочная.

Прими, от всего сердца, на добрую память, как фронтовик от фронтовика.

Он сердечно меня поблагодарил, примерил трость:

– Как угадал – по росту и в руке – очень удобна. Внизу – потяжелее, легко переставлять. Спасибо, сынок, – и он сняв, свою видавшую виды шляпу, мне поклонился.

– Пошли, отец, обмоем трость, чтобы служила тебе долго.

И мы неспешно пошли к рестораничку. Я любил тут бывать во время своих редких наездов в Крым.

У меня даже появилась своя любимица – молоденькая официантка, Алла, милейшая девочка, умеющая без угодливости, так красиво и неназойливо обслужить своих клиентов, что я, отобедав у неё один раз, норовил, затем, попасть только в её смену.

И сегодня был её день. Завидев меня издали, она заулыбалась и поспешила нам навстречу:

– Садитесь за тот столик, – указала она, – там будет очень удобно. Хорошо видно море и солнце не будет глаза слепить.

– Спасибо, Аллочка.

Мы усьелись за стол и она сразу же подошла к нам с красивым меню.

– Аллочка, не надо нам меню. Нам – хороший обед, на Ваш выбор, но непременно – с горячей ухой, бараболей, и... водочки – холодной, графинчик, грамм... на пятьсот.

Мой гость, от предвкушаемого удовольствия, даже крикнул.

– А для начала – можно, сынок, – он просительно посмотрел на меня, – водички бы... И сигаретку...

– Да, Аллочка, сначала – «Боржоми», две бутылки и пачку «Давыдова»... Нет, две.

И мы на минутку замолчали. Я вынул из кармана пачку привычного «Давыдова» и протянул моему гостю, затем – закурил, с наслаждением, и сам.

Тут же раздался его голос:

– Ух ты, что же это такое, не курил таких, отродясь, – и он взял пачку в руки.

– Я «Приму» всё, по доходам.

И мы, оба, с удовольствием, вновь затянулись душистым дымом.

– Слабоватые, но приятные, – после двух-трёх затяжек сказал фронтовик.

А тут поспел и наш запотевший графинчик, какие-то мудрёные салаты с морепродуктами в красивой посуде.

В розетках, рубином, отсвечивала икра, замысловато накрученное масло, с ветками петрушки, побуждало аппетит.

Я соорудил ему и себе бутерброд с икрой, на что он смотрел почти со страхом, налил по хрустальной рюмке, доверху, холодной водки и искренне, от всего сердца, сказал:

– За тебя, отец, за фронтовика, за Великую Победу нашу. Как бы кто ни хотел, не опорочить её никакому отступнику. Бились Вы за Родину, Отечество наше, за Великую, Единую и Неделимую страну нашу. И мы всегда помним это и, как могли, на что хватало сил и совести, продолжали Ваше дело.

– Кланяюсь тебе, отец, – и я, поднявшись из-за стола, выпил рюмку до дна.

Мой гость, как-то по-детски захолопал глазами и даже прослезился:

– Жаль, мать не видит. Честь какая. Сам Герой за меня чарку поднял.

И, прежде, чем выпил свою, спросил:

– А в чине – каком же будешь, сынок?

– Все мы, отец, солдаты Отечества, это самое высокое звание. А так – генерал-лейтенант.

– Ну, ты, сынок, полегче. Эка, куда хватил, генерал-лейтенант. Пил бы твой генерал, со мной.

Я смеялся так, как давно уже не смеялся. И на душе было светло и уютно.

Вынул из кармана пиджака удостоверение личности и передал старому солдату.

Тот, шевеля губами, вслух прочитал: «Генерал-лейтенант Измайлов Владислав Святославович, командующий танковой армией».

– Ну, сынок, товарищ генерал-лейтенант, вот честь-то какая выпала. Мне за всю войну – один лишь раз генерал вручал орден, а так – я и не видел-то генералов, ну, порадовал...

– Отец, брось ты это. Прошу тебя. Не я, а ты здесь – главный герой. И я тебе, таким как ты, отцу моему, фронтовому разведчику, обязан всем.

Поэтому – не будем, отец, хорошо? Мы же собрались по другому поводу.

И только после этих слов – он как-то успокоился, лихо – опрокинув вторую рюмку и, от удовольствия, откусив от бутерброда с икрой изрядный кусок, даже закрыл свои глаза.

Под горячую ароматную уху, мы выпили ещё по рюмке и я ждал, когда он утолит первый голод и вернётся к заинтересовавшему меня разговору, начавшемуся на набережной.

– Аллочка, не торопитесь подавать, – обратился я к официантке, – у нас долгий разговор...

– А что, сынок, говорить, знаю его, поганца, как облупленного.

– Уже с первых дней, как только появился он в полку, не глянулся он не только мне, а всем боевым офицерам. Скользкий какой-то. Слащавый. Неискренний. С двойным дном.

– Появился, старший лейтенант-то всего, с бабой, жена его оказалась, с каким-то ядовитым портфелем. Это – на передовой, можешь представить? И, – тут старый солдат даже улыбнулся, – с портретом Гитлера в нём.

– Да, да, ты не удивляйся, – заметил он моё изумление.

– Ну, правда, грешить не буду, мол, для того, говорил, чтоб не обознаться, если придётся встретиться. Только думаю я, что это его лукавство, издёвка над нами была. Тыкал он этот портрет каждому под нос.

Хмыкнув себе под нос, продолжил:

– У нас, в землянках, да и в планшетках – портрет Вождя, а у него, видишь – Гитлера.

И он тут же полез в свой сидор и извлёк замусоленный том, открыл на нужной странице, знал наизусть, и протянул мне:

– Читай, видишь, сам пишет, что с Гитлером, с его портретом, прибыл в полк.

Я это знал, но ещё раз пробежал по подчёркнутым строчкам.

– Он и немца-то живого не видел, почитай, всю войну. А здоровый был, ему бы с сорок первого воевать, а он – в училище; из училища – в запасный дивизион; затем – в резерв Брянского фронта. И только в сорок третьем, как я тебе говорил, попал на фронт.

– А тут, видишь, пишет: «11 июля 1943 года, ещё в темноте, в траншее, одна банка тушёнки на восьмерых, в окопе и, – Ура! За Родину, за Сталина!.. Господи, под снарядами и бомбами я просил тебя сохранить мне жизнь».

Постучал книгой о стол и продолжил:

– Здесь, сынок, всё – ложь! Всё буквально, до последнего слова!

– Даже мы, пушкари, и то в атаку не бегали. Хотя с пехотой в боевых порядках, рядом, почитай, всю войну воевали.

– А он – в тылу всегда сидевший и что-то там с утра до ночи строчивший в тетрадках, – «За Родину! За Сталина!». И ты, ведь, обрати внимание, «за родину», поганец этакий, с малой буквы всегда писал.

– Не было у него Родины, не знал он её и не чувствовал. И Родине нашей, её защитникам, всё грозился в своём «Архипелаге» – «...дышло тебе в глотку! очоурься, гад!».

И он почти закричал:

– И нас, при этом, печаловаться о нём принуждают?

Живо повернулся ко мне и почти шепотом, не знаю почему, спросил:

– Неужели, правда, что правители ваши заставили его в институтах изучать, в школах, премии учредили его имени?

– Правда, отец, действительно – правда.

– Ах, окаянство же какое! Ты же посмотри, это я тебе говорю, мне начальник штаба полка, дружили мы с ним, говорил, что он, со своей кралей, даже доносы на командира полка писал.

«Не благонадёжный-де, человек, командир нашего полка».

– А знаешь – почему? – и он залиvisto, как мальчишка, засмеялся.

– А всё лишь потому, что командир полка говорил на всех митингах и собраниях, что скоро уже будем в логове зверя и там войне конец.

Даже зашёлся от гнева, и продолжил:

– А он, видите ли, обливая грязью честного офицера, не зря мы его – батей звали промеж себя, писал в своих доносах, что командир полка проявляет непростительную политическую близорукость, заявляя

офицерам о том, что войну надо закончить в Берлине. Наш пострел и в этом усмотрел ограниченность и ущербность командира полка и в своих мерзких пасквилях писал, что войну надо закончить в Португалии, всю Европу – советской сделать.

Отпил воды и продолжил:

– Вот, де, какой незрелый командир полка, который ещё и матом где-то Солженицына покрыл за нерасторопность и непорядки в батарее, так наш «провидец» – слюной изошёл: «Меня, с университетским образованием, это быдло смеет ругать матом. Он ещё попомнит это. Я ему этого не спущу».

Схватил меня за руку, уверяя в правдивости своих слов:

– Это не только я слышал, а многие офицеры полка. Могут подтвердить, если что...

Помолчал минуту и уже иным тоном, сокрушённо и устало дополнил:

– Ты понимаешь, сынок, я мало о нём знаю, как об однополчанине. Он всё – со своею кралей от всех укрывался. Даже братскую чарку с нами не выпивал, а узнал его доподлинно, до конца, когда издаваться у нас стал, в лихолетье, которое наступило после девяностого года.

Прокашлялся от напряжения и добавил:

– А так – и не слышал о нём. Правда, в хрущёвское время звону было много, когда вышел его «Один день Ивана Денисовича». Даже Госпремию, безмозглый Хрущёв, вручил ему за этот пасквиль.

Посмотрел вождельённо на графинчик с водкой и пока я наполнял рюмки, заговорил вновь:

– Поверь мне, я в то время жил и скажу тебе честно: я в полку, за всю войну, так и не знал, кто там у нас был особистом. И был ли он вообще. И штрафников не видел за всю войну. Были они, знаю, но нам заградотряды не нужны были, мы сами, гадов, зубами рвать были готовы.

Гордость выплеснулась из его души и он, уже громко, да так, что на нас стали оглядываться посетители ресторана, среди которых я узнал даже Райкова, депутата Госдумы (Земля круглая, подумал при этом):

– Да если бы у нас, в сорок первом, был полк такой, как наш, уверяю тебя, не дошли бы они до Москвы. Ни за что не дошли бы! Ещё под Смоленском, да Ельней погибли бы все.

И мой гость уже рокотал:

– Шутишь, за всю войну дивизию танков выбили у них. Гибли и сами, конечно. Но дивизию угробили, мать их в душу.

Отчаянно бросил:

– Эх, сынок, налей ещё рюмочку, слезы-то. Душу саднит.

Выпил, тяжело вздохнул и продолжил:

– Как я уже тебе говорил, я учителем русского языка и литературы служил. И поверь мне, что уж что-то в языке смыслу. И я внимательно

анализировал его «Один день...» этот, окаянный, когда он в роман-газете был опубликован.

С запалом, нагнетая ярость, выдохнул:

– Поверь мне – убожество, убожество, с точки зрения языка, образов, логики изложения, а уж низменных страстей сколько – к слову, это – во всех его книгах. Одним словом – убожество, жалкое, ничтожное убожество.

– Ну, сидела же Русланова, сидел Рокоссовский с Горбатовым. Ты же читал их книги. Что пишут? Как рвались на фронт, за Родину воевать!

А здесь – цель-то, единственная – под одеялом пайку съесть. Вот и высшая радость.

Задумался, совсем трезво и здраво продолжил, совершенно молодым голосом:

– Были ли репрессии? Были, несомненно. И невиновные были, Но они ведь и страдали от таких прохвостов, как Солженицын. Это ведь именно такие, как он, и клепали доносы на рокоссовских, горбатовых, королёвых...

Подмигнул мне, как родной душе:

– Помнишь, как он в «Архипелаге» своём окаянном пишет – ему предложили сотрудничество, осведомителем, значит, быть – и он сразу же согласился и, прости, как сам же пишет – горячий шомпол в задницу при этом не вставляли. Согласился сразу. И даже кликуху сам себе придумал. И пишет ведь об этом, стервец, не стыдится нисколько.

– Ты ведь только посмотри, – и он опять раскрыл книгу: «Оглядываясь на своё следствие, я не имел основания им гордиться. Конечно, мог держаться твёрже. А я себя только оплёвывал».

Фронтвик как-то затейливо изломал свои выпуклые брови и обратился ко мне:

– Как же это, сынок?

Мы надолго с ним замолчали, и он, уже устало, обронил:

– Или, смотри ещё: «Я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, прозревал».

При этом мой собеседник даже палец указательный, правой руки, вверх поднял:

– Вот это борец со сталинизмом! Честь и совесть нашей эпохи?!

И уже нетерпеливо ко мне, хотя я и не думал его перебивать:

– Знаю, знаю, что всё это ты прочитал, не хуже меня знаешь. И, как честный человек, не видеть этого не мог. Не заметить этого не мог. Не имел права.

– Да, отец, вижу и я всё это.

– Но ты мне скажи, что же это за такая «антисоветская деятельность» у него была? Ты знаешь, за что он был арестован? Мы в полку все это знали – он своим друзьям, а они часто к нему наезжали, всё что-то, запершись, талдычили, передал письма, в которых «критиковал»

товарища Сталина за непоследовательность, за то, что тот не ставит в войне конечной цели – весь мир, силой, обратить в социализм.

Засмеялся после своих слов и спросил:

– Понимаешь, в чём дело?

И он даже заёрзал по скамейке:

– «Герой»-то понимал, что грядут решающие сражения, а ему – уж очень жить хотелось и он нашёл выход – клянясь в верности товарищу Сталину, тем не менее, его пожурил, что он-де, ставший гораздо позже, при Хрущёве, извергом и людоедом, а тут – не хочет знамя социализма над всем миром установить.

Потыкал своим пальцем в открытую книгу:

– Поэтому он и спрятался в «каталажку» – победа-то видна уже была, а за такую критику товарища Сталина – что, пожурят, да и только.

Потёр переносицу кулаком, словно, силясь вспомнить что-то важное и продолжил:

– Где-то, точно не помню, в начале февраля его и арестовали. А с марта начались такие бои, что я такой ярости – и за всю войну не помню.

У меня в батарее три человека, со мной, в живых остались.

И так... во всём полку.

При этих словах, у него даже глаза заслезились, но нить разговора не утратил и довершил:

– Поэтому нос по ветру он держал остро. Лучше срок отмотать, а с его дальними целями – и за мученика сойдёшь, а значит – продвинёшься, растолкав всех, наверх, – нежели «смертью храбрых». Он этого очень боялся и всё говорил, как он жить хочет.

При этом даже выругался:

– Вроде мы не хотели. Но только жить-то можно не любой ценой, кто же тогда Отечество отстоит? Оборонит его кто?

Решительно прервав себя, попросил:

– Давай, сынок, ещё по одной, а то у меня и сердце обуглится.

Ожидая, пока я напьюсь рюмки, горько, самым сердцем, произнёс:

– Я как вспомню, как какой-то его радетель написал в дни его смерти: «Солженицын уже в 1943 году сказал: «Мы победили!». Видишь, какой провидец оказался! Сукин сын!

Даже кулаком по столу ударил, так, что и тарелки зазвенели:

– А мы знали, уже с 22 июня 1941 года, что победим. И Вождь в своей речи сразу заявил – наше дело правое, победа будет за нами. И пограничник, в Бресте погибая, знал, что враг будет разбит. Поэтому и стоял насмерть!

Саркастически улыбнулся, взял рюмку в руку и добавил:

– А в сорок третьем году – какой же дурак, после Сталинграда, не видел, что мы победим? Весь народ мира это чувствовал и знал это.

Наклонился ко мне и спросил:

– Ты – человек учёный, знаешь, почище меня, что Черчилль, уж на что враг ярый и лютый наш, на протяжении всей истории, и то, после Сталинграда, писал, помню, в «Правде» читал, что хребет фашистскому зверю был сломан именно под Сталинградом.

Мы выпили по рюмке и тут наша девочка-официантка, заметив паузу, принесла барабольку с картошкой.

Более вкусной рыбы я на своём веку не ел. Она просто таяла во рту и мой собеседник, не в силах сдержаться, громко восхищался:

– Поди ж ты, живу здесь, а такого чуда не едал. Спасибо, сынок.

Съев несколько рыбок – он продолжил:

– Ты молодой был, не всё помнишь. А я хорошо помню, как он, поддержанный Хрущёвым, развернулся в критике Шолохова.

Он же слюной исходил прямо, что не Михаил Александрович – автор «Тихого Дона». Какого-то Крюкова приплетал.

А Шолохов-де – неуч и явить «Тихий Дон» не мог по определению.

Засмеялся и глядя на меня своими пронзительными, хмельными слегка, молодыми глазами, продолжил, чеканно:

– А уж когда Михаилу Александровичу Нобелевскую премию присвоили – этот гусь уже в Америке был. Тут уж он не сдерживался, «Голос»-то я слушал. Так он прямо потоки грязи и лжи на него выливал.

Задумался и так хорошо, с тёплыми нотками в голосе, промолвил:

– И знаешь, счастливый случай, я познакомился с Твардовским. Милый, простой человек. Совершенный случай помог. Я бы не посмел подойти, он сам меня заметил здесь, на причале и говорит своим спутникам, глядя на мои награды: «Вот он, мой Тёркин. Здравствуй, солдат. Поклон тебе, до земли, за Великую Победу».

Ветеран гордо распрямил плечи и с чувством, сердечным и светлым, сообщил мне, проникновенно:

– Обходимый человек, светлый. Не знаю, чем-то и я ему сподобился, и мы с ним, часок, проговорили. Так вот, он мне и говорит, когда я признался, что за однополчанин у меня был: «Никто его из страны и не думал выдворять. Он ведь сам, как не вышло с Ленинской премией, обещанной Хрущёвым, рвался на Запад.

Хрущёва-то Брежнев турнул и стал реабилитировать Генералиссимуса, а такому хулителю всего советского, конечно же, никакой премии давать не собирался, более того, осуждать стали и сдерживать этого правдолюбца окаянного.».

– Вот, оно, брат, какое дело, сам Твардовский, клянусь тебе в этом, сказал мне эти слова.

Многозначительно пожевав губы, выждав один миг, дополнил:

– А уж в Америке он развернулся. И ядерную войну на наши головы призывал, и рушил, вместе с Мишей окаянным, Отечество наше.

И ведь разрушили, вот что горько. Цели своей добились, нелюди.

– И ты мне вот что скажи, – он стал надвигаться на меня и хватать даже за рукав, – это, что ж, у него – правда весомее? Тяжелче нашей? И она – за ним? Как ты думаешь?

– Думаю, отец, что нет, не правда – за ним. Вероломство и ненависть. А тут и судьба подфартила, востребованным стал в лихую пору, когда рушили всё, что было связано с Отечеством нашим. А мы, к несчастью, оказались незрячими, да его собратья, собрав свою пятую колонну под видом перестройки, ослабили нас, лишили всех возможных духовных и мировоззренческих ориентиров. Воли и силы лишили.

Я вновь закурил, молча взял и он сигарету и засопел тяжело и громко, ожидая продолжения моего разговора. И я, несколько раз подряд жадно затянувшись душистым дымом, продолжил:

– Знаешь, отец, а ведь у меня была удивительная встреча, многое поясняющая в истории с нашим «героем». В период начального Ельцина, с нами очень стремились «дружить» официальные американские органы – посольство, военные атташе, всевозможные фонды и общества. И вот, в один из дней, я был направлен Мироновым, он был тогда первым заместителем министра обороны, на такую встречу, во главе группы офицеров. Я тогда учился в академии Генерального штаба.

Неприятно поразило обилие спиртного. Американцы специально выставили его в каждом помещении, в холле, методических классах. Сами пили очень мало, а вот нашим офицерам и генералам норовили подливать очень щедро.

Я, очень резко, высказал своё недовольство данной бестактностью, вызывающим неуважением к нам.

И, странное дело, мой поступок вызвал одобрение у американского дивизионного генерала. Кто он – я не знал. Но он мне представился сам, как военный атташе в американском посольстве.

И мы долго беседовали с ним на всевозможные темы. Так вот, не утомляя тебя долгим рассказом, отец, отмечу одно очень интересное обстоятельство.

Американский генерал мне сказал о том, что в спецорганах Америки была создана специальная служба из литературных деятелей, которая и написала Солженицину все его «творения», ибо то, что он представил для издания – ни на что не годилось. Не дал Господь талану этому борцу с тоталитаризмом. Не дал! Да мы и видим это по его всем произведениям даже в окончательной редакции. Это далеко и далеко не «Война и мир», не «Хождение по мукам», не «Тихий Дон»...

И Нобелевская премия этому духовному мародёру была присвоена, мы совершенно определённо знаем это сегодня, лишь за тот яд, за ненависть к советскому строю, которую он изрыгал в изобилии досель невиданном. Что там бродские всякие, да окуджавы. Солженицын – вот знамя всех антисоветских, антирусских сил.

Мы помолчали, думая о сказанном, а затем я продолжил:

– Мы же думали, на благое дело зовут, вот и поверили. А теперь, видишь, отец, и мне Горбачёв говорит, что я Вас в Афганистан не посылал, Вы с Брежнева спрашивайте.

Я посмотрел ему в глаза и твёрдо произнёс:

– Он с Яковлевым, да Шеварнадзе и готовили, исподволь, и Вильнюс, и Баку, и Алма-Ату, и Ош, Фергану, Степанакерт – везде, отец, пришлось побывать, и везде – предательство власти, оплёвывание всего советского периода, армии.

Горечь душила меня, не давала дышать:

– Да и мы хороши. Не снимаю вины и с себя, со всех членов партии. Что же мы за партия такая, отец, что предателям всё уступили, всё отдали. Никто не шевельнулся даже.

Поэтому и одержали они верх. Думаю, всё же – временный. И верю, что Россия воспрянет, поднимется с колен.

Он согласно закивал головою:

– И я так думаю, сынок. Ослабли мы, не заметили, что Знамёна наши святые взяли в свои корыстные руки знаменосцы – без совести и чести, да и завели в пропасть. Трудно будем выбираться. Ой, трудно, до крови локти и ноги собьём.

И решительно заключил:

– А выбираться надо. Иначе – как же, героями завтра у вас – станут власовцы, с которыми я бился, а у нас, на Украине – уже бендеровцы в героях ходят, холуи фашистские.

С глубоким сожалением, заметил:

– Народу извели – страсть сколько.

И тут же, в порыве, с гневом, выкрикнул:

– А на днях – один, не издох ещё (он так и сказал – не издох), хотя за меня постарше – недавно, по телевизору, аж трясся, говорил, что мало мы комуняк истребили, всего за триста тысяч, а надо было – всех под корень, тогда бы победили советы ещё в войну.

Вопросительно, осуждающе бросил:

– Ты можешь представить, что же это за власть такая, что этого нелюдя, с экрана, показывают? Да ещё и какой-то орден, чуть не звезду героя, прицепили.

Громко, на всю веранду ресторана, выпалил:

– Болит сердце моё, сынок! Я бы развернул свою батарею, да вдоль Крещатики, шрапнелью, где эта сволота, вырядившись в фашистские мундиры, маршировала. Разве это народная власть, коль привлекает это? Мундиры им шьёт такие, в позументах, что не одной моей пенсии стоят.

Устало, и то, проговорил – погоревал столько времени, но довёл свою мысль до конца:

– И ветераны ослабели – в святом месте собрал их Ющенко, в Киеве, у музея истории войны и стал примирять с бендеровцами. Погудели, но не ушли ведь? Не поднялись и не ушли.

Даже головой покачал, с укоризной, очень горько и добавил:
– Многих я там знаю, видел многих. Особенно горько за Герасимова, по войне знаю, боевой офицер был, до генерала армии дослужился! Это же – высота какая! А он, звезду героя Украины получив, в первом ряду сидел, не поднялся, не ушёл и звезду эту не бросил в физиономию защитника бандеровцев.

И, уже как итог:

– Вот так-то, сынок. И уж последнее тебе хочу сказать – ты не задумывался о сути его фамилии? Солженицын. То есть, лжёт, пав ниц. Народ наш фамилии зря не даёт. Значит, предки его ложью жили. Оговором. Поклёпами на честных людей. А ниц пред кем ползали? Перед властителями, владыками. Поэтому духовные начала у нашего «героя», я думаю, от рода, от фамилии идут.

Вскинулся, как старый конь, даже головой замотал и досказал:

– Я, как посмотрю, так у вас, в России, главные его защитники – Ростропович, да Вишневецкая. Никто столько о нём не говорил. Сами – такая же ягода, с того же поля. Уж им-то на что жаловаться?

Высокая нота осуждения душила ему горло, но он её переборол и выдохнул:

– Россия – выкормила, выпоила, шутка ли – народная артистка СССР, ордена, премии – до Ленинской включительно. А всё плохо им. Свободы мало им было. Нет, не свободы, а вольницы захотели.

И вновь схватив меня за руку, продолжил:

– А я тебе так скажу, сынок, себе неограниченной воли захотели, чтобы нас гнобить. Разве раньше давали им такую волю? Квартиры, дворцы по всему миру, миллионы долларов, большие, за какую-то сомнительную коллекцию. По вкусу она только Ростроповичу была, не народное это искусство. Не для народа. А его выкупают за народный кошт. И кто этим любоваться будет? Уж точно – не народ. Ему не дадут.

Наливаясь яростью, почти прокричал, да так, что даже Райков, в очередной раз, оглянулся из-за своего столика, досадливо поморщился:

– А когда Господь прибрал, так видишь, где хоронили? Героям такой чести и такой славы не видать, а тому, кто возле Ельцина с автоматом бегал, это ведь значит, что в народ стрелять собирався, как пить дать – собирався, этот, с позволения сказать, вилоончелист.

Как вспомню эти кадры девяносто третьего года – оторопь берёт.

– Да, отец, и я всё это помню.

– Вот они свободу и содеяли для себя такую неограниченную, что всю страну закабалили.

Обведя рукой всё вокруг, сказал:

– Ты же видишь, что в Крыму-то делается? Уже и Никитский сад, Масандру вырубают, замки себе, невиданные, строят. Есть там и ваши, и наши буржуины новоявленные.

Вздохнул тяжело:

– И никто их, видать, уже не остановит. Тебе об этом не дадут говорить, иначе – со службы долой, хотя я вижу, что есть совесть у тебя. И душа чистая. Сберёг, молодец.

– Спасибо, отец. Но я думаю, что и Россия просыпается. И наверху уже видят, что если так дело пойдёт и дальше, то будем американцам сапоги чистить.

– Это точно. Мы-то их шуганули – и в Феодосии, и здесь, в Севастополе. Не дали землю нашу топтать.

А завтра – хватит ли сил, когда мы уйдём? Молодёжь-то не будет так биться за правду. Нет стержня у неё, внутренних сил – не достаёт. И правды не знают.

И вдруг он громко засмеялся:

– Ты знаешь, я сам сегодня прочитал. Очень понравилось, как ответила Солженицыну Анна Ахматова, прочитав его вирши: «Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пишете. Не ваше это».

– Так он так на неё разобиделся, что даже след оставил – сильно негодовал, что она ничего из его творений не прочитала. Слышишь, не прочитала говорит, а то, что такую отповедь дала, молчит, не говорит, поганец эдакий.

Разговор наш завершился. Было видно, что устал мой собеседник.

– Ну, сынок, давай по последней, да пойду я. Мать-то одна, старая уже, волноваться будет. И так загулялся, с тобой.

– Я провожу, отец, не волнуйся.

И когда мы – допили графинчик, доели всю барабольку, он напоследок, сказал:

– Большой грех на себя взяла ваша власть. И церковь – похоронив его со святым человеком рядом. Его бы – возле Деникина. Там ведь тоже прах его, окаанный, лежит в Донской церкви. Ты, я полагаю, знаешь это.

– Знаю, отец.

– Вот Деникину – он приятель. Единомышленник. А так – Ключевского очень жаль. Маяться и на том свете будет, от соседства с иудой.

И проводив старого солдата до квартиры, я возвращался в гостиницу и думал:

«Не мои слова, но, как же прав великий сын России, говоривший, хотя и по другому поводу: «Что это такое – предательство? Нет, это гораздо хуже. Это глупость».

Вот и я думаю, какая же это глупость пытаться насильно заставить народ чтить Солженицына. Не будут. И никаким указом не заставишь, никакой премией не соблазнишь.

Неужели забыли о фильме «Покаяние»? Придут другие времена – и этого литературного власовца сам народ выроет из могилы и выбросит на свалку истории. А уж из своей памяти – это точно. Не сможет он там задержаться.

Разве можно в святом месте хоронить врагов России? И у меня, как у представителя народа, разве спросили – где место праху Солженицына, Деникина, Каппеля?

Почему эти вопросы, за нас, решает один Михалков, да его подельник – Швыдкой?

Разве они – совесть нации, а не этот, встретившийся мне случайно, герой-фронтовик?

Такие вопросы ни в одном высоком кабинете, без воли народа, не решаются.

Закладываем ведь фундамент в завтрашнюю, будущую жизнь. В души людские. А ну, как пророки будут ложными, немилосердными к своему народу, что тогда будет? Какая вера наступит?

И как власть не боится вверять будущее своей страны, наконец, своих детей, тем, кто на таких ложных ценностях воспитан? Они же не выдержат испытаний и предадут в любую минуту, так как кумиры, которым их обязывали поклоняться, рассыплются в прах, при первой же житейской буре.

С порчей, неразборчивостью мировоззренческой, они служить России не будут. Не смогут.

Оставят окопы и убегут. Или, как Солженицын, предадут, но бороться, ценой своей жизни, за Отечество, не будут.

И как верно сказал старый солдат: «Знамёна-то у нас новые, да знаменосцы – старые. Уже подводили, обманывали народ. Кто же за ними пойдёт на смерть, когда надо будет умереть за державу?».

*Любить – значит жить
не для себя, а для того,
кого любишь.*

И. Владиславлев

ПОСЁЛОК ПРОКАЖЁННЫХ

Меня всю жизнь сопровождала эта история. Она будоражила моё сознание и не давала забыться ни на один миг.

Не доезжая Ласпи, красивейшего места у моря, по дороге на Севастополь, всегда, сколько я и помню, был какой-то нелюдимый посёлок.

Дома были серыми, давно, видать, уже не ремонтировались и даже не обновлялись их фасады. Но самое странное – я никогда не видел в этих домах ни единого признака жизни.

От дороги их отделял сетчатый забор и я никогда не видел, чтобы хоть одна машина останавливалась у этого мрачного посёлка, а спросить у кого-либо о его тайне, мне так и не удавалось в годы юности.

И уже в наши дни, проезжая мимо этого посёлка, мне нестерпимо захотелось пить и я, увидев колонку за забором, у которого временно была снята секция, над ней колдовал что-то сварщик, остановил машину, взял пустую пластиковую бутылку и пошёл к ней в надежде наполнить живительной влагой свою посудину.

Только я включил воду – неведомо откуда выскочила необычайной красоты девушка, это я заметил сразу, и ногой выбила у меня бутылку из рук, с диким воплем:

– Не смей, не пей эту воду, её нельзя пить вам, нормальным людям.

Я пораился. Оглядывая красавицу, я заметил сразу её ослепительную, просто даже неестественную красоту, которой залюбовался – если Господь создал совершенство, без любого изъяна, то оно было предомноу.

Миндалевидные глаза пылали, яркие иссиня-чёрные волосы обрамляли столь очаровательное лицо, что я даже задохнулся от его совершенного вида.

Необъяснимым и неестественным в ней было одно, но это я заметил несколько позже – руки, которые были до локтя затянуты в грубые, полотняные перчатки, из такой же ткани – грубой и так ей не идущей, был и шарф, который наглухо закрывал её шею.

– Милая красавица, – несколько растерянно сказал я, – а что же я такого предосудительного сделал, что ты мне не позволила набрать воды?

Она даже не ответила мне, а как-то недоумённо простонала:

– Вы – не местный? Вы не знаете, что это – посёлок прокажённых? Проказа не лечится и Вам нельзя даже говорить со мной. Это очень опасно.

Я, как-то нервически, засмеялся. И ответил ей, несколько даже бравируя:

– Милая девушка, после Афганистана – я не боюсь никакой заразы. И не тревожьтесь за меня.

Это не было дешёвым фрондерством, беспечностью. Нет, я именно из Афганистана знал, об этом мне поведала старая русская женщина, которая была смотрительницей в таком посёлке несчастных прокажённых, в котором мне пришлось побывать, что мне не надо страшиться этой беды.

– У тебя в роду, – сказала она, – была ведунья. Скорее всего – твоя бабушка и она оставила тебе в наследство неприятие даже этой страшной и неизлечимой болезни.

– Поэтому – не бойся никогда, можешь даже есть и пить с прокажёнными из одной тарелки и чашки, к тебе эта беда не пристанет.

Но я в ту пору этим словам никакого значения не придавал. И только сегодня, по случаю, они мне вспомнились.

И я, излишне игриво, даже с бравадой, заявил красавице:

– Милая девушка! Я не боюсь этой заразы. Я от неё защищён.

Поэтому – не волнуйся и не переживай за меня, – и я уже смело, испытующе, скорее для неё, пребывающей в полной растерянности, взял её руку в грубой перчатке и поцеловал её длинные красивые пальцы.

Она от ужаса вся сжалась и посмотрела на меня, как на умалишённого:

– Не искушай судьбы и никогда не бравируй этим, – наконец обратила она ко мне свои бездонные очи, обретя дар речи.

В это время за забором появилась всклокоченная голова мужчины, в возрасте, с седой бородой, давно нечёсаной и неопрятной и раздался полный ярости и угрозы голос:

– Марина! Я сколько раз тебя буду предупреждать? Для нас нет жизни за этим забором! Ты что, хочешь, чтобы нас всех выселили отсюда? На Север, в мерзлоту? Ты же знаешь, что это не пустые угрозы. Нас постоянно об этом предупреждают. А ну-ка, домой, немедленно!

Девушка сразу же поникла и стала уходить от меня в сторону мрачного дома. Только минуту назад – на её лице появилась такая сила жизни, что она стала ещё краше, хотя для неё уже не надо было раздвигать пределы очарования и так.

Она была просто ослепительна.

А сейчас, за один миг, на её лицо вернулась маска скорби и страшной утраты, невосполнимой. Она даже сгорбилась, что совершенно не шло ей и делало её гораздо старше, даже – как-то старее за меня, на целую жизнь.

Не знаю, какими чувствами я был движим в этот миг, но я бросился за ней, благо, её повелитель скрылся за забором, будучи совершенно уверенным, что его власть – абсолютная над ней и она не посмеет его ни при каких обстоятельствах ослушаться.

В порыве необъяснимого чувства я схватил её за руку и, странное дело, она её не вырывала из моих рук, и тихо ей сказал:

– Прошу тебя, я вечером, как только стемнеет, буду на этом месте. Выйдешь?

Она, вздрогнув как от удара, повернулась ко мне, и из её глаз полились, сплошным ручьём, крупные слёзы:

– Господи, ты хоть знаешь, что говоришь? Не искушай судьбу и не буди дьявола, пока он спит. Прощай...

И она, уже быстро, заспешила к калитке.

Но я успел ещё раз ей сказать:

– Прошу тебя, я буду очень ждать. Выйди вечером... Непременно.

Не знаю, что мною руководило. Но я знал уже определённо, если не увижу её ещё хотя бы раз – жить не смогу.

Какой-то внутренний голос мне просто приказывал поступить именно так.

Тем более, что я никого при этом не делал несчастным, никому не изменял.

Так сложилось, что та, которая должна была стать судьбой, которую я, в молодости, любил святой и чистой юношеской любовью, поддавалась на уговоры состоятельных и имеющих власть родителей и не посмела преступить чрез их волю.

Более того, удачно, по определению её матери, которую я случайно встретил в Минске – и хотел бы, так не придумаете такого, через столько лет встретить того человека, который стал на пути моей судьбы – Ольга Бычкова, так звали мою единственную любовь, вышла замуж и у неё двое детей. Она счастлива, работает в университете.

Не сдержалась эта суровая, всегда, женщина и добавила:

– Не мешайте ей, прошу Вас.

Так я и остался, не смотря на свои уже немолодые лета, одиноким...

Господи, с каким нетерпением я ждал этого вечера.

Сестра, в Севастополе, с тревогой вглядывалась в моё лицо.

Моё состояние, возбуждённое и даже несколько истеричное, что мне было несвойственно, тревожило её, как врача и как просто родного и близкого мне человека.

А уж когда я, без долгих объяснений, молча собрался уезжать, на ночь глядя, она встревожилась не на шутку:

– Ну, что, скажи, что тебе не даёт покоя?

И зная мою трагедию жизни в деталях – всё норовила мне устроить судьбу и представляла своих незамужних, а чаще – разведённых приятельниц, о которых можно было только и сказать, что все они были прекрасны, но моего сердца ни одна из них так и не затронула, так как я видел, как загорались их глаза, когда они узнавали, что брат их подруги – генерал, к тому же – Герой Советского Союза, служит в прекрасном городе, имеет хорошую квартиру.

Всё иное в расчёт уже не принималось, вроде, генерал мог, по определению, быть ещё и желанной судьбой. Любить и быть любимым.

Поэтому и сегодня она сказала:

– Как же ты уедешь, я ведь пригласила на ужин Татьяну, – вроде мне что-либо говорило имя этой очередной несчастной женщины, которую мне сестра прочила в спутницы жизни.

– Спасибо, родная моя, но у меня действительно очень важное дело. Завтра буду. А сейчас – прости, я должен ехать.

Сумерки уже размыли очертания домов, море едва виднелось в них и только Луна, высеребрив дорожку по водной глади, освещала всё вокруг и обращала в какие-то мифические видения привычную днём картину.

За Севастополем темень сгустилась. Но я гнал машину на предельно возможной скорости. И, вскоре, проскочил Ласпи, наверное, впервые в жизни, перекрестившись на придорожную, у могучей скалы, справа, церковь-часовню, которая так мне всегда нравилась и я всегда останавливался возле неё.

Выключив фары, на малых оборотах двигателя я подъехал к тому месту, где был сегодня днём и остановился.

Без звука открыл дверцу, так же, без звука, выбравшись из машины, её закрыл.

Закурил и тщательно пряча огонёк сигареты в руке, жадно затянулся

Минуло несколько минут. Тишина вокруг стояла такая оглушительная, что даже немело всё настороженное и напряжённое тело.

В голове гулко отдавался каждый удар сердца. И оно, впервые в жизни, ныло от непривычной и неизведанной тупой боли.

«Господи, что же это такое происходит со мной? Что я, как юнкер какой-то, – волнуясь, идя на первое свидание к барышне. В Афганистане так не волновался и не переживал».

И вдруг, я услышал осторожные шаги.

Через минуту возле меня остановилась тень, на лице которой лишь ярко и лихорадочно блестели в лунном свете бездонные глаза.

Не говоря ей ни слова, даже не заметив, что она была в необычайно красивом платье, с розами на коралловом поле, я крепко обнял её и стал, иступлённо, целовать в губы, глаза, щёки, волосы.

Она вся, доверчиво повиснув на моих руках, даже застонала.

Но, уже через минуту опомнилась и тихо, со страшной тревогой и горечью в голосе, в ужасе, который даже не способна была скрыть, еле слышно произнесла:

– Что же ты делаешь, глупый? Неужели ты не понимаешь, что я проклята? Мне и свою долю тяжело нести, а теперь – и за тебя переживать.

Ты же неотвратно... заразился. Нормальные люди нас стороной обходят...

И она горько заплакала.

Я крепко обнял её и сильно прижал к себе. Заглядывая в бездонные очи сказал:

– Милая моя, хорошая, родная, самая светлая и близкая мне отныне. Ты не думай, я не сумасшедший. Но только так и бывает настоящее. Единственный раз в жизни. Не тревожься за меня. Всё будет хорошо. И не смей больше о своей болезни говорить. Она меня нисколько не тревожит. Её нет у тебя. Запомни! – это я уже почти кричал, забыв об осторожности.

– Я не знаю, что со мной происходит, но знаю твёрдо одно, что жить без тебя я не смогу. И не хочу.

Мы будем с тобой счастливы, родная моя.

И я снова привлёк её к себе и страстно целовал её свежие и тугие губы.

И она стала отвечать мне, жарко дыша в лицо, необычайным ароматом трав, свежести.

Её поцелуи становились всё требовательнее и страстней.

И когда я поднял её на руках, она только доверчиво прильнула к моей груди и уже больше ничего не говорила.

Какая это была ночь. Я даже не знал, что таким может быть счастье.

Моя душа так стремилась к ней, так взрывалась нежностью, сладостным ощущением этого незабвенного тела, что я забыл и о времени, и о своём возрасте – уже ведь за сорок минуло и о грядущем будущем.

Утром, на заре, которая стала разливаться над морем, откинув голову в сторону, она, со слезами в голосе, простонала:

– Что же это было? Родной мой, ты понимаешь, что произошло?

Всё моё лицо было в её слезах, а она, жарко целуя меня, всё причитала:

– Зачем я тебе, отверженная и проклятая?

Вскинулась, как подбитая птица и взмолилась, подняв голову вверх:

– Но, но... если меня слышит Господь, как же я – счастлива. Я знаю, я чувствую, что я любима тобой. И если ты, несмотря на моё проклятье, отдал мне свою любовь – знай, что нет жертвы, которую я бы не принесла в твою честь.

И она рассказала мне свою печальную и страшную историю.

Она работала учительницей в Ялте. Двадцать шесть лет от роду.

Была большая любовь с молодым офицером. Но пожениться они не успели: его, как и меня, забрали на афганскую войну и он в первый же день пребывания там, погиб.

Её потрясение было столь большим и страшным, что к ней, вроде и беспричинно совсем, пристала эта зараза.

И когда ей открылось её горе, она хотела наложить на себя руки, но соседи спасли, а врачи же, узнав о её страшной болезни, сослали в этот посёлок, где и размещался лепрозорий. Уже четыре года минуло как она здесь.

Даже работает в школе, где одна, на все предметы, учит детишек этих несчастных людей, которые тоже несут в себе печать этой страшной и неизлечимой беды.

Печально улыбнувшись, сказала мне, пронзительно глядя в глаза:

– А мне цыганка, ещё в прошлом году, есть у нас такая же несчастная, нагадала, что я встречу своё счастье и что мой избранник будет военным.

– Видишь, ошиблась в своём пророчестве цыганка. Ты же не военный?

– Нет, моя хорошая, не ошиблась твоя цыганка. Я – военный и даже – генерал.

Она неподдельно изумилась и вся зашлась краской неведомого для меня смущения:

– Ты – генерал? Что-то ты очень молод ещё для генерала. Да и... разве возможно такое, с генералом, – и она покраснев ещё гуще, стала оправлять своё яркое и нарядное платье.

– Поверь, милая моя, это правда. Или мне удостоверение показать?

Она всем телом, теснее прижалась ко мне и нежно прошептала:

– Не надо, я верю. А потом – какое это имеет значение, кто ты? Ты отдал мне свою душу, свою любовь, наделил таким высоким счастьем, что теперь – уже совершенно не важно, кто ты, родной мой, счастье моё. Жаль, что очень короткое...

Откинувшись на спину, застонала, да так, что у меня мороз прошёл по коже – сколько в этом стоне было отчаяния и боли:

– Господи, если бы я только могла... какой бы я была тебе... хорошей женой.

И она, уже не сдерживаясь, заплакала навзрыд. Плакала тяжело и долго.

– Я так люблю тебя, мой родной, – говорила она сквозь слёзы.

– Я так тебя люблю, но знаю, что у наших отношений нет будущего. Мы все здесь – приговорены злым роком. Не знаю, за что меня Господь так наказал или... вознаградил... встречей с тобой? Я ведь никому ничего дурного в жизни не сделала... Старалась только добром отвечать всем... И нести добро по всей жизни в своём сердце.

И она снова горько зарыдала.

– Милая моя, родная! Я всё сделаю, всё, что возможно, всё, что в силах человеческих, чтобы спасти тебя и быть с тобою вместе.

Она благодарно ответила нежным поцелуем и просто сказала:

– Я знаю, я верю тебе, мой хороший. Только ты не знаешь, как суровы наши внутренние законы и запреты.

Тяжело вздохнула и продолжила:

– Наши, если узнают, просто убьют меня. Мы ведь все здесь вне закона и давно ведётся речь о том, чтобы всех нас выселить в Заполярье, если только будем нарушать установленные запреты. Нас стерегут так, как, наверное, не стерегли узников концлагерей.

Господи, с какой же болью, с какой душевной мукой она уходила от меня.

Несколько раз возвращалась ко мне с полдороги, страстно целовала и вновь намеревалась уйти. Но сил на это не хватало.

– Милый мой! Любимый, единственный мой! Я ни за что тебя не осужу. И если ты меня оставишь – я всю жизнь буду молить Господа о твоём благополучии и здоровье.

Закрыв своей ладонью мне губы, чтобы я не возражал, твёрдо проговорила:

– Более того, молю тебя даже – забудь меня и прости – за моё беспутство. Так, видно, было угодно Господу, чтобы мы встретились.

И она скрылась в утренних сумерках, отказавшись, напрочь, от моего мобильного телефона, который я ей хотел вручить для связи:

– Не надо, светлый мой. Не надо. Я ведь и так буду тебя ждать каждый день, всю свою жизнь. А с телефоном – мне будет тяжелее осознать, что ты так близко. Но – недосыгаемо для меня.

Прильнула ко мне и страстно выдохнула:

– Не тревожься, я почувствую, если ты – появишься и... захочешь видеть меня.

И тут же, с глубокой грустью:

– Прощай, родной мой!

Отошла на несколько шагов, повернулась ко мне и не сдержавшись, уже в последний раз, бегом вернулась ко мне и неожиданно сказала:

– Покажи мне своё удостоверение. Для меня, я верю тебе, счастье моё, но для меня, а то – я никогда себе не поверю, что всем сердцем полюбила ... генерала. И гадание цыганки, опять же...

Я, с улыбкой, достал из кармана пиджака своё удостоверение, протянул ей и внимательно наблюдал за ней при этом.

Какой высокое счастье осветило её и так прекрасное лицо, когда она, долго рассматривая фотографию на первом развороте удостоверения, перевернула его на следующую страницу и вслух прочитала:

«Предъявитель сего генерал-майор Владиславлев Святослав Вячеславович первый заместитель командующего танковой армией».

– Как я счастлива, спасибо, мой родной, – сказала она, возвращая мне удостоверение и крепко, при этом, меня поцеловала.

И тут же скрылась за поворотом...

Я, выехав на пустынный берег моря, не себя ради, о себе я не думал, а лишь для безопасности сестры и её семейства, сжёг всю одежду, в которой был, выкупался в море и переодевшись в спортивный костюм, который был у меня всегда в машине, перед этим сдёрнув со своего сидения чехол и отправив его на костёр, неспешно поехал, обратно в Севастополь.

Сестра поняла, что со мной происходит что-то из ряда вон выходящее и не тревожила меня в этот вечер. Оставила в покое.

А назавтра, безжалостная и суровая судьба, мало считающаяся с нами и нашими желаниями, внесла во всю эту историю свои коррективы.

Телеграммой, за подписью начальника Генерального штаба, я был отозван из отпуска и тут же улетел в Афганистан.

И жалел, и сокрушался об одном, что она, моё неожиданное счастье и моя судьба, это я теперь уже знал точно, не взяла мой телефон.

Иным путём я известить её не мог и лишь попросил сестру, она работала в республиканской клинике, известить по медицинским каналам, в посёлке прокажённых, под Ласпи, Марину, учительницу, что я срочно улетел на службу. И непременно передать, что, как только завершится моя командировка, я сразу приеду за ней.

Я так и сказал сестре – за ней, а не к ней.

Сестра, в ужасе, посмотрела на меня и я даже не знаю до сих пор, выполнила ли она моё поручение и мою просьбу.

В недобрые дни, в сей раз, я появился в Афганистане. Уже в пятый раз.

Дивизия, с должности комдива которой я был назначен первым заместителем командующего армией, понесла тяжёлые потери в Хостинской операции. И начальник Генерального штаба, глубокочтимый мною Михаил Петрович Калейников, в беседе со мною сказал прямо, как он это делал всегда:

– Выправишь положение – командующим армией пойдёшь. С министром я это оговорил. Вот директива о твоих полномочиях. Комдива, твоего преемника, мы от должности отстранили, идёт следствие. Дивизию я подчиняю себе напрямую, минуя Громадова.

Перехватив мою улыбку, он как-то ворчливо, так не говорил никогда со мной, сказал:

– А ты не радуйся, думаешь, легче будет? Я с тебя спрошу за всё.

И уже по-отечески, тепло и сердечно завершил:

– Главное, восстанови веру у людей, это самое главное. Видишь, до чего дожил твой преемник, слава Богу, что хоть не ты его рекомендовал: чтобы скрыть следы преступления – торговлю оружием и боеприпасами с бандитами, представил к орденам шестерых своих мерзавцев, которые, за делёжкой денег, перестреляли друг друга. Героев из них сделал Барыкин, да и хотел спрятаться за академию Генерального штаба,

Затянулся сигаретой и продолжил, пододвинув пачку ко мне:

– Поэтому разгребать тебе придётся много неблагоприятных поступков, но там ещё много офицеров, которые были с тобой и я верю, что ты справишься. Люди всегда шли за тобой и верили тебе. Храни тебя, Господь! Знаю, неправильно поступаю, искушаю судьбу, уже в пятый раз тебя за речку отправляю, да что поделаешь?

Уже через два часа я был в самолёте...

Три месяца изнуряющего труда принесли свои результаты.

Положение дел в дивизии было выправлено, заслуживающие того мерзавцы преданы в руки армейского правосудия, не остался в стороне и сам главный

виновник позорнейшего преступления, был отчислен из академии Генерального штаба и осужден.

Михаил Петрович, святая душа, добился отмены указов президента о награждении лихоимцев и преступников.

И я стал собираться домой, надеясь, что больше в этот край уже не попаду. Даже получил известие, что новый комдив уже назначен и через несколько дней прилетит в дивизию. Да и начинался вывод наших войск из Афганистана.

В добром расположении духа я летел в Джелалабад, проститься с моим другом и старинным товарищем Львом Рохлиным, который там командовал мотострелковой бригадой.

К слову, пострадал за Барыкина не будучи ни в чём виноватым, но был снят с должности первого заместителя комдива и назначен на бригаду. Вроде бы, сильно и не обидели, должность равноценная, но всё же – следок какой-то двусмысленности – так и остался. И дорога на дивизию, которой он заслуживал, была ему закрыта. И только уже после Афганистана помилуют и он станет командиром Гянжинской дивизии в Закавказье, в буремном в ту пору Азербайджане.

Ну, да это к слову...

Удара я не почувствовал, но вертолёт как-то взвыл двигателями и стал стремительно заваливаться вправо.

– Всё, – спокойно сказал пожилой механик, с которым мы только что разговаривали, – отлетались, товарищ генерал...

Через несколько секунд – раздался взрыв, затем в подбитый вертолёт ударила тугая струя пуль из крупнокалиберного пулемёта, а больше я ничего не помнил...

Долгое время был в небытии. Но и в этот раз судьба была милостивой ко мне. Врачи, а может моё стремление к Ней, к Марине, свершили чудо и я стал медленно выздоравливать.

Правда, не верил и сам, придя в чувство, что с момента моего ранения минуло целых пять месяцев...

Вскоре был переправлен, бортом, в Москву и довершал лечение в госпитале имени Бурденко, в Лефортово.

Долго не мог ходить. И как только стал на ноги, попросил путёвку в Крым, в санаторий и в тот же день улетел к родным для меня местам.

Именно из Крыма я ушёл в военное училище, там же упокоились мои родители, завершив, до срока – умерли ещё совсем не старыми – все свои дела на этой земле. Тут же, в Симферополе, жили мои две младшие сестры.

Но, конечно, не это в эти дни было главным. Моё сердце рвалось к Марине и только её, единственную, я хотел видеть и объяснить ей причину моего такого долгого молчания.

Сразу же, в аэропорту Симферополя, я взял такси и поехал в сторону Севастополя, не вступая даже с водителем ни в какие разговоры,

который с пониманием смотрел на мою трость и на Звезду Героя на моём строгом пиджаке.

Выйдя из машины прямо на шоссе, до поворота в посёлок прокажённых, я щедро расплатился с водителем, смотревшем на меня с недоумением и даже каким-то страхом и медленно пошёл к ограде этого страшного места.

Водитель, привезший меня сюда, долго не трогался с места и я чувствовал – смотрел неотрывно мне в спину. Здесь идти больше было некуда, кроме, как к мрачным, проржавленным воротам, отгораживающим от мира это место, пользующееся дурной славой у всех местных жителей.

И как только он убедился, что я именно к ним и направился, он рванул с места так, что машина даже взвыла и чуть не заглохла.

Ни души не видел я за забором, но чувствовал, что называется – кожей, что за мной наблюдают не одни глаза.

Я сел у ворот, прямо на асфальт и жадно, дрожащими руками, прикурил.

Где-то через добрый десяток минут надо мной раздался грубый и крайне недоброжелательный голос:

– Что тебе надо? Ты чего повадился к нам? Или – не ты – такую беду сотворил? Ты хоть знаешь, что здесь произошло?

Я поднялся на ноги и молча смотрел на того страшного человека, который встретился мне и в ту давнюю встречу с Мариной. Он стоял на какой-то ступеньке и говорил со мной, перевесившись через забор.

– Прошу тебя, – обратился я к нему, – позови Марину. Не бойся, я не подвержен вашей болезни. Но я должен её увидеть и всё объяснить.

– Её, – перебил он меня, – если бы я и очень захотел, то не смог бы позвать к тебе. Поэтому – иди, мил человек, своей дорогой и оставь нас в покое. Всё, что ты смог – ты уже сделал...

Не понимая, о чём он говорит и наивно полагая, что его разжалоблю, коротко рассказал ему историю своего долгого отсутствия и испытаний, которые пришлось перенести за минувший год. Да и сейчас – я еле стоял, опираясь на трость.

Он слушал меня, не перебивая, а затем буркнул, но уже без злобы:

– Я верю тебе. А это правда, Марина говорила, что ты – генерал?

– Да, это правда и даже видишь, – я указал на Звезду Героя, которая была на моём пиджаке.

Не знаю, почему я его так назвал, но обратился к нему именно так:

– Пусти меня, вожак, к ней. Я не могу без неё, я жить не могу без неё.

А за меня – не бойся. Я не подвержен проказе, цыганка сказала. Бабушка у меня знаменитой знахаркой была.

Он, сторожко оглянувшись во все стороны и открыл мне калитку. Затем, без слов, повёл за собой по узкой улочке к дому, понаряднее и поопрятнее других.

– Заходи, коли не боишься, – и открыл входную дверь в подъезд. Я зашёл, следом за ним, в просторную комнату, в которой была лишь самодельная, из досок, мебель.

Он молча, указал на скамейку у стола, на которую я и присел.

Не говоря мне ни слова, он достал упаковку разовых стаканов, так же молча передал мне, указав глазами, чтобы я вскрыл её сам, вынул из шкафчика бутылку водки, налил, не касаясь горлышком бутылки края моего стакана, его доверху, алюминиевую кружку себе, тоже до краёв и глухо, с непонятной для меня жалостью глядя на меня, произнёс:

– Верю теперь всему, что она о тебе говорила, – и слёзы полились у него из глаз

– Дочерью мне была, ты не думай, что я зверь какой-то.

– Но, – и он зашёлся в рыданиях, – не стало... голубки нашей.

Нету, Мариночки больше, генерал. А я тебе и могилки её не могу показать, предъявить не могу... Сжигают нас, ежели что... Если кого Господь призывает на свой суд.

Я закачался за столом и глухо застонал.

Жизнь потеряла для меня весь смысл и я уже больше ни о чём не хотел с ним говорить. Пройдя, как мне казалось, через всё, накупавшись в крови, в том числе – и своей, я думал, что ничто меня уже так не поразит и не ударит в сердце.

А сейчас – оно остановилось, тяжело, утратив все силы, едва провернуло кровь в жилах и я даже успел подумать:

«Господи, закончи всё в этот миг. Не хочу больше жить и цепляться даже за жизнь. Зачем, коль не стало Её».

Он увидел моё состояние и ласково – дотронулся рукой, в таких же страшных перчатках из холстины, которые я видел в тот единственный день и на Марине, до моего плеча:

– Подожди, мил человек. Это ведь не всё. Из жизни она ушла добровольно, сама на себя руки наложила, когда у неё забрали дочку, которую от тебя родила. Она и не таилась предо мной и прямо сказала, кто отец девочки. Хорошенькая такая, очень на тебя похожа, глаза только Марины. Я её – единственный раз и видел.

Тяжко задышал, с трудом справился с собой и продолжил:

– Только у нас её – сразу забрали. Где она и что с нею – сказать не могу.

Слёзы полились у него из глаз, но он нашёл в себе силы и закончил мысль:

– Я вижу, с совестью ты человек, поэтому – ты уж сам как-то разыщи её, генералу не посмеют перечить и отказать. Вот и Мариночки душа успокоится, если она будет знать, что ваша дочь-то не по приютам мыкает сиротскую долю...

И уже тревожно, с болью добавил:

– Или ты... по-другому, мыслишь поступить? Ты скажи прямо, я уже ко всему привычный, ничему не удивлюсь... Да и право имеешь...

После тяжёлой минуты молчания, когда он сострадательно-участливо, но вместе с тем – и отстранёно смотрел мне в глаза испытующим взглядом, я, опрокинув свой стакан водки в рот, но при этом не почувствовав даже её вкуса, твёрдо ему сказал:

– Ты, отец, не сомневайся, я сделаю всё, но дочь будет со мной. И тебя об этом извещу непременно, ты не волнуйся.

Он так же молча, выплеснул свою кружку водки в рот, разлил остаток – на двоих поровну и сказал:

– Спасибо, сынок. А я и знал, что Мариночка не может – абы с кем связать свою судьбу. Слава Богу, что Господь так распорядился и она узнала, что такое счастье – и женщины любимой, и матери... Она тебе, сынок, верила безоглядно, ты это знай. Я, бывало, напущусь на неё, а она говорит:

«Ты же не знаешь его. Значит, не в его власти меня известить. Если жив – он нас не оставит».

– Это она к тому, что живот уже был виден и как она сияла при этом, вынашивая ребёночка. Это была самая счастливая пора в её жизни.

Плечи его стали содрогаться от рыданий:

– И даже... задумав такое... она, сынок, не попрекала тебя, а всё говорила, что с тобой что-то приключилось страшное, что ты не можешь быть с ней. Но она верила и знала, она мне так и говорила: «Я знаю, я знаю, что как только он сможет – он будет здесь. И не смей ему не верить».

– И я вижу теперь, как она была права, а я её – и корил ещё за всё произошедшее, – и он горько, навзрыд, заплакал.

Мы допили с ним водку и я уехал в Симферополь, остановив попутную машину, уверив этого несчастного, что буду постоянно держать в курсе всех дел, связанных с поиском дочери.

К сёстрам я в этот раз не заезжал.

Не буду описывать всех хождений по инстанциям, но через три дня я уже летел в Москву, держа на руках белоснежный комок, в котором ворочалась и попискивала моя дочь. Наша, с Мариной, долгожданная и выстраданная дочь.

Минуло тому много лет.

Я уже давно оставил службу, стал седым, рано, как лунь.

И только моя сухопарая, почти юношеская фигура, всё ещё тревожила многих окрестных дам, которые так и не могли понять, как мужчина, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, уже двадцать лет живёт один в загородном доме и всю свою жизнь посвятил воспитанию дочери.

Смирились и мои сёстры с этим и уже больше не знакомили меня с претендентками на удачное, по их мнению, замужество.

Мы с дочерью часто у них бываем и они, радушно и тепло, после оторопи первых лет, нас принимают и привечают.

Шумных компаний у меня за эти годы никогда не было, но друзья, старинные сослуживцы, приезжали часто.

И я всегда этому был очень рад и оживал, как говорила моя дочь Виктория, которая уже училась на третьем курсе мединститута – на глазах, поднимаясь, наконец-то, из-за письменного стола, который всегда был завален рукописями моих новых книг.

Много работал в области истории белого движения и внимательные читатели, с удивлением, открыли новое литературное имя и уже ждали выхода моих новых книг.

А сегодня у меня был большой праздник. Моей дочери исполнилось двадцать лет. Она, как и любая девушка, с заметным волнением ожидала эту особую дату в своей жизни.

Мои стародавние друзья, а новых – я что-то так и не завёл, с жёнами и детьми, приятели и однокурсники дочери, заполонили всю нашу усадьбу.

Автобус, который я нанял, подвозил и подвозил от очередной электрички гостей, а многие прибывали и на своих машинах, выстроив их в длинную колонну по всей улице посёлка, что вызвало неподдельный интерес у моих соседей, которые за долгие годы ко мне привыкли и никогда не видели у меня подобного столпотворения.

Всех гостей, которые заходили в просторный и уютный дом, встречали два больших портрета на стене, совершенно похожих, словно близнецы, молодых женщин.

Младшая смотрела на мир широко распахнутыми, от счастья, глазами и на её челе не читалось никаких горестных раздумий.

Глаза старшей – были обращены только ко мне и в них я всегда черпал силу и вдохновение.

И только я один, тысячи и тысячи раз, слышал обращённое – лишь ко мне:

«Родной мой! Ты не скорби. Не надо. Мы за столь короткое время испытали такое счастье, что иным оно за всю долгую жизнь не явится.

Я люблю тебя. Я люблю тебя за то, что ты есть, за то, что ты вырастил нашу дочь человеком светлым и достойным.

Мне всё об этом рассказал мой названный отец, которому ты регулярно писал, до его последнего дня помогал. Только он тебе не мог ответить, по известным тебе обстоятельствам.

Спасибо и за него, он тоже тебя любил и совершенно по-иному стал и свою жизнь оценивать и всё говорил – всем, что и ему, Господь послал великое счастье быть дедом.

Не спеши только, родной мой, ко мне.

У тебя ещё столько дел на этом, твоём свете. Разреши их все, на что Господь сил пошлёт.

А я... я буду ждать тебя.

Но ты только не спеши.

Разве способна моя смерть разлучить нас, если бессмертны наши любящие души, если мы жили и всё это время живём только друг другом и друг для друга?

Если мы созданы друг для друга.

Спасибо, мой родной, за дарованное тобой высокое счастье».

За всё в жизни надо платить.

И самую страшную плату

взимает дьявол за проданную душу.

Она уже никогда

не будет знать покоя и любви.

И. Владиславлев

РАСПЛАТА

Он вырос в этом маленьком южном городке, который примостился на самом берегу Азовского моря, в степной зоне Крыма.

Хорошо помнил, как им гордились и родители, и одноклассники.

Он, единственный из школы, за всю историю её существования, стал генералом, Героем Советского Союза.

В школе был оборудован музей его имени, даже улицу – в двенадцать домов, где он родился и рос до военного училища, городской сход порешил переименовать и дать ей его имя.

Поэтому всех огорошила и потрясла та давняя история, произошедшая с ним в далёкой столице, которая к этому времени уже и не была единой столицей Великого Отечества, за которое отец его, фронтовик, да и он сам – пролили немало крови. Сегодня она была столицей лишь далёкой и чужой для многих России, которая рассеяла своих детей по миру, да и бросила на произвол судьбы.

Эту историю знал в городке каждый и приезжим землякам рассказывал не так, как ведают из ряда вон выходящие приключения, события, а с болью и глубокой личной горечью.

Все его понимали, жалели и... не судили.

И был он для всех жителей городка родным и желанным и тем острее пронзала всех эта боль – в пересказах и, непременно при этом –

искажениях, добавлениях, страстях – всего его многочисленного и дружного родства.

Только сестёр было три, да брат старший.

И вот эту историю мы и попробуем поведать так, как слышали её от младшей сестры его, которую он очень любил и которая врачевала людские болести в клинике республиканского центра.

Он застрелил её на глазах у всех. Прямо в палате госпиталя.

Не картинно, как это делают паяцы, стараясь утратить и заставить каяться ту, из-за которой и идут на этот роковой шаг, а избавляя её от греха великого, предательства и ответственности за его судьбу и его детей и, особенно, от ненависти, унижающей презрительной жалости и лжи.

Их счастьем завидовали все. И только одна старенькая бабушка, которая его любила сильнее, чем даже своих детей, осеняла его в спину, когда уходил, крестным знаменем и шептала уже совсем вылинявшими от старости губами, в глубоких поперечных морщинах:

– Господи! Сохрани и помилуй его, дитя моё святое. Сердцем чувствую, не к добру эта любовь. Не принесёт она ему счастья.

И тяжело вздыхала при этом:

– Не для доброй судьбы Господь её послал, не сможет она нести крест жены в скромности и послушании, бродит дурная кровь, не скоро перегорит... и утомонится.

И, когда старенькая Анна Романовна случайно, у самого берега моря, встретила её с каким-то приезжим поздним вечером, в почти расстёгнутом халатике, полыхающую дурной страстью, не побоялась, подошла по утру и, глядя ей прямо в глаза, сказала:

– Не мутит родник-то, оставь ты его, голубиную душу. Ты ведь и себе не даёшь отчёта – зачем он тебе?

Нехорошо засмеялась та, презрительно измерила тяжёлым взглядом бабушку, да и сквозь смехок, похотливый и подленький, процедила сквозь зубы:

– Тебе, старая, от беспамятства что-то кажется-вержется. Помирать уже давно пора, а ты за мной по пятам волочишься, вынюхиваешь всё. Всё печёшься – за своего любимца. Кто тебе поверит?

И очень зло, переходя на визг, довершила:

– А будешь лаять, как шавка шелудивая, дверь в доме подопру и спалю, запомни. Иди отсюда, чтоб я тебя больше и не встречала.

Бабушка попыталась переговорить с ним, но он только отмахнулся и сказал:

– Ба, родная моя, ты не видишь, ты не знаешь, что только она и есть моя судьба. Иной не надо, да и не приму я иной.

И было отчего – ему, молодому в ту пору лейтенанту, утратить голову – иссиня-чёрные волосы, в красивой причёске, придавали её лицу некую отстранённость от окружающих, а глаза – карие, с длинными густыми ресницами, словно просвечивали всех насквозь, и трудно было скрыть от них что-то потаённое, лежащее на дне души.

И только немногие видели за этим надменность и высокомерие, которые она с годами тщательно и умело скрывала.

И ему она сказала «Да!» только потому, что он прельстил её столицей, куда он был распределён, как окончивший училище с золотой медалью.

Правда, не сказал, что ролью этой тяготился уже сразу и намеревался проситься туда, куда убили его самые близкие друзья – в 40-ю армию, которая исходила кровью на отрогах Гиндукуша и перевалах Хосты, в мятежном Кандагаре и переходящем из рук в руки Джелалабаде.

Он чувствовал себя дезертиром и видел глаза друзей, в которых – нет, осуждения не было, но была какая-то укоризна и непонимание его, кого они так полюбили за годы учёбы, кто был их совестью, кому они норовили подражать и за кем всегда шли, твёрдо зная, что он никогда не поступится честью и никогда не предаст, не пойдёт против совести, а уж тем более – не допустит попраения достоинства, как своего, так и тех, кто шёл за ним вослед.

И он, никому не говоря ни слова, а в первую очередь – ей, ещё в отпуске написал письмо Министру обороны, в котором просил направить его служить туда, где, как он считал, только и должно быть настоящему офицеру.

В столичной дивизии, после отпуска, молодую пару встретили радушно, сразу же отвели уютную комнату в общежитии и, что уж совсем невероятно, сразу же определили её на работу в окружной Дом офицеров методистом по кружковой работе.

Она была счастлива.

Это была та жизнь, о которой она мечтала.

Выросшая в провинциальном городке, который он почитал за самый лучший в мире, она тяготилась этим. Она была убеждена, что только в столице могут расцвести её, более чем скромные дарования. Конечно, по её убеждению, они были выше и дерзновенней, нежели на самом деле.

А здесь – столица, её блеск, зазывные рекламы театров, концертных залов, ресторанов.

Но он, уже в первые дни, этот порыв её остудил и твёрдо ей заявил, что для него на первом месте стоит служба. И пока он не выведет свой взвод в лучшие – ни о каких театрах и речи быть не может.

После этого разговора она более не поднимала эту тему.

Она просто стала себя вести так, как считала нужным. Ему же говорила, что навалилось много работы, надо переучиваться, пополнять недостающие знания.

Спокойно, без истерик, вынесла известие о его назначении для прохождения дальнейшей службы в 108-ю Баграмскую дивизию, в истекающий кровью Афганистан.

Более того, даже заявила:

– Вот и хорошо, пока молодой – пройдёшь и это испытание. А там – академия. Поезжай спокойно и знай, что я буду тебя ждать. Всё будет хорошо. Я верю в это. И знаю, что всё обойдётся.

И судьба его действительно хранила. А два ранения, одно из которых очень тяжёлое – в особый счёт им не принимались.

Редко кто здесь оставался без таких меток.

Жаль только, что осколок рассёк ему лицо и шрам, хотя и аккуратный, спасибо хирургам, но портил его красивое и породистое лицо.

Слева оно было таким же, а справа – чужим и каким-то напряжённым.

И тогда он стал носить строгие и красивые усы, которые несколько скрашивали этот дефект, но делали его старше прожитых лет.

Он и не заметил, как первая седина за эти три года пробежала по его вискам, словно изморозь упала на его красивые и богатые русые волосы.

Через три с половиной года, его, практически под силой приказа, отправили из Афганистана в общевоинскую академию.

Непривычно для его лет на плечах лежали, словно с ними и родился, майорские погоны, а на груди – теснилось множество орденов колодочек, глядя на которые военные и фронтовики, знающие в этом толк, почтительно провожали молодого майора взглядами и тщательнее, чем обычно, поднимали правую руку к козырьку фуражки, отвечая на его приветствие.

А он торопился к ней.

Господи, как же он её любил. Как гордился её успехами, а она писала, что за три года стала вторым лицом, после самого начальника, в окружном Доме офицеров.

Он ей отправлял все деньги – зачем они ему? Норовил, с оказией, передать памятные подарки, которые приобретал на буйных восточных рынках.

Сразу же по прилёту в Москву, не извещая её заранее о своём появлении, любовно выбрал букет белых роз, купил самое дорогое вино, конфеты, в красивой перевитой лентой коробке и, с дрожью в ногах, пошёл в направлении общежития.

Был неприятно уязвлён, когда дежурный по общежитию заявил, что Марина Александровна Владиславлева здесь уже не живёт.

– Ей, товарищ майор, предоставлено жильё в гостинице Дома офицеров, – с какой-то двусмысленной улыбкой произнёс дежурный, в равном с ним звании, но гораздо старше по возрасту.

Не придав его тону никакого значения, Владиславлев остановил машину и поехал на окраину старинного парка, где величественно высилось здание окружного Дома офицеров.

И здесь не обошлось без тягостных минут унижений и ожиданий.

Чопорная и молодящаяся не по возрасту дама, долго его мурыжила у стойки, повторяя десятки раз, что Марина Александровна никаких распоряжений в отношении его не оставляла и она допустить его в её покои – она так и сказала «покой» – не имеет права.

– Придётся подождать, товарищ майор, – с какой-то скрытой издёвкой и таинственным намёком сказала дежурная.

– Мариночку Александровну ждут и более высокие чины...

И тут же, испугавшись своей откровенности и какого-то не очень понятного для него, но неприятного намёка, заторопилась, указуя рукой на диваны, стоящие вдоль стены богатого фойе:

– Посидите – вон там...

Он, молча, направился под фальшиво смотрящиеся, в зимней Москве, искусственные пальмы и молча сел в кресло.

Ожидание было долгим. Минуту семь, восемь часов вечера. А той, которую он с таким нетерпением ждал, всё не было.

И дежурная по Дому офицеров дама, уже с какой-то жалостью, переходящей в неприкрытую брезгливость, всё посматривала на молодого, не по годам, майора.

Только его высокое звание и обилие орденов на кителе, а она, всю жизнь, проработав среди военных, в этом толк понимала, сдерживало её от более резких и едких замечаний.

Но уже где-то после девяти часов вечера, не сдержалась и прошипела:

– Вы бы в ресторан сходили, поужинали, а там – и Мариночка подъедет.

И он, оставив сумку и цветы, подарки ей прямо на кресле под нелепыми пальмами, даже не попросив дежурную присмотреть за его вещами, быстро поднялся по мраморным ступенькам в зал ресторана.

– Девушка, – обратился он к официантке, – мне – стакан коньяку и что-нибудь поесть. Что посчитаете нужным сами. Пожалуйста.

Молоденькая официантка с уважением посмотрела на молодого майора, тяжело вздохнула и уже через несколько минут принесла ему заказ.

Коньяк он выпил залпом и даже не почувствовал его вкуса. Быстро съел вкусный кусок мяса, с картошкой, запил кофе, положил на стол деньги и быстро спустился в вестибюль Дома офицеров.

Странное дело, его вещей на кресле, в котором он их оставил, не было.

А дежурная, с багровым лицом и тяжёлым дыханием, встретила его стоя, прямо у лестницы, по которой он спускался из ресторана.

Суется и даже заискивая перед ним, стала торопливо повторять одно и то же, отирая потный лоб, добрый десяток раз:

– Простите меня, Мариночка Александровна вычитала мне, что я... не додумалась позвонить ей. Она была на занятиях, с начальником Дома офицеров, в Мулино.

Он посмотрел на часы – было без трёх минут десять часов вечера.

Дежурная покраснела и ещё больше заторопилась, объясняя ему, что так у них бывает – занятия и мероприятия в Доме офицеров порой затягиваются допоздна.

– Я Вас провожу в её номер. Пожалуйста.

И она тяжело засеменила по ступенькам парадной лестницы на второй этаж.

Остановившись у двери с тяжёлыми бархатными портьерами, она робко поскреблась в дверь.

Дверь тут же, словно хозяйка ожидала этого сигнала, распахнулась и она, его мечта и грёзы, самая дорогая и любимая женщина на Земле, вместе с тем – совершенно незнакомая и даже чужая, с роскошной и вычурной причёской, в дорогом костюме, обтягивающем её несколько располневшее, но такое совершенное тело, бросилась к нему на шею и стала, иступлённо, целовать в губы, шею, глаза.

Затем, объятая страхом, отшатнулась и пальцем провела по багровому шраму на правой щеке, заканчивающемуся под самым глазом:

– Господи, что это? Ты почему мне об этом не писал?

И только тут заметила на его плечах майорские погоны, обилие орденских колодочек на левой стороне кителя и как-то жалко, неподдельно испугавшись его, просяще спросила:

– Насовсем? Отслужил? И куда теперь?

– Зачислен в академию. Прибыл на учёбу.

– Слава Богу! Теперь мы заживём, как люди. Видишь, – и она обвела рукой двухкомнатный, роскошный номер, – улучшили условия жизни, как жене героя-афганца.

– Не по чину что-то, Марина. Так в Москве и генералы не живут.

– А у меня очень... хорошие отношения, – тут она как-то споткнулась на этих словах, – с начальником Дома офицеров. Премилый человек, проявил внимание и заботу.

И когда сама сняла его китель и понесла вешать в шкаф в прихожую, похолодела – на вешалке висела форменная офицерская рубашка, с полковничьими погонами.

Она быстро её скомкала и сунула за своё бельё, в самый дальний угол шкафа.

Справившись с волнением, вернулась к нему – сияющая и торжественная с бутылкой дорого коньяку:

– Сегодня мы будем пить этот коньяк, подарили по случаю, а потом... – и она как-то плотоядно, он такой её и не знал, засмеялась.

За столом, который она очень красиво накрыла, все его тревоги и сомнения улетучились и он видел пред собой прежнюю Марину, желанную и любимую.

А позднее уже ночью он испугался сам, впервые в жизни.

Она продемонстрировала такое искусство любви, что он, человек крайне сдержанный и скромный, испытал приступ необъяснимой ревности и даже какой-то неловкости.

Такой страстной и такой искушённой в постели она никогда в дни их короткого семейного счастья не была.

Но стоило ему сказать, что он теперь в Москве и им пора подумать о ребёнке, она напряглась и жёстко, даже с криком, заключила:

– Нет, нет, любимый, мы только начинаем жить. Подождём ещё немножко, хочется для себя ещё, для души что-то обрести.

– Марина, но где ты всё это... познала?

– Глупый, – и она закрыла его рот поцелуем жадных и опытных губ, – я же не на Луне живу, читаю, фильмы смотрю, а потом – подружки...

Как-то нехорошо засмеявшись, через смущение договорила:

– О, женщины не могут не поделиться друг с другом – даже этими сторонами жизни...

– И ты, завтра, поделишься? – с болью, неведомой ранее, спросил он.

– Дурачок ты, это же только наше, – и она снова прильнула к нему всем страстным и опытным телом, вызывая в нём непознанное им ранее желание и силу.

В эту ночь они так и не уснули. Взрывы страсти возникали между ними вновь и вновь и они никак не могли насытиться друг другом.

Но утром он снова как-то сразу поник, когда она подняла телефонную трубку и капризно, не терпящим возражения тоном, сказала:

– Передайте Георгию Ильичу, я не буду сегодня на работе.

И с каким-то особым ударением, он его скорее почувствовал, чем услышал, довершила:

– Муж вернулся. Да, да, вернулся муж из Афганистана... Так и скажите. Непременно.

До занятий в академии оставалось две с половиной недели. Они не разлучались ни на миг. Он её провожал и встречал с работы, а затем они шли в большой город. Казалось, не было ни одного уголка старой Москвы, который они бы не обошли в эти дни.

А побыв в академии, в первый же вечер, твёрдо, не допуская ни малейшего возражения с её стороны, решительно заявил:

– Завтра мы покидаем твой будуар. Тяжело мне здесь. Пошло, чужое всё какое-то.

И уже легко, со звоном в голосе:

– Нам дали прекрасные две комнаты в академическом общежитии. С учётом заслуг, – и он указал на свой мундир, на левой стороне которого расположились орденовые планки высоких наград – двух орденов Боевого Красного Знамени, орденов Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых силах СССР», медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги», ряда орденов Демократической республики Афганистан.

Странно, но она не спорила. Лишь сказала:

– Но это так далеко от работы. Мы меньше будем видеться.

– Нет, я и это учёл. Ты будешь работать в академической библиотеке.

– Как? – тут уже она перешла на крик.

– Так, ты – ЗА-МУЖЕМ, понимаешь, а куда муж – туда и жена. Это больше не обсуждается по праву того, что я – мужчина и я твой муж. И решения по нашей совместной жизни принимать буду я.

И она смирилась. Поникла только сразу, даже подурнела. И целый день молчала, словно нарочно гремя посудой и каблуками.

Он при этом не проронил ни слова и только чаще, нежели обычно, курил на балконе.

На второй день после этого разговора, к ним в номер, почти не стучась, по-хозяйски, вошёл статный полковник.

Пышная шевелюра, крупное лицо, громкий голос – сразу выдавали в нём начальника.

Так оно и оказалось – сам начальник окружного Дома офицеров пожаловал к ним.

Владиславлев из-за стола при его появлении не встал, на протянутую руку не ответил, сделал вид, что наливает гостю вино в фужер.

Затянувшуюся паузу попыталась разрядить Марина, но неловко и неряшливо – вместо того, чтобы представить гостя мужу, она, наоборот, стала представлять тому Владиславлева:

– Уважаемый Георгий Ильич, знакомьтесь, мой муж – Владиславлев Владислав Святославович. Зачислен в академию, после Афганистана.

Здесь уж Владиславлеву пришлось пожать пухлую, ухоженную руку полковника, и он, молча, без единого слова, указал тому на стул подле стола, на правах хозяина дома.

Тот уже вошёл в роль, картинно взял фужер и провозгласил тост:

– За героев переднего края, за наших доблестных афганцев, не вернувшихся с войны...

Владиславлев его перебил:

– Мы третий тост пьём за память павших. Давайте не нарушать традицию.

Полковник побагровел, но бокал осушил молча. Ел много, красиво, со вкусом.

Насытившись и откинувшись на спинку стула, произнёс:

– Я полагаю, что Вы, Владислав Святославович, делаете ошибку. Как-то икнул, поправился и продолжил:

– Мариночка для нас – суший кладезь. Она устроена, у неё хорошие перспективы. А Вы её срываете с насиженного места...

– Я полагаю, – перебил его Владиславлев, – что это – уже дело решенное, и мы его... с Вами, обсуждать не будем. Жена должна быть подле мужа, а не там, где ей удобнее и комфортнее.

Разговора не получилось. Марина покрылась тяжёлым румянцем.

И как только полковник удалился, разразилась невиданным ранее, скандалом. Некрасивым, несправедливым и нечестным.

Он даже рассмеялся, когда она сказала, что отдала ему свои лучшие годы и всё мыкала с ним гарнизонную жизнь офицерской жены.

– Где же ты это успела, родная моя? – только и спросил он сквозь зубы, страшно побледнев, что было признаком самой крайней ярости.

– Ты же кроме Москвы за это время ничего не видела и по гарнизонам, как жёны моих товарищей, не моталась. О какой, в этом случае, гарнизонной жизни ты говоришь?

Она умело погасила этот конфликт и он на долгие годы забылся.

За время его учёбы в академии у них не случилось ни единой размолвки. Она прекрасно ладилась с коллективом библиотеки, её идеи поддерживались руководством и скоро о ней стали говорить, как об одном из ярких, творческих и мыслящих работников.

Карьеру учёного прочили и ему, но он наотрез отказался и в беседе с начальником академии заявил:

– Спасибо за честь, товарищ генерал-полковник. Но это – не моё. Я вернусь в войска, по завершению обучения.

Марине об этом разговоре он ничего не сказал, зачем, заранее, расстраивать.

И она сама, на выпускном курсе, повела разговор о том, что неплохо бы остаться в Москве, где всё так привычно, желанно, знакомо, так уютно и комфортно.

– А кто же на Кушке, в Марах будет служить? – и он внимательно посмотрел ей в глаза.

– Хватит, ты уже за всех отслужил в Афганистане. Почти четыре года. Пусть все это пройдут – тогда будут знать, как ждать...

– Марина, это решать буду я. Хорошо? А мы, лучше, давай поговорим о том, что пора нам уже сына иметь. Живём мы с тобой, как бобыли.

И в каком-то запале, осуждающе и гневно выпалил:

– Посмотри, ребятня – в каждой комнате общежития. Одни мы...

И он тут же выбросил все её препараты, таблетки разные, которыми она пользовалась.

К назначенному Господом сроку – легко, без всяких осложнений, родила мальчика.

Но кормить грудью его наотрез отказалась и малыш рос на искусственном вскармливании.

Непременные, в этом случае, диатезы, расстройства, беспокойства малыша выносил он, качая его до четырёх месяцев, на руках.

Затем всё выправилось и мальчик рос очень спокойным, пытливым и любознательным, уже в первые месяцы своей жизни.

Наверное, душа детская чувствует, кто и как к нему относится.

С семи месяцев он уже безошибочно узнавал шаги отца и на коленях, ловко перебирая ручками, полз к входной двери.

Нетерпеливо тянул свои ручки к отцу и сиял, как только тот поднимал его с пола.

— Ну, Владиславлевы, — не понять, то ли одобрительно, то ли в раздражении бросала она, — у вас даже выражение лица одинаковое.

Тяжёлую сцену она устроила ему в тот день, когда он сообщил, что он принял предложение Главного управления кадров Министерства обороны и по выпуску из академии будет принимать полк на Дальнем Востоке. Развёрнутый. Полный, более двух тысяч живых солдатских душ, на новеньких БМП.

— Я — на Дальний Восток? Никогда! Собирайся — и отправляйся сам. Можешь и сына взять с собой. Всё же веселее будет. Из Москвы только сумасшедшие выезжают. И ты — среди них.

Лицо её при этом обезобразилось, исказилось. Волосы, всегда уложенные в красивую причёску, растрепались и она не замечала даже, что халат её — совершенно распахнутый и из под него виднелась вся красота её уже начавшего затяжелевать тела.

Крупная грудь, не знавшая кормления ребёнка, была тугой и напряжённой. И только несколько заживевший, в самом низу живот, указывал на то, что уже минули у этой женщины её юные лета и она вступает в пору зрелости.

Впервые он посмотрел на это тело не с вождением и восторгом, а с явно выраженной, да он и не скрывал её, брезгливостью.

И её этот взгляд ударил, словно кнутом.

Быстро запахнув халат, она зло прошипела:

— Никуда не поеду. Хоть убей!

— Ты поедешь туда, куда будет нужно. Или — домой, немедленно.

Но здесь ты не останешься. Я сам тебя выселю из нашего номера и посажу на поезд, даже силой. И закончим этот разговор.

Тяжело она пережила этот период. Даже сильно подурнела. И долго затем, в городке, не находила себе занятия, днями стояла у окна, вглядываясь в безбрежность лесов, сверкающих на солнце голубыми блюдечками озёр.

И по каким-то неведомым законам сама захотела — вновь выносить и родить ребёнка.

А когда на свет появилась девочка – её словно преобразили. Она ни на миг не отходила от неё, кормить стала исключительно грудью, которая стала ещё красивее от распивавшего её молока.

Он же с головой ушёл в жизнь полка и когда через полгода его командования – в полк приехал генерал армии Третьяк, перемены, произошедшие в части, порадовали легендарного полководца.

Но он сдерживал свои оценки и только внимательно присматривался к молодому командиру полка.

Молча обойдя всё расположение, прямо за ужином объявил сигнал «Сбор» и выехав в район сосредоточения полка, сам, по секундомеру, проверял прибытие каждой машины.

Тут же заслушав доклады командира полка, его заместителей, на выбор – комбатов, ротных командиров, приказал одному батальону совершить марш на полигон для стрельбы штатным снарядам.

Экипажи – из офицеров.

И надо было видеть лицо прославленного фронтовика, Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда – за его послевоенные великие труды.

Давно уже он не был столь воодушевлён и даже его окружение не видело столько добрых улыбок, которые размыкали губы его сурового, в фронтовых шрамах, лица.

Первым стрелял командир полка. Все мишени он поразил сразу, первым снарядом, образцово, мастерски, провёл танк по всем препятствиям на танковой директрисе.

Третьяк, молча, указал ему на место возле себя после доклада.

И, когда отстрелял и отводил машины последний ротный, повелительно обратился к начальнику войск связи округа:

– Соедините меня с Министром обороны.

Через несколько минут он уже беседовал с маршалом Устиновым.

Неспешно вернувшись к своему штабу, повелительно обратился к кадровику округа:

– Полковничьи погоны!

Тот – сразу же, привычно извлёк из нарядной папки новенькие погоны, с тремя звёздами и подал командующему.

– Спасибо, командир, порадовал ты меня. За труд твой, за честь и совесть твою, Министром обороны – Вам, подполковник, присвоено воинское звание полковник – досрочно.

И уже от себя, по-отечески просто, сказал:

– Спасибо, сынок. Будут у нашего Отечества такие командиры – поживёт оно ещё.

И прославленный полководец-фронтовик, обнял новоиспечённого полковника и обратился к начальнику штаба округа:

– Полку – отличная оценка. Командира полка – первым заместителем комдива, в 22 дивизию.

С этого дня радикально изменилась Марина. Пожалуй, это был самый светлый период их совместной жизни. Марина понимала, что всё её будущее отныне, зависит от служебных успехов мужа и всё делала для того, чтобы в доме царил мир, покой и уют.

Даже с сыном, который её сторонился, сумела выстроить более тёплые и сердечные отношения и он без натуги стал ей говорить – мамочка, чему она была очень рада.

Замом комдива Владиславлев пробыл недолго. Безусловно, он осознал, что кроме его честного отношения к службе, здесь уже работали и другие механизмы – Иван Моисеевич Третьяк не забывал понравившегося ему офицера, сумел разглядеть в нём необходимые качества для войскового труженика.

И когда Владиславлев, с честью выдержав очередное испытание, которое ему Третьяк устроил умышленно – назначил на самую отстающую дивизию в округе исполняющим обязанности комдива и убедившись, что его выбор обоснован и выверен, так как молодой полковник за три месяца сумел существенно выправить положение дел в соединении, представил его к назначению на должность командира дивизии.

В ЦК КПСС, куда Владиславлев был вызван на собеседование, кандидатуру командующего войсками округа одобрили и он был назначен на эту особую и чтимую в войсках должность.

Это особый этап в жизни любого военного человека. Дивизия – это уже не непосредственное руководство коллективом, к которому Владиславлев привык в полку, а умение организовать управление подчинёнными частями через коллектив штаба, начальников родов войск и служб.

И здесь, как нигде, нужны высокие организаторские качества военачальника, аналитический ум, его безукоризненный личный авторитет и высокое профессиональное мастерство.

Все эти качества наличествовали у Владиславлева, видать, с рождения, но, самое главное, он был прилежным учеником и не стыдился учиться не только у своих начальников, но и у своих подчинённых.

И дивизия уже на осенней проверке, была признана лучшей в округе и удостоена Красного Знамени Военного Совета округа.

С нескрываемым удовольствием – вручил комдиву Знамя генерал армии Третьяк и задержал его возле себя, полуобняв за плечи.

– Хочу выполнить и ещё одну приятную миссию – Постановлением Совета Министров СССР комдиву Владиславлеву присвоено генеральское звание.

– Прошу принять этот знак высокого отличия и признания Ваших заслуг, товарищ Владиславлев, – и он протянул генеральские погоны.

– Особые это погоны, генерал. С чистым сердцем передаю их тебе. И очень верю, что на достойных плечах они будут всегда. Этими погонами меня, с генералом, поздравил Георгий Константинович Жуков.

И не сдержавшись в своих чувствах, обнял молодого генерала и троекратно расцеловал.

– Служу Советскому Союзу!

Едва справившись с волнением, продолжил:

– Спасибо, товарищ командующий. Чести этой не забуду никогда.

От пережитого домой он приехал каким-то далёким и даже чужим.

Марина не узнавала его в этой, так идущей ему форме.

Она, с детьми, встречала его возле дома, где уже был накрыт праздничный стол.

– Поздравляем тебя, родной! Я счастлива, что ты добился таких высот.

– Нет, моя хорошая, это не я добился. Это мы, все вместе.

И он крепко обнял всех троих, своих самых родных людей:

– Спасибо вам, родные мои. Вы – мой самый надёжный тыл и поддержка моя.

Почти всю ночь в доме Владиславлевых шло торжество.

И у всех присутствующих нашлось доброе и светлое слово в адрес любимого командира, его семьи. Марина была на седьмом небе от счастья.

Ещё с большим рвением взялся он за службу. Его зоркий глаз доставал до всего, ни одно упущение, особенно, в подготовке офицеров, не оставалось им незамеченным.

И меньше всего, при этом, он полагался на силу приказа – напротив, старался вразумить, научить подчинённых, создать такие условия, в которых они могли проявить только свои самые лучшие качества.

Уже на второй год пребывания в должности комдива, с честью выдержав инспекцию Министерства обороны, был приглашён к генералу армии Третьяку.

– Ну, что, комдив. Жалко мне тебя с округа отпускать. Но – по государственному поступить должен, а не только свои, ведомственные интересы впереди ставить.

Подошёл вплотную, заглянул в глаза:

– Дано добро тебе на академию Генерального штаба. Поезжай, учись, даст Бог – сменишь меня потом на посту командующего войсками округа. Не возражаешь? – и командующий тепло и сердечно обнял молодого генерала.

Марина радовалась, наверное, даже больше его, что она опять возвращается в Москву.

Удивительно расцвела, нашла новых нарядов себе и дочери, и всё рассказывала той о перспективах столичной жизни.

Два года учёбы минули быстро. Он учился с упоением, и многое в военном деле открывалось для него совершенно с новой стороны.

И чем ближе подходило время к его выпуску, тем беспокойнее становилась Марина.

Но она боялась даже спросить у него – куда собираться ей с семьей. И всё же, собравшись с духом, однажды вечером завела разговор о том, к каким переменам ей готовиться.

И тут же – высказала потаённое, давно выстраданное:

– Владислав, а может – хватит уже нам мотаться по свету? Ты – генерал, уважаемый человек, тебе, что, в Москве не могут достойную должность найти, по твоим заслугам?

– Марина, – неожиданно мягко и тепло ответил он, – а ты и останешься с детьми в Москве. Я же – получил предложение принять штаб 40-й армии. В Афганистане.

Договорить он не успел. Она вскричала:

– Нет, хватит, ты там уже был. Пусть другие побудут. А я не хочу вздрагивать от каждого звонка, от каждой телепередачи, от каждой встречи с твоими сослуживцами.

Резко отшатнулась от него и криком, причём, заполошным, – закончила:

– Нет и нет – если ты с нами считаешься и нас любишь.

Он мягко, но властно, усадил её в кресло и уже твёрдо сказал:

– Марина! Я уже принял это предложение и от него не откажусь.

Решением Министра обороны нам предоставлена замечательная квартира на Юго-Западе Москвы. Так что – всё хорошо.

Задумался на миг и поцеловав её в висок, тихо довершил:

– А я, я... должен быть там, где сегодня труднее всего. Там же – мои воспитанники, мои друзья.

Она успокоилась только тогда, когда побывала в квартире. Жильё, на самом деле, было прекрасным – четыре комнаты, с видом на дивный парк.

И она смирилась. В последние дни его пребывания дома – окружила вниманием и заботой, была неумоима и особенно нежна с ним ночью и всё, не уставая, говорила:

– Ты только скорее возвращайся. Я очень хочу быть женой маршала. И верю, что это произойдёт скоро, пока я – молодая....

Взрыва он не слышал. В голове только ясно и чётко пронеслось:

«Как глупо и как жалко. Только ведь начался вывод войск. Домой уже скоро, а тут...» – и он провалился в тяжёлую и тёмную яму.

Очнулся в Москве, в прославленном госпитале имени Бурденко.

Один в палате. Тишина. У окна сидела молоденькая девочка-сестричка и читала какую-то книгу.

Почувствовав, что он зашевелился, она тут же устремила к нему:

– Слава Богу, товарищ генерал, Вы пришли в себя. Теперь уже дело пойдёт на поправку, – и она заботливо, но даже со страхом, поправила на нём одеяло.

И только здесь он увидел, что там, где должны быть его ноги – одеяло словно проваливалось, к матрацу кровати.

Собрав всю свою волю в кулак, после паузы, тихо спросил:

– Ноги?

– Да, товарищ генерал, – ответила сестричка.

– Но Вы – успокойтесь, у нас хирурги чудеса делают и они уже обсуждали вопрос разработки, специально для Вас, протез.

– Спасибо, – попытался улыбнуться он, – а то я думал – новые пришьют.

Через минуту в палате была уже целая куча врачей и все они говорили с ним каким-то нарочито-бодрым тоном:

– Владислав Святославович, всё будет хорошо. Вы только набирайтесь сил. Не волнуйтесь, мы сделаем всё от нас зависящее.

– Сегодня звонил сам министр, справлялся о Вашем самочувствии. Несколько раз звонил генерал армии Третьяк.

– Спасибо, – ответил он.

И обращаясь к начальнику госпиталя, попросил:

– Позвоните генералу Кошелеву, в академию к танкистам. Скажите, что я прошу его подъехать.

На следующий день, рано утром, ему вручили газету, в которой был помещён его красивый портрет (где только и нашли такой, – с горечью подумал он), и сообщение о том, что ему присвоено звание Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР, а Совет Министров страны, своим постановлением, удостоил его очередного воинского звания генерал-лейтенант.

Он горько усмехнулся:

«Зачем всё это? Почётная пенсия? Отставка, а мне ведь ещё только тридцать шесть лет».

Назавтра утром, у него был генерал Кошелев. Юрия Алексеевича он знал давно, ещё с той поры, когда учился в академии, встретились на каком-то знаковом совещании в Министерстве обороны, и неслыханно уважал за высокий интеллект, прирождённую корректность и острый ум.

Он был гораздо старше за Владиславлева. Седой, небольшого росточка, как подавляющее большинство танкистов, он привнёс в его

палату спокойствие, добрый и светлый миг такого далёкого прежнего счастья.

– Юрий Алексеевич, Вы меня не щадите, знаете, как я к Вам отношусь. Она – об этом, – и он указал взглядом на свои ноги, вернее, на то место, где они должны быть, – знает?

– Знает, Владислав. Я сам лично ей звонил. И сам же, все эти два года, что ты был в Афганистане, вразумлял. Змею ты у сердца пригрел. Змею.

Решительно, уже не думая о впечатлении от своих слов, заключил:

– Я настоял перед командующим войсками Московского военного округа, чтобы этого мерзавца, со службы уволили, подчистую.

– Начальника дома офицеров?

– Так ты знаешь всю эту историю?

– Нет, не знаю, но догадывался. Чувствовал, что что-то нечистое там, ещё с молодости, когда я первый раз вернулся из Афганистана.

– За сына не волнуйся. Как ты и велел – он в Суворовском, завтра же мы с ним к тебе приедем, а дочь – с ней. Что поделаешь?

Отвёл глаза и как о какой-то и личной вине, еле выдавил из себя:

– Из квартиры твоей – её и её хахалю изгнал, вот – ключи. Где они сейчас – не знаю, да и знать не хочу.

– Юрий Алексеевич! Об одном прошу – найдите дочь. Можно же её куда-нибудь определить, пока я выйду из госпиталя.

– Хорошо, предприму все возможные меры.

И завтра же – доставлю детей к тебе. Думаю, и они своё слово скажут.

Господи, как же он ждал этого дня. И когда слышал шаги по коридору: чёткие и звонкие – сына; уверенные и тяжёлые – Юрия Алексеевича; и среди них – лёгкие, с детским шарканьем – дочери, он поднялся на руках, сел в кровати – попросил, его с утра побрили, одели в форменную рубашку, с новыми генерал-лейтенантскими погонами – и весь устремился навстречу детям.

– Папа, родной, – прямо с порога прокричал сын и тут же метнулся к нему, заключил в свои объятия и затих на груди.

– Папочка, папочка, – залепетала дочь, уже выросшая, красивая, с белыми бантами в роскошных, – «Её», – подумал он, – волосах.

– Ты меня, с Вячеславчиком, заберёшь к себе? Я не хочу жить с этим противным дядькой, которого мама заставляет папой называть.

И требовательно, не выпуская его из своих объятий:

– Заберёшь?

– Да, моя хорошая. Заберу, непременно заберу. Вот я только немножко подлечусь и сразу же заберу. И мы будем втроём жить, вместе.

– А мама? – наивное дитя, но оно спросило и об этом.

– Мама – нет, солнышко моё, я её обидел и она мне этого простить не может.

– Папа, – я уже взрослая, не говори глупостей. Ты не можешь никого обидеть. Ты – самый лучший. Это она, этого Григория Ильича привела.

Состроив уморительную рожицу, как заговорщица, прошептала ему на ухо:

– Ругаются каждый день. Я не хочу там больше жить. Ты заберёшь меня к себе?

– Заберу, мой ангел. А туда ты больше не вернёшься.

– Пока я в госпитале – поживёшь у дяди Юры. Они тебя, с Адель Сергеевной, помнишь, мы были у них несколько раз – хорошо знают. А я скоро выйду из госпиталя и мы будем вместе.

Юрий Алексеевич, при этих словах, обнял малышку за плечи и она доверчиво, как к родному, к нему прильнула.

Так бы эта история и закончилась.

Врачи действительно совершили чудо и месяцев через пять он впервые, опираясь на один костыль и трость, вышел на воздух.

Было неловко, больно, но он, попроси, никому его не сопровождать, шёл по госпитальной аллее и радовался солнцу, свету, пению птиц, а самое главное тому, что он может передвигаться самостоятельно, а значит – жить, быть полезным делу, которое было для него в жизни главным.

Растить детей, которые так прикипели к нему, что бывали у него почти ежедневно.

Минул ещё месяц. Он привык к протезам и стал ходить уже более уверенно и мало кто догадывался, что у него нет своих ног.

Всем казалось, что этот молодой генерал был просто ранен и теперь, идя на поправку, ещё прихрамывает.

В один из дней в его палату не вошла, а ворвалась она.

И прямо с порога стала кричать, что она всю жизнь его не любила, всю жизнь была с ним лишь ради того, чтобы жить широко, с размахом, в столице и только в столице.

А он – и здесь ей во всём мешал. Она встретила человека, который мог бы дать ей всё, но его, «по твоей милости», – перешла она на визг, – «вышвырнули со службы, лишили всего».

«А тут ещё, – она уже билась в истерике, яростной и страшной, – этот, твой Кошелев, меня даже на порог дома не пустил. И дочь – не вышла даже ко мне. Она заявила, что я более ей не мать. Это же – твои наущения.

А сын, сын – такой же фанатик, как и ты.

О, как же я тебя ненавижу! Ненавижу!»

Он вытерпел и это, глядя ей неотрывно в глаза. Спокойно лежал на кровати, только кровь отлила у него от лица, да стала подёргиваться, как это бывало у него в минуты наивысшего волнения, верхняя губа, с правой стороны.

Но когда она увидела возле его кровати протезы – стала просто бесноватой.

«И ты, обрубок, хочешь, чтобы я – посмотри на меня – осталась с тобой? Это же – всё равно, что жить с юродивым.

Мне тебя даже видеть противно, противно и гадко».

Он, при этом, с ухмылкой ярости вглядывался в это лицо, бывшее некогда родным. И видел, что в данное время она явно завышает собственные самооценки.

Прежнего лоска на ней не было видно. Лицо обрюзгло, она сильно располнела, двойной, тяжёлый подбородок, так не шёл ей и сильно портил лицо, делая его отталкивающим и неприятным.

Да и костюм прежних лет – ей был сильно маловат и облегал все её округлости, словно выставляя их напоказ.

На её крик сбежались многие врачи, а молоденькая сестричка, которая раньше дежурила у него, храбро схватила её за рукав и пыталась выдворить из палаты. Но она – оттолкнула это девочку и вновь устремилась к нему.

– Уйди, – почти спокойно сказал он, глядя на искажённое яростью её лицо.

– Мне неприятно тебя видеть. А детей же – забудь, я тебе их, ни при каких обстоятельствах, не отдам. Я найду, что сказать на суде.

С безгливой миной, внятно произнёс:

– Препровождение рядом с тобой грозит их нравственности.

И, словно освободившись от чего-то, что мешало ему, спокойно и твёрдо заключил:

– Заявление о расторжении брака уже в суде. Вот моё последнее слово.

И он даже отвернулся к стене, чтобы не видеть её, Лечащий врач – стал решительно отеснять её к выходу.

Она же, в помутнении рассудка от ярости и бессилия, схватила его протезы и бросила в него. Один попал ему по голове, а второй – настолько больно ударил по ампутированным ногам, что он, на мгновение, потерял сознание.

Кровь ударила ему в голову...

И очнулся он лишь тогда, когда в его пистолете не осталось ни одного патрона.

Она, отброшенная выстрелами к стене, стала сползать по ней спиной, оставляя на панели кровавые следы.

Врачи и сёстры, от страшной неожиданности вжавшиеся в стены, кинулись к нему, с ужасом глядя на ещё дымящийся в его руке тяжёлый «Стечкин».

– Заберите... это, – и он протянул, держа за ствол, свой наградной, от Министра обороны «Стечкин», с которым он прошёл весь Афганистан, начальнику отделения.

Уже через час он выписался из госпиталя, оставив свои телефоны и уехал к Кошелеву.

Дело было громким и долгим.

На суд – он так и ходил со своим старшим другом и наставником Юрием Алексеевичем Кошелевым.

На последнем заседании – председатель военного трибунала встал и зачитал два письма: одно – от Министра обороны, а второе – от генерала армии Третьяка, который уже был в возрасте, но деятельно работал над своими воспоминаниями в группе Генеральных инспекторов, «райской», как называли её в войсках.

Оба военачальника-фронтовика, поручались за своего воспитанника и просили военный трибунал учесть при вынесении приговора все обстоятельства, в которых оказался генерал-лейтенант Владиславлев, Герой Советского Союза, имеющий особые заслуги перед Отечеством.

Суд полностью освободил его от ответственности. Именно так и было записано в приговоре – не признать невиновным, а освободить от ответственности.

Министр обороны, назначив ему встречу, сам, не вступая в долгие разговоры, сказал, как о деле давно решённом:

– Знаю, генерал, все слова здесь будут лишними. Как судишь себя сам – знаю и вижу, – и он внимательно стал вглядываться в лицо Владиславлева, сильно похудевшее и на буйную седину, которая почти полностью высеребрила его богатые густые волосы.

– Другого суда, более страшного и тяжкого, нежели суд твоей совести, для тебя не придумали.

Но, надо жить, Владислав, – он впервые назвал его по имени.

– Растить детей. Служить Отечеству. А ты ему ещё должен послужить, генерал.

– Вот, – и Министр протянул Владиславлеву лист бумаги, с его подписью и печатью, – мой приказ. Ты назначен начальником кафедры в академию Генерального штаба.

Закурил, что он делал в последнее время крайне редко, подошёл к Владиславлеву и сказал:

– Формально – не имею права. У тебя же нет учёного звания. Но я знаю, что это – вторичное. Напишешь ты свои диссертации. Что же меня касается, то я уверен, что и докторской тебе мало будет, чтобы обобщить то, что ты прошёл. Что пережил и что выстрадал.

И уже решительно, не для обсуждений:

– Так что – принимай, генерал, кафедру. И будь здоров.

– Благодарю Вас, товарищ Министр. Я этого никогда не забуду.

И, только повернулся к двери, чтобы выйти из кабинета, Министр его остановил:

– Постой. Забери это, – и он протянул ему, за ствол, тот наградной «Стечкин». Сам дарил тебе. Только ты его уж больше... так не потребляй.

– Спасибо, товарищ Министр. Спасибо, товарищ Маршал Советского Союза. Благодарю Вас, Дмитрий Тимофеевич. Разрешите идти?

– Иди, солдат. Иди и не оглядывайся. У тебя ещё долгим должен быть путь. Учи людей. Это самое главное занятие, а мы всё воюем

Хорошо бы – только с врагами. А то всё больше – с собой, а чаще всего – друг с другом. Хватит тебе уже воевать, навоевался. А вот учить людей – дело святое.

Устало заключил:

– Прощай, генерал. И если что – не поминай лихом. Ты – мужик с головой, а самое главное – с совестью, разберёшься во всём, я думаю.

Эти слова Владиславлев будет вспоминать часто, после событий августа 1990 года. И только тогда поймёт он их подлинную суть.

Министр подошёл к нему, обнял его и легонько подтолкнул к выходу из своего кабинета.

Ожидавшие аудиенции у Министра обороны военачальники, дружно, с его появлением, шумно встали с кресел и заулыбались.

Историю Владиславлева знали все и как люди опытные и много пережившие, увидев «Стечкин» в руке Владиславлева, который он прижимал к груди, поняли, что страшная гроза над его головой пронеслась, миновала.

«И – слава Богу», – думал каждый из них.

«Жалко бы было потерять такого даровитого человека. А в жизни ... быть может всё. Трудно заглянуть в чужую душу».

И как-то не сговариваясь, дружно, в один голос выдохнули:

– Удачи, генерал.

А те, кто знали его ближе:

– Владислав, будь счастлив. Добра и счастья тебе. Успехов во всём.

Он так и вышел из приёмной Министра, приложив левую руку, в которой держал «Стечкина» к сердцу, а правой – опираясь на трость.

И впервые, за всё время страшного испытания, вздохнул свободно и глубоко.

В машине его ожидал, в форме курсанта Московского общевоинского училища, сын, и красавица-дочь, которая так была похожа

на мать, в юные годы той, только характером – в него, с сердцем светлым и чистым.

И он, обняв их за плечи, улыбнулся открыто и счастливо:

– Мы всё переживём, родные мои. Мы же вместе... Поэтому нам ничего не страшно.

И дети, не сговариваясь, прижались к его груди.

*Только утратив, безвозвратно, то,
что и было смыслом жизни,
мы понимаем, как обделила нас судьба.
А, вернее, мы сами прошли мимо того,
что только и можно назвать
Богом дарованным счастьем.
Но исправить ничего уже нельзя.
Особенно, на закатном участке жизни.*

И. Владиславлев

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

Он тихо и как-то светло, со щемящей грустью в сердце, улыбался в свои совсем седые аккуратные усы:

«Господи, какая же страшная штука – годы. Я же по этим ступенькам, тогда, сорок два года назад, за миг взбегал доверху».

Он стоял, одолев где-то треть из почти четырёх сотен ступенек, ведущих от Ласточкина гнезда – к этой горной веранде, где, всегда, приезжая в Крым, непременно обедал.

Он отдыхал здесь душой, вглядываясь в безбрежность моря, любуясь – всегда прекрасным, в любую пору года и при любой погоде, незабвенным крымским пейзажем.

А ещё – вспоминая невозвратную юность, которая задела его крылом счастья и подарила ту давнюю, единственную встречу с Той, о которой он грезил, затем, всю жизнь...

И сегодня он был счастлив вдвойне – судьбе было угодно послать ему в награду, за всё пережитое и пройденное, именно этот день, день его встречи с Нею, правда, через сорок два года.

Но только жалел, что отпустил машину, решив подняться пешком по этой знаменитой лестнице, которую к нему приставил муж младшей сестры – давали знать о себе не только лета, но и старые раны, которых получил он за жизнь что-то уж очень щедро.

От воспоминаний о прошлом его отвлёк дивный женский голос:

– Простите, Вы не могли бы мне помочь...

И после этих слов, неведомая и ещё не видимая им женщина, замолчала.

Но когда он повернулся к ней, то у него в груди, у самого сердца, началось страшное жжение, которое возникало у него в последнее время всегда, в минуты наивысшего волнения.

Сердце при этом зачастило, да так, что едва не выскочило из груди:

– Господи, это... Ты?

– Да, мой хороший, это я. Это – я.

Торжествующая радость вырывалась у неё из груди, когда Она продолжила:

– И знаешь, я знала, я чувствовала, что встречу тебя здесь сегодня. Поэтому – и попросила дочь привезти меня сегодня, в наш... день, – твёрдо, после минутного замешательства, выговорила она, – сюда...

Горько и жалко улыбнувшись своими, уже увядающими, но всё ещё красивыми и сочными губами, она довершила:

... проститься. Проститься с юностью, с тобой, да уже, наверное, и с жизнью.

И как-то торопливо, заглядывая ему в глаза, продолжила ещё:

– А знаешь, я ни разу здесь с той поры, с той нашей встречи, так и не была.

Но помню всё. И ни о чём не жалею.

Он, в удивлении сломав брови, с каким-то душевным надрывом спросил:

– А о чём жалеть-то, ангел мой светлый? У нас ведь и была лишь та давняя, длиною в жизнь, единственная встреча.

И как-то обречённо, жадно вглядываясь в её одухотворённое лицо, заключил:

– Если и жалеть о чём-то – то лишь об ушедшей молодости...

– Думаю, что ты не прав, – мягко сказала она, откидывая своей красивой рукой упавшие на лоб густые, но уже совсем седые, волосы.

– Нам всегда есть о чём пожалеть, особенно, в прошлом – о минувшей жизни, о несбывшемся счастье, да мало ли ещё о чём...

– Так о какой помощи ты хотела попросить меня, – вспомнил он, заполняя какую-то гнетущую наступившую паузу.

– Руку мне дай, а то не поднимусь. Переоценила свои силы и решила по нашей лестнице, да, по нашей лестнице, – с каким-то вызовом произнесла она, – подняться пешком.

– Больше не придётся, видно, – горько усмехнулась она.

Он заторопился и как в давней молодости, не локоть подставил ей для опоры, а протянул свою сухую и ещё такую красивую руку, которую Она помнила и так любила с той давней встречи – не часто видела она у

своих сверстников такие ухоженные ногти – на длинных, безукоризненных пальцах. Они её поразили в тот далёкий и такой памятный день.

Его сильные и такие нежные руки, не выходили из её памяти все прошедшие, а вернее – промелькнувшие годы.

Она дотронулась до его пальцев, нежно их погладила и просто сказала:

– Нет, мой хороший, не так. Уже не так. Мне действительно надо опереться на твою руку, иначе не дойду.

И Она, не жеманясь, почти повисла на его руке, согнутой в локте.

– Да, так мне будет легче. Так мне... хорошо. Пошли потихоньку...

Когда они одолели несколько ступенек, Она резко повернулась к нему и с тревогой в голосе, почти с отчаянием, сказала:

– Господи, видишь, я о себе только хлопочу. А ты как? Не тяжело тебе?

– Нет, нет, не волнуйся, всё хорошо. Ты забыла, что я всё же военный...

К веранде-ресторанчику они поднимались долго, часто останавливались, и он, со щемящей грустью, смотрел на это знакомое и такое неведомое для него лицо.

Годы Её сделали ещё красивее. Ушла та юношеская резкость черт на лице, оно стало мягче, светлее, солнечнее.

Да, да, именно солнечнее, так как излучало столько добра и света, что люди, стоящие на ступеньках, долго провожали взглядами эту необычную пару и откровенно любовались их, уже проходящей природной красотой.

Во время остановки, переводя дыхание, Она каждый раз обращалась к нему с одним и тем же милым и наивным вопросом:

– А помнишь?

И не дожидаясь ответа, неотрывно глядя ему в глаза, сама же и рассказывала, а что он должен был вспомнить в каждом случае.

При этих воспоминаниях Она преображалась. Годы и возраст уходили куда-то за горизонт, далеко за море, за ту видимую, в солнечном мареве, линию, на которой всегда останавливался взгляд человека.

Маленькая ростом, ладная, со стройными ногами, высокой грудью, она словно вытягивалась, становилась ярче, моложе и даже голос её звенел по-особенному – в нём слышалось то, забытое им давно, девичье, наивное и возвышенное.

И когда в последнюю их остановку на лестнице, она обратилась к нему:

– А помнишь... нашу единственную ночь? Господи, как же я любила тебя. Как я хотела, чтобы и ты заболел мной, как неизлечимой болезнью. Навек, навсегда, на всю жизнь.

Без всякого стеснения, так говорят только единственный раз в жизни, прощаясь навек, продолжила страстно:

– Как мы нежно и трогательно целовались. И... как же я... любила тебя, как я любила тебя, мой милый. Ты меня так не мог любить.

Даже задохнулась, но мысль закончила:

– И я сама, я... сама хотела того, чтобы ты был моим... совсем... Так что ни в чём ты предо мной не виноват, не терзайся и не вини себя ни в чём. Я, я так хотела сама.

Он даже покраснел:

«Господи, как тот юнкер, что это я? Ведь жизнь уже прошла.

И всё в этой жизни было. И утраты невосполнимые, и кровь, и смерть – насмотрелся всего вдоволь: и в Афганистане, да и на своей земле не минула ни одна война.

Но так не волновался, как от тех далёких и давних воспоминаний...».

И даже синяя жилка на его виске, при этих мыслях, забилась часто и тяжело.

Он только и смог – что молча сжал её руки – в своих красивых пальцах и жестом указал на цель их трудного восхождения – красивую, утопающую в зелени веранду, где летом всегда работал ресторан с таким тёплым названием «Лазурный».

Галантно усадив её за столик на двоих, он жестом, на голос не хватало сил, подозвал официантку:

– Милое дитя, пожалуйста, нам – воды, а всё остальное – потом.

Красивая белоголовая девушка, не торопясь, но споро, принесла им бутылку запотевшего «Боржоми», два бокала и тут же удалилась от столика, предоставив им возможность отдохнуть и утолить жажду, просто прийти в себя.

– Ты позволишь, – обратился он к ней, – я закурую? Я теперь мало курю, но сейчас – так хочется выкурить сигарету.

– Тебе нельзя уже курить. Но сегодня... нам всё можно.

И Она неотрывно стала смотреть на него, как он своими тонкими пальцами вынул сигарету из пачки, чёрной с позолотой, прикурил от дорогой серебряной зажигалки и вкусно затянулся пахучим дымом.

– Как красиво ты куришь, – обратилась Она, с нежностью в голосе, к нему.

– Впрочем, ты всё делаешь очень красиво.

Мечтательно улыбнулась:

– Господи, как же я мечтала об этой встрече. Мне бы только посмотреть на тебя и знать, что ты есть, что ты – живой, что ты, я это чувствую, не изменился, душой своей не изменился. Она у тебя так и осталась светлой, я это чувствую.

– А это что? – вдруг перешла она на другую тему и своими красивыми пальцами дотронулась до белого шрама, пересекавшего его лицо – от подбородка до правого виска.

И не дожидаясь его ответа, сама торопливо заговорила:

– А я знаю даже день и час, когда ты был ранен. В Афганистане?

– Да, в Афганистане.

– Так вот, это произошло с тобой... девятого мая, тысячу девятьсот восемьдесят восьмого года. Около полудня.

Он даже вздрогнул – всё было именно так, в одиннадцать сорок пять начался тот заполошный бой, которые чаще всего и возникали при передвижении колонн по горным серпантинам Афганистана.

И он, представитель Главного штаба Сухопутных войск, как рядовой боец, лежал с мальчишками-солдатами за камнями и вёл бой с бандой Ахмад-шаха Масуда.

Он не почувствовал ни боли, ни страха, только почему-то на глаза, вдруг, напозла кровавая пелена и он потерял сознание.

Очнулся тогда, когда девочка-фельдшер батальона кричала кому-то, над его ухом:

– Он же погибнет. Посмотрите, сколько крови потерял. А у меня первая группа, его же. Надо срочно сделать прямое переливание.

И она, тут же – легла возле него, прямо на землю, а пожилой капитан-медик начал колдовать над её и его рукой.

Он ещё подумал:

«У неё с правой руки забирают кровь, а мне вводят – в левую.

Красивая девушка. Зачем ей это? Вон, мужиков сколько!»

Он испытующе смотрел ей в лицо и видел, как оно бледнеет, по мере забора крови.

Капитан-медик, посмотрев на него колочим, без сострадания взглядом, даже прохрипел:

– Всё, Виктория, хватит, ты уже триста граммов отдала.

– Нет, ещё берите сто пятьдесят. Я сильная, я выдержу...

И он снова потерял сознание.

Пришёл в себя уже в армейском госпитале, в Кабуле, где вокруг него сустилось множество врачей – как же, столичный начальник.

Первое, что он спросил у врача, тушистого полковника, который привычно осматривал его рану:

– А кто та девушка, которая отдала мне свою кровь?

Полковник сжал губы и даже как-то враждебно пронзив его ледышками своих глаз, отрывисто бросил:

– Виктория Гончарова, фельдшер батальона. Нет больше её. Вас спасла, а саму, через минуту, убил снайпер.

Как же заболело его сердце при этих словах военврача, Он, при этом, до хруста сжал пальцы сцепленных рук, да так, что они побелели.

Не сокрушался. Ничего больше не выспрашивал. Только – через сердце, на всю жизнь прошла эта кровавая борозда.

И зная, и помня, что – жив остался лишь благодаря этой девочке, нашёл после вывода войск её родителей – простых учителей в лесном посёлке, на Белгородщине.

Приехав к ним, припал к руке её матери губами и встал на колено. Да так и застыл надолго.

А та, перебирая его густые и красивые волосы, в буйной уже седине, свободной рукой, почти без звука и уже без слёз – выплакала все – утешала его, словно родная мать:

– Спасибо Вам, что приехали. Значит, не зря наша Вика погибла. Её однопольчане говорили, что она спасла генерала, а теперь и я вижу...

И уже буднично:

– Не казните себя. Знать, так Богу было угодно. Он – всегда... призывает к себе, до срока, лучших. В чём тут Ваша вина? Вы же не хотели её смерти и жить не хотели ценой её жизни. Поэтому – не надо, не убивайтесь... так.

И уже, как радушная хозяйка, стала приглашать в дом, кормить, поить вкусным чаем.

А когда он попросил сопроводить его к местному кладбищу, где была похоронена его спасительница, она, с благодарностью, посмотрела ему в глаза и стала быстро собираться, переодевшись в чёрное платье и повязав голову чёрным утратным платком.

Сама же срезала в палисаднике, утопающем в цветах, букет багровых роз и, молча протянула ему, только слёзы наполнили, до краёв, её глаза при этом.

Долго стояла, затем, за калиткой оградки, положив ему руку на плечо. Он же, встав на колени, положил на надгробие букет роз и – по обычаю, дотронулся до земли рукой:

– Здравствуй, Виктория! Всегда помню тебя и всегда скорблю, что не сам перестрел ту роковую пулю. Только бы ты жила...

Мать его спасительницы при этих словах сжала его плечо рукой и он ощутил на своём виске её слёзы, которые она даже не вытирала.

Он несколько раз приезжал в этот посёлок. И перестал ездить лишь тогда, когда в очередном отпуске, позвонив в дверь знакомого дома, увидел в проёме двери другое лицо.

Приветливая женщина, зная его, просто и уже без боли, сказала:

– Не стало и моей сестры, генерал. С дочерью рядом и упокоили. Пойдёте?

– Да, да, я непременно их проведу, – и он торопливым шагом пошёл в направлении местного кладбища...

Всё это, без деталей, он рассказал Ей, сидя в ресторанчике возле Ласточкина гнезда.

И, Она, во время его рассказа, всё не убирала свою удивительно красивую руку от его лица, словно забирая от него всю боль пережитого.

Официантка красиво накрыла их стол к этому времени и он, не спрашивая её, что Она будет пить – налил, доверху, две изрядные рюмки коньяку и поднявшись из-за стола, сказал:

– За всех, кто не с нами. За все наши утраты.

Она тоже выпила свою рюмку до дна и, выдержав минутную паузу, с какой-то виноватой улыбкой, сказала:

– Можно, я поем немножко, а то у меня голова сразу закружилась.

Он всё время подкладывал ей вкусную еду, уже понемножечку подливая коньяк и всё время слушал Её бесхитростные истории.

Да их и не было много – работа, дом, забота о дочери, а теперь – о внуках, которые стали высшим смыслом её жизни.

О личной жизни и судьбе ничего не говорила, не спрашивала и его об этом, бережно обходя эту тему.

И только один раз, всё же ему сказала, с такой грустью и болью, что он даже вздрогнул:

– Замуж я так и не вышла. Были достойные люди, предлагали руку и сердце, а я не могла. Не могла изменить памяти о том курсанте, который мне встретился в те далёкие годы...

При этих Её словах зазвонил телефон. Она взяла трубку и выслушав того, кто ей звонил, ласково и тепло ответила:

– Нет, нет, доченька. Всё хорошо. Я сейчас сижу в ресторане, возле Ласточкина гнезда.

И вновь стала слушать дочь, а затем, засмеявшись – красиво и звонко, с отчаянной гордостью ответила дочери:

– А что, твоя мать уже не может никому понравиться? Ты бы только видела, какой у меня красивый и благородный кавалер, – и она лукаво, заговорщицки, ему подмигнула.

– Нет, ты приезжай за мной в «Лазурный», часа через... – и она посмотрела на него.

– Часа через два, – ответил он, посмотрев на свои часы.

Разговор с дочерью Она больше не комментировала, только обдала его таким жаром взгляда, что он, торопясь, вновь закурил свою душистую сигарету.

Но уже после разговора с дочерью, как-то виновато, спросила:

– А твоя семья, Владичка?

– Двое детей, сын – тоже военный, дочь – мать двоих детей, занята ими, до этого – дизайнер-оформитель.

– А... жена...

– Жены нет, в девяностом году погибла в Баку, во время известных событий. Врач, спасала людей, снайпер убил в спину...

– Прости...

После наступившей паузы, искренне порадовалась за него, когда он коротко сообщил, каких успехов достиг в службе – стал генерал-лейтенантом, академиком, профессором. До сей поры преподаёт в академии Генерального штаба, возглавляя кафедру.

– А это – тоже за Афганистан, – и она дотронулась пальцем, осторожно и бережно, до Золотой Звезды Героя Советского Союза, на левой стороне его пиджака.

– Да, это за Афганистан, ещё за первый раз, – и он больше не стал развивать эту тему.

К счастью, в его сумке оказалась его последняя книга и он, положив её на стол, стал думать, как её подписать.

Он ведь, кроме её имени, не знал ни фамилии, ни отчества.

И она, взяв книгу в свои руки, увидела на обороте обложки его портрет, в форме, долго вглядывалась в его лицо.

А затем – просто и тихо сказала:

– Так и подпиши её мне – Галине. Просто – Галине, не забыл ещё, как меня зовут?

– Нет, этого я не забывал никогда...

Незаметно, за разговорами, пролетело время.

И когда у их стола остановилась яркая, очень красивая молодая женщина, не более сорока лет, он вздрогнул, а в области сердца у него загорелся какой-то негасимый внутренний пожар:

«На кого она похожа? Нет, нет, материнского – очень много. Но иная порода властно прорывается в чертах её лица» – и он, напрягая свою память, старался припомнить, кого же напоминает ему дочь женщины, которая сидела напротив него и тихо и счастливо улыбалась при этом.

Насладившись его растерянностью, а также дочерним изумлением, с которым та не могла справиться, увидев его, Она, наконец, произнесла:

– Знакомся, Виктория, это – твой отец – Владислав Святославович Измайлов...

Земля качнулась и медленно куда-то уплыла из под его ног.

Последнее, что он услышал в этой жизни, были Её слова.

Она не кричала, а положив его голову себе на колени, сидя прямо на полу, тихо и бессознательно повторяла:

– Не уходи, не уходи, родной мой... А как же я? Не оставляй меня... Я не хочу жить без тебя. Я и так всю жизнь жила без тебя, но всегда – с тобой в своём сердце...

*По настоящему любить
способны только те,
кто много страдал и
перенёс множество ударов судьбы.*

И кого ведёт по дороге жизни Господь.

И. Владиславлев

ПОД КИПАРИСАМИ ЛИВАДИЙСКОГО ДВОРЦА

Он уже давно не тревожился за себя, за свою судьбу. Хорошего не ждал, плохого, слава Богу и судьбе, не знал, счастья не искал.

И длилось это состояние уже так долго, что оно стало привычным и естественным.

С ним сроднился, с ним вставал и ложился.

Даже боль утраты – ТОЙ, что была смыслом всей жизни, стала отступать. Не зря говорят, что время всё лечит.

Тоска и осознание никчемности своей жизни железной лапой сжали сердце в июне того самого страшного года в его жизни, когда ушла ОНА и не отпускали его уже никогда.

Оставалась единственная страсть – он мог сутками не подниматься из-за компьютера – всё торопился положить на бумагу то, что переполняло его душу.

А сказать ему было что – пройдено и вынесено было столько, что хватило бы, с избытком, и на десять судеб.

Он часто даже сам себе задавал вопрос:

«Как выжил? Наверное, цел остался лишь потому, что не цеплялся за жизнь. Относился к ней не то, чтобы безразлично, нет, цену жизни, особенно, своих подчинённых, знал хорошо и скорбел по каждой утрате – не поддельно, это люди чувствуют сразу, а искренне укорял только себя за то, что до срока закатывалась судьба тех, кто ещё не свершил на земле положенного. И судил себя сурово за это».

И за это его любили, и он знал, что за глаза все его подчинённые давно уже величают его Батей и были готовы за него отдать свою жизнь.

Но он знал, что не это его спасло, а истовая любовь ТОЙ, единственной женщины в его жизни, которая с лейтенантской поры, распростёрла над ним невидимые крыла ангела-хранителя и не устала их так держать всю их совместную судьбу, все тридцать шесть лет быстрой жизни.

Он и видел её меньше, нежели мыкал службу по всяким внутренним и внешним фронтам, как он шутил в кругу родных и близких людей, но ЕЁ присутствие ощущал всегда и знал, что его, неведомо за что, вознаградил Господь таким союзом, такой спутницей жизни, таким человеком, такой матерью его детей – единственной и святой.

Ничего похожего более ему так и не пришлось увидеть в жизни.

Поэтому, видать, судьба и ЕЁ обращённые к Господу молитвы, хранили его.

Его сестры, прожившие всю жизнь в Крыму, откуда и он, семнадцатилетним пацаном, ушёл в военное училище, чувствовали его состояние и настояли на том, чтобы он приехал к ним в отпуск.

И он, наконец, согласился. А затем – благодарил судьбу и Господа, что решился на этот шаг.

Сёстры встретили радушно. И на дне рождения младшей сестры, а он как раз и выпал на день его приезда, преподнесли ему царский подарок – путёвку в дом отдыха, в Ливадию.

Двадцать один день.

«Уйма времени, – подумал он, – что я там делать буду?»

«Довершу свою очередную книгу. Это будет лучше всего».

Первые три дня он практически не покидал свой номер. Только на завтрак и обед спускался в зал красивого ресторана, где предупредительные и вежливые служки, конечно же, предупреждённые по каким-то каналам, кто он есть, делали всё от них зависящее, чтобы ему было уютно и комфортно. А так как он был крайне неприхотлив, то его даже раздражало чрезмерное внимание к его скромной персоне.

Ужинал он на балконе своего роскошного номера. Он – прямо нависал над морем и от созерцания вечности было так спокойно и светло его душе, что он от восторга даже немел и мог часами вглядываться в синь моря и недвижимо сидеть, замирая, от давно неизведанного счастья.

Да и коньяк приятно туманил голову, и казалось, что время в этом райском уголке навек, навсегда остановилось.

Здесь всё располагало только к безмятежности и счастью.

И в один из вечеров, от неведомо откуда нахлынувшей злости, выпил, залпом, стакан коньяку, успокоился, закурил самую вкусную вечернюю сигарету и погрузился в тяжёлые раздумья:

«За что же ты меня так, жизнь? Неужели есть какой-то неискупаемый грех у меня? Что я такого чёрного и страшного свершил, что ты так меня покарал, Господи?»

ОНА ведь была лучше и чище меня, милосердней, добрее, и Ей бы - жить и жить, в кругу детей и внуков.

К слову, об этом и просил Господа, в обмен на мою жизнь, даровать Ей выздоровление.

Только ведь и жить-то начали. Прекратились эти, выматывающие душу командировки, получили хорошую квартиру. Дети встали на крыло. Живут своими семьями. Подарили нам внуков...»

Он ещё подлил коньяку в стакан и залпом выпил его. Страсти к спиртному у него никогда не было. Но любил выпить с друзьями добрую чарку, встретиться, пообщаться.

Сегодня же он пил от ярости, от злости, от обиды – об утраченных и никогда уже не способных возродиться планах и надеждах.

Если просто сказать, что он любил мать своих детей – это значило не сказать ничего.

Он жил ЕЮ. И в краткие дни пребывания дома, а их так мало набралось за всю жизнь – счастливее людей не было на всём белом свете.

И вот, такой финал. Она сгорела – прямо на глазах, за считанные дни. И чем ближе подступал роковой конец, тем ярче и красивее делалась ОНА. Казалось, ОНА, прожив с ним почти сорок лет, вернулась в юность.

На похудевшем, но не до изнеможения лице, горели ЕЁ карие глаза, пунцово отблёскивали влажные губы, которые он так любил, ещё изящней стали кисти рук, красивее которых он не видел более ни у одной женщины.

С её уходом вся жизнь потеряла всяческий смысл и его душу не грели, как прежде, даже внуки. Он стал сторониться людей, прекратил связь даже со многими друзьями, так как мучительно больно было объясняться и выслушивать их слова, пусть и искреннего, но такого ненужного и далёкого сочувствия.

Это состояние длилось уже годы. Он словно и не жил всё это время, наложив запрет на обычные человеческие радости.

А тут – Крым. Море. Красота просто буйствовала вокруг.

И он – на четвёртый-пятый день где-то, пошёл, бесцельно, бродить по парку. Вышел к морю и страшно пожалел, что не смог искупаться.

Присел на скамейку у самого берега и весь ушёл в свои мысли.

Опомнился лишь тогда, когда какой-то мужчина, громко и нервно, стал выговаривать женщине, которая сидела к нему спиной и он видел только её красивую причёску, статную, но вместе с тем – изящную фигуру:

– Нет, ты от меня не уйдёшь! Запомни, – почти кричал незнакомец, – я просто так от тебя не отступлюсь. Ишь, скрылась она от меня. Да я и под землёй тебя найду. Шесть лет голову дурила, а теперь – не нужен стал.

– Тебе не стыдно так себя вести, – спокойно и твёрдо произнесла в ответ женщина.

– Я тебе уже сказала всё ещё полтора года назад – всё у меня отгорело в душе, всё обуглилось и мы более быть вместе не должны.

Он сидел в глубоком волнении. Лучше всего – было уйти и не быть свидетелем этой сцены. Но уйти уже не мог по той простой причине, что всю свою жизнь помогал тем, кому было плохо, кто нуждался в защите.

Так произошло и сейчас. Он поднялся и обратился к неведомой, ещё миг назад, женщине:

– Вы нуждаетесь в помощи и защите?!

За один миг он рассмотрел её всю – уже тронутое временем, куда деться, лицо было прекрасным, карие, с зелёным отливом глаза, горели ярко – от гнева, который она сдерживала в себе. Ей очень шла причёска из окрашенных в тёмную вишню волос, которые обрамляли гордо посаженную голову. Но самое красивое, что в ней было – её губы.

Он не видел таких ярких и сочных губ у женщин, возраст которых пошёл на осень.

У неё же, несмотря на ситуацию, они даже разомкнулись в очаровательной, но какой-то жалкой и потерянной улыбке, которой она ответила на его обращение.

Её необыкновенно красивая, высокая грудь часто, от волнения – то поднималась, то опускалась, в такт дыханию.

Маленькие, изящные кисти рук были сцеплены в замок и по ним было видно, каких усилий стоило ей держать себя в руках.

Он даже успел заметить, при порыве ветра, какие у неё красивые стройные ноги, круглая коленка одной из них – соблазнительно выглядывала из-под изящной и так ей идущей юбки бирюзового цвета.

Всё это, за один миг, пронеслось в его голове, пока он услышал ответное:

– Да, я нуждаюсь в Вашей помощи и защите. Проводите меня, если можно, до входной двери дома отдыха, – и она указала на ту же дверь, которой пользовался и он.

– Прошу Вас, – и он галантно подставил её локоть левой руки.

Её спутник при этом, хотя был на целую голову ниже его, громко заорал:

– А тебе что здесь нужно? А то я и наладить могу. Защитник...

Больше он не успел произнести ничего.

Ярость так захлестнула Владиславлева, что он левой рукой взял того, кричащего, за воротник, да так, что скандалист чуть не задохнулся и тихо произнёс ему прямо в лицо:

– Попробуй, наладь...

И, выждав минуту, брезгливо оттолкнул сразу ставшее ему ненавистным лицо, с залезшими на лоб волосами, неряшливыми усами, которые так его старили, от себя.

Тот, при этом, трусливо закрылся двумя руками, и вобрав голову в плечи, как-то не по мужски, посеменил по аллее парка, что-то бормоча себе под нос.

К Владиславлеву сразу вернулось хорошее настроение и он, даже не ожидая такой прыти от себя, сказал своей неожиданной незнакомке:

– А знаете что – сейчас уже обед. В номере Вы будете предаваться унынию, всё будете анализировать произошедшее, да и мне покоя не будет.

Улыбнулся и предложил:

– Я приглашаю Вас в ресторан, в тот, – и он указал рукой в сторону моря.

Она, без жеманства, приняла приглашение и доверчиво опёрлась на его руку, чуть слышно при этом проговорила:

– Спасибо Вам...

Больше они к произошедшей сцене не обращались. Она оказалась интересной собеседницей, была Заслуженным учителем России, возглавляла столичный центр развития ребёнка.

На его шуточный вопрос: «А как муж отпускает такую красивую женщину на Юг?» – мило улыбнувшись ему в ответ, сдержанно ответила:

– Мужа нет. Умер восемь лет назад.

– Простите. Я не хотел. Простите меня, – торопливо проговорил он.

– Ничего, я уже привыкла, – и она даже дотронулась кончиками своих пальцев до его руки.

– К несчастью, и у меня такое же горе произошло – пять лет назад.

Эти признания в самых горьких утратах как-то сразу сблизили их.

Они это почувствовали по тому, как ушло напряжение, в котором пребывали оба, после такой неприятной сцены.

Пока официантка изящно накрывала их столик, на двоих, они непринуждённо болтали, перескакивая с одной темы на другую.

Но, вдруг, она, словно о что-то споткнувшись, застыла, напряглась, тревожно оглядывая богатую сервировку стола:

– Ой, нет, я не могу разделить... это... с Вами. Я думала – чашку кофе, а тут...

Мило, но достаточно твёрдо, заключила:

– Я просто не... привыкла быть кому-то что-то должна.

И, уже чуть было, не поднялась из-за стола.

Он, не узнавая себя, бережно, но твёрдо взял её за руку и встать не позволил:

– Зачем Вы обижаете меня? Я же от чистого сердца. А потом, – обратился он к столу, – это, с одной стороны, такая мелочь, а с другой – мне одному не одолеть этого, а выбрасывать – жалко.

– Я, – уже через смех, видя её растерянность и нерешительность, – всё же – генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, а поэтому – позвольте мне за Вами поухаживать.

И, он, при этом слове, даже покраснел. И тут же – поправился:

– Позаботиться...

– А потом – я здесь совершенно один, поэтому не портите мне такой дивный день.

Всё ещё наблюдая за её растерянностью, он произнёс:

– Ну, хорошо, завтра Вы меня пригласите на утренний кофе.

Согласны?

Она – уже раскрепощёно, улыбнулась и стала ещё красивее. Ей так шла милая щербинка в верхнем ряду зубов, ровно посередине, она придавала её лицу какое-то озорное, почти девическое, выражение.

Обед проходил непринуждённо. Они никуда не торопились и она с удовольствием, не жеманясь, выпила рюмку коньяку, красиво отведала всех блюд, которые неспешно подавала статная официантка.

Порозовев от выпитого коньяку и утолив первый голод, она с интересом, не скрывая своего взгляда и не отводя глаз от его лица, разглядывала его.

– А это правда, что Вы – Герой Советского Союза и генерал?

– Правда. Вот, – и он выложил, пред нею, своё служебное удостоверение, которое, по привычке, всегда лежало у него в кармане.

– Какой Вы здесь молодой!

– А что, сейчас уже старый?

– Нет, нет, я не это имела в виду, – заалев всем лицом, торопливо произнесла она.

– Я просто думала, что генералы – очень солидные, пожилые. А Вы – я же вижу дату и год Вашего рождения, что-то уж очень молодым стали генералом.

– Так случилось. Отца – маршала – не имею. Простыми тружениками были мои родители. Давно уже их не стало.

И чем больше они говорили, тем отчётливее тревога проникала в его сердце:

«Господи, зачем я выворачиваю свою душу пред нею? И почему мне так хочется говорить с нею? Видеть её?

Зачем мне это? Нет, нет, только обед и ничего другого. Да и поздно уже. Отболело и отгорело всё. Зачем и её душу мне будоражить?»

И он, с каким-то даже облегчением, наконец, расстался с нею, проведив до двери её номера:

– Желаю Вам здравствовать. Если буду нужен – мой номер 364, там, в конце коридора, – и он указал рукой в направлении своей обители.

Зайдя в номер, он силой воли, а он это умел всегда, воспретил себе думать о ней и анализировать прошедший день.

Далеко за полночь он прекратил работу над рукописью своей книги и едва добравшись до постели, уснул, впервые за долгое время, безмятежным сном.

Проснулся поздно. Он и не помнил, когда спал так долго и счастливо. В его душе жило чувство большого праздника, а на сердце царил покой и предвкушение удачи.

Позавтракав, он оделся в спортивный костюм и быстро сбежал, по ступенькам, к морю.

Первым, кого увидел он на берегу – была она. Он остановился и пока она его не видела, откровенно залюбовался её фигурой зрелой женщины, но вместе с тем – ещё такой красивой и чувственной.

Она уже успела загореть и это ещё выгоднее выделяло её в среде белёсых и раздобревших, очень рано, тел других женщин, гораздо моложе за неё по возрасту.

И когда он поздоровался с нею, стало видно, что и она ждала встречи с ним.

Она и не таилась в этом и после слов приветствия, даже слегка покраснев, произнесла:

– А я даже свою сумку, на соседний лежак положила. Вдруг, думаю, встречу Вас. Или у Вас – другие планы?

– Нет у меня никаких других планов. Я, с радостью, принимаю Ваше предложение.

– Спасибо Вам, за – вчерашнее. Я всю ночь не могла уснуть – всё вспоминала нашу встречу, такой дивный обед. Или ужин, – и добрая улыбка залучилась в её глазах и на губах.

И словно оправдываясь перед ним, глядя неотрывно в его глаза, решительно сказала:

– А тот, вчера, это так, недоразумение. Давно оно минуло. Да и не было ничего серьёзного. Поняла, сразу, цену этому человеку. Мелкому, мстительному и злобному.

Необъяснимое чувство ревности укололо его сердце. Но лишь подумал, про себя: «А что же ты, такая красивая, такая... состоявшаяся, вообще нашла общего с этим прохвостом?»

Но ей сказал лишь два слова:

– Не надо, при мне, об этом. Я полагаю, что эту ошибку Вы уже давно исправили...

И они больше не касались этой неприятной, для обоих, темы.

Заметив, что он вынул из сумки увесистую рукопись, она спросила:

– А это что?

– Это – мой очередной любовно-белогвардейский роман, как я называю эти книги.

– А можно посмотреть?

– Да, прошу Вас...

И она увлечённо стала читать последние страницы рукописи.

Он ей не мешал. Прошло немало времени, когда она оторвалась от чтения и посмотрела на него:

– Какой Вы тонкий человек. А я почему-то всегда думала, что военные не могут так чувствовать. Так глубоко и так искренне.

Вздохнула и продолжила:

– Мне думается, Вам очень удалась сцена прощания Ваших героев. Тяжёлая, роковая, но очень... правдивая. Вы – молодец и я Вам очень завидую.

Он, как мог, свернул этот разговор и перешёл на другие, менее рискованные и ничему не обязывающие, светские темы.

В ходе разговора выяснилось, что она в Крыму – первый раз и нигде ещё не была.

– Хотите, я покажу Вам Крым? Тем более, что машина ко мне приставлена, так что проблем никаких. Согласны?

И он тут же, на листе бумаги, размашисто написал: Севастополь, Форос, Никитский Ботанический сад, Феодосия – галерея Айвазовского, Керчь, Воронцовский дворец, Бахчисарай, Херсонес, Балаклава, Алушта, Евпатория.

– Ливадию мы посмотрим с Вами вместе, здесь.

Удовлетворённо заключил:

– Ну, хотя бы это. Вы согласны?

– Да, да, я буду очень рада – всё это увидеть... я просто мечтаю.

Испытывая необъяснимое волнение, утром, прямо у двери корпуса, где они жили, он, усаживая её в машину – подал руку, открыл дверцу.

И почувствовал такое сильное желание – эту руку не отпускать, что даже сказал водителю:

– Александр Петрович! Мы вместе сядем, сзади, а то неловко даму оставлять одну...

Впечатлений от поездки в Севастополь было столько, что она вся светилась. Посетили они набережную, возложили цветы к памятнику адмиралу Нахимову, побывали в Храме-усыпальнице адмиралов, как обиходно называли Владимирский собор. Съездили к Пантеону Героев первой обороны Севастополя и побывали, в столь необычном, словно курган над братским захоронением, Николаевском Храме. Трепетно разглядывала она батальные сцены в Севастопольской панораме и диораме.

Он везде её фотографировал и в этот же день, вечером, вручил ей множество фотографий, которым она очень обрадовалась:

– Спасибо Вам, покажу у себя в Центре, родству – не поверят. Спасибо.

И не торопилась убрать свою руку – из его горячих и сухих пальцев, когда он проводил её до номера.

Но к себе не приглашала. Не настаивал и он на этом...

Так шли дни. Он за стол даже не садился и его рукопись сиротливо дожидалась своего часа.

Она уже не ставила условий, не протестовала, когда он её приглашал в ресторан.

Там и произошла его вторая встреча с тем мужчиной, от нападок которого он защитил незнакомую ему, в ту пору, женщину.

Тот, видно, выследил и ждал их. Ждал с таким угрюмым выражением лица, что было видно – ссоры не избежать.

Она торопливо стала искать руку Владиславлева и сильно сжала её в своих маленьких ладонях, прижав к груди.

Во взгляде её было столько мольбы: «Давайте уйдём отсюда!»

– Успокойтесь! Вы же со мной, Вам – совершенно нечего опасаться.

И он провёл её за столик, у окна, посадил спиной к выходу, чтобы она не видела своего старинного знакомого.

Но тот долго ждать себя не заставил.

Как только оркестр заиграл танцевальную мелодию, подошёл к их столу и развязно, качаясь на ногах, обратился к нему:

– Ну, что, любезный, Вы позволите пригласить Вашу даму, (он сделал особое ударение на слове «Вашу») на танец?

– А моя дама – с такими паяцами, как Вы, не танцует.

И дёрнув его за рукав, заученным приёмом, одними пальцами, заломил руку того так, что он посинел от боли, его лицо исказилось, на нём выступили крупные капли пота.

– Вон отсюда и больше никогда мне не попадайся, убью, – тихо проговорил Владиславлев, прямо в ухо этому искателю приключений и оттолкнул его от стола.

Слёзы полились из её глаз. В них был и стыд, и благодарность, и смущение, и гордость его поступком.

И он, заметив все её чувства, просто и без любой рисовки, сказал:

– Всё, проехали. И если Вы, когда-либо об этом... скажете хоть слово, вспомните, я... я обижусь на Вас. Мало ли чудаков на свете? Давайте ужиматься.

И они, весело и непринуждённо, стали обсуждать прожитый день и ту массу впечатлений, которые на них обрушились.

А когда оркестр, вживую, заиграл вальс, он обратился к ней:

– А мне, в вальсе, не откажете? Можно Вас пригласить?

С каким же упоением она отдалась танцу.

Танцевать она любила и умела. И вскоре уже весь зал заинтересованно наблюдал за такой красивой парой немолодых уже людей, которые так красиво вальсировали. Сегодня молодые люди так уже не танцуют.

И когда он, в завершение танца, встал на левое колено, не выпуская её руки из своей, и она, грациозно вальсируя, прошла кружок вокруг него – зал дружно зааплодировал.

Он, поднявшись с колена, с чувством поцеловал её руку и не выпуская из своей, повёл к красиво накрытому столу.

Глаза её лучились от счастья. Она словно помолодела на два десятка лет и казалась ему сейчас, в эту минуту, совершенно юной и так стремящейся к счастью. И его, в полной мере, заслуживающей.

Она не отказалась в этот раз посетить его «берлогу», как он называл свой номер.

Роскошный, двухкомнатный полулюкс, было видно – её поразил.

Поразил не мебелью, не коврами, а тем порядком, который характеризует каждого живущего – сразу с порога.

Даже на столе ни одна бумажка не лежала вне этого порядка, который стал, видно, сутью жизни её знакомого.

Он усадил её в удобное кресло, извлёк из холодильника бутылку сухого вина и наполнил бокалы.

Сам же просто, без рисовки, сел у её ног, прямо на ковёр и пронзительно глядя ей в глаза, произнёс:

– Я не знал, что так может быть. Я долго противился своему чувству. Но оно сильнее меня. И я, увидев Вас, понял, что ещё живой, что хочу жить, хочу любить Вас и быть всегда с Вами.

И она, не жеманясь, просто ответила:

– И Вы мне стали очень дороги. Я не знаю, как мне жить без Вас, без этого высокого чувства к Вам. Никогда, никогда в жизни я не испытывала ничего подобного.

Он заключил её в свои крепкие объятия и чуть ли не со стоном приник к её красивым и таким желанным губам...

Утром он долго лежал недвижимо, боясь потревожить её короткий сон.

Спала она очень красиво, подложив руку под щеку и прижавшись к своим красивым стройным ногам грудью.

Улыбка чуть приоткрыла её губы и он, не в силах больше терпеть, нежно их поцеловал.

Её руки сразу же замкнулись у него на шее и она тихонько прошептала:

– Не отпускай! Не отдам никому! Ты только мой. Господи, как же я долго шла к тебе, как я долго ждала тебя. И как я молила Господа об этой встрече.

И, уже сжигая все мосты за собой, трогательно и жалобно обратилась к нему:

– Не бросай меня. Я не смогу жить без тебя. Я просто умру без тебя.

– Я буду очень, – после долгой паузы, собравшись с духом, сказала она, – хорошей тебе женой. Доверься мне.

Он, смеясь, заключил её губы в свои и так они застыли надолго, отдавая друг другу неведомую ранее для обоих нежность и страстное обожание.

Он целовал её ноги, руки, красивый и тугой живот, такие пленительные соски крепкой и пышной груди и всё говорил, и говорил ей:

– Родная моя! Я ведь тоже не смогу и дня более быть без тебя. Мы должны быть вместе. Мы не имели права не встретиться, иначе свершилась бы неправда великая на Земле.

Позавтракав, он на руках отнёс её в другую комнату, уложил на кровать ставшее таким родным податливое и звенящее от счастья тело и твёрдо сказал:

– Ты отдохни, а я скоро вернусь. Есть неотложное дело. А чтобы ты не сбежала от меня – я закрою за собой дверь на ключ, – заключил с доброй улыбкой.

– Закрывай, я буду только рада, – ответила она, уже с закрытыми глазами.

Когда он вернулся, она ещё спала. Он тихонько сел на кровати, у её ног и неотрывно смотрел на ставшее таким родным красивое лицо.

– Родная моя! Вставай! У тебя есть один час. И за этот час ты должна стать самой очаровательной. Самой красивой на всём белом свете.

– Зачем? – она недоумённо, даже со страхом, смотрела на него.

– Потом узнаешь. Только... только скажи, где твой паспорт?

Ничего не понимая, она открыла свою изящную дамскую сумочку и достала из внутреннего отделения свой паспорт.

– Тогда – за работу! Вот твой ключ, от твоего номера, а я побежал. Встречаемся ровно через час. Внизу!

Ровно через час он ждал её у самого входа в корпус гостиницы.

Красивая, чёрная машина, на дверцу которой он опирался рукой, с дымящей в пальцах сигаретой, ослепительно сияла.

На заднем сиденье лежал букет белых роз. Он был в строгом, так его молодящем костюме, на левой стороне пиджака которого благородно отсвечивала Золотая Звезда на красной ленте.

Его седые, но ещё такие богатые и густые волосы, были красиво причёсаны.

Он с восторгом смотрел на неё – в алом, дорогом и так ей идущем костюме, красных же замшевых туфельках, она была ослепительно, не по годам даже, красивой.

Нарядная причёска – когда только и успела, – удивительно ей шла, подчёркивая свежесть её лица и природную красоту.

В ушах отливали скромные, но очень красивые серёжки, на шее, в отблесках солнечного дня, сияло золотое ожерелье.

Вся она светилась от счастья.

– Господи, какая же ты красивая!

Смутившись, она ответила:

– Спасибо. Но чем вызван весь этот переполох? Куда мы едем?

– А я разве не предлагал тебе выйти за меня замуж? Тогда я это делаю сейчас же и прошу Вашей руки и сердца. И едем мы, немедленно, в русское консульство. Я обо всём договорился и через час – регистрация нашего брака.

Она, если бы он не поддержал её, упала бы:

– Боже мой, ты что? Ты же совсем не знаешь меня! И разве это всё так делается?

– Да, хорошая моя! Именно так всё настоящее и делается. Поэтому ответь мне – ты согласна стать моей женой?

– Да, да, я почти за высокую честь быть твоей женой, но разве здесь, в другом государстве, это возможно?

– Ещё и не такое возможно, если любишь, – и он бережно усадил её в машину, сам же, на этот раз, сел впереди, рядом с водителем.

Через несколько минут они были у красивого старинного особняка, в котором располагалось российское консульство.

И когда она вышла из машины, с нею случился действительный обморок, на секунды, но его твёрдая рука – тут же вернула её к жизни, нежно, но крепко обняв за плечи.

У входной двери консульства, с букетами цветов, стояли её дети – дочь с сыном и ещё двое молодых людей – высокого роста, молодой черноволосый мужчина, и миниатюрная, броская и очень красивая молодая женщина, которая была так похожа на Него.

Он, тут же сияя от счастья, представил её этим молодым людям:

– Знакомьтесь, милые дети, это Галина Ивановна. Она оказала мне честь и согласилась составить моё счастье.

От растерянности и переполнявших её чувств, она почти лишилась дара речи.

И когда оцепенение прошло, она заключила в свои объятия Его детей и сказала:

– Я так счастлива. Он у Вас самый лучший.

– Мы это знаем, – тихо, но твёрдо, даже с вызовом, произнесла Его дочь.

– И нам бы очень хотелось, чтобы и Вы стали для нас родной и близкой. Папа заслужил право на счастье.

И, уже с доброй улыбкой:

– Мы верим, что так и будет. Жизнь не может быть немилостивой к Вам, Вы оба заслужили право на счастье.

Затем она обняла своих детей и пребывая в ступоре, даже не спросила их, а как они здесь оказались.

Всё прояснил её сын:

– А нам Владислав Святославович позвонил позавчера и велел сегодня, без любых оправданий, быть здесь. Вот мы и прилетели.

Она с восхищением и даже каким-то страхом посмотрела на него:

– Ты – что, сам Господь?

– Нет, родная моя, но я очень бы хотел быть им в этот день, – с доброй улыбкой проговорил он.

Регистрация их союза проходила в присутствии консула. Была очень душевной и красивой.

Статная, очень видная женщина, с лентой в цвета Флага России через плечо, сказала им добрые, видно было – не просто дежурные слова, а от сердца, от всей души и поздравила с таким важным событием в их жизни:

– Я не наставляю и не вразумляю Вас, как молодёжь. Вы заслужили право быть счастливыми. Вся ваша жизнь была трудной дорогой к этому счастью.

Красиво и молодо улыбнулась и заключила:

– Любви Вам и счастья, здоровья и благополучия! Кланяюсь Вам сердечно и желаю, чтобы этот день всегда обогревал Ваши сердца любовью и верой.

Он бережно надел на её безымянный палец правой руки обручальное кольцо.

Она в растерянности посмотрела ему в глаза и через запредельное волнение еле произнесла:

– А я? Я же не знала, что так...

И тут молоденькая девочка подошла к ней и на яркой бархатной подушечке поднесла обручальное кольцо для него.

И, уж совсем против правил, надев ему кольцо на палец, она прижалась губами к его красивой руке и прошептала:

– Спасибо, родной мой. Спасибо за счастье. Пусть наше счастье хранит Господь!

Он, в ответ, только прошептал ей, склонив свою гордую и непокорную в иных обстоятельствах голову:

– Да святится имя твоё!

Назавтра утром, под солнечными лучами которого буйствовала крымская природа, словно освящая и благословляя их союз, они шли от набережной к Собору Александра Невского.

Он был в форме и многочисленные отдыхающие, и спешащие куда-то местные жители останавливались, долго смотрели на эту необычную пару: у генерал-лейтенанта, на мундире, отсвечивала Звезда Героя Советского Союза, множество орденских планок свидетельствовало о том, что его ратный путь был сложным и опасным; она – ослепительно красивая, в строгом белом костюме, который так выгодно подчёркивал её безукоризненную фигуру, вызывала у встречных мужчин чувство восхищения и восторга – столько было в ней чувственности, светлой любви к Нему, которая не могла удержаться в её бездонных очах и словно согревала всех окружающих, доносила до них: «Люди, будьте счастливы! Любите друг друга! Только любовью – спасёмся сами и спасём мир!»

И этот восторг, эта мысль, не будучи изречённой, была той высокой правдой, которая угадывалась всеми.

И даже старый и опустившийся бродяга, который всегда у Храма сшибал копейки на очередной опохмел, стянул с головы свою, выдавшую виды, вязаную, не по погоде шапку, да так и застыл молча, провожая взглядом такую необычную, ни разу не виданную им пару.

А строгая старушка, которая была за старшую среди попрошайек и всегда следила за порядком у Храма, и за тем, чтобы подавания распределялись честно между всеми, с достоинством приняла от него солидную купюру и, молча поклонившись, стала осенять эту ослепительную пару крестным знаменем до той поры, пока они не поднялись по ступенькам и не вошли в распахнутые двери величественного Собора.

И когда её наперсники обступили её со всех сторон, ожидая справедливого дележа крупной удачи, она, обведя всех ледяным и торжественным взглядом, сказала:

– Нет, мои дети падшие. Этих денег я вам, на пропой, не дам.

Святые они. Пусть идут на нужды Храма.

И никто не стал возражать ей. Даже самые опустившиеся и заросшие до неузнаваемости волосами и бородами, что-то одобрительное прогудели в ответ и снова разошлись по своим местам, протянув за милостыней грязные и заскорузлые руки, а кто – банки, пластиковые стаканы, а то и всевозможные шапки.

Сам Архиепископ, высокая честь, встретил их посреди Храма. В его мудрых глазах, в которых отражалась вечность, тоже всплскивалось волнение и он про себя думал:

«Господи, сорок три года служу Тебе, а вот венчать такую пару не приходилось. Военные не представляли пред Господом для обета в верности в недавнее время, а чтобы генерал-лейтенант, да ещё и Герой Советского Союза – и помыслить не мог».

Но, тут же, сурово оборвал себя:

«Нет у Господа чинов. Все – рабы Божии и всем нужна Его защита и Его покровительство».

И он неспешно, торжественно, принялся за обряд венчания.

Свершив чин освящения брака, под песнопения женского хора, слаженного, с ангельскими голосами, подошёл к ним и произнёс слова, идущие от сердца:

– Дети мои!

В зрелую пору жизни Вы пришли за Господним благословением. Это значит, что выбор Ваш не случайный, это не дань моде, которую, чего греха таить, часто путают с тяжкой обязанностью для души, которую заповедал нам Господь и суть которой состоит в том, чтобы мы все любили друг друга, укрепляли, обоюдно, духовные силы, соблюдали чистоту помыслов и поступков.

Его голос разносился под сводами Храма:

– Сегодня Вы – пред Господом, дали обет в верности и любви.

Всегда об этом помните и высоко несите его. Тогда Вас, Вашу любовь всегда будет хранить Господь, у Него Вы всегда найдёте и совет, и поддержку, помощь в испытаниях, Веру и верность.

Заглянув им в глаза, как добрый отец – детям, продолжил:

– Не верящий человек никогда не может быть и верным. Поэтому – верьте в Господа нашего, верьте друг другу, укрепляйте и поддерживайте силы друг друга в поиске истины.

А истина – это Бог. Только Ему дано предопределить судьбу и дорогу каждого и воздать каждому по делам его и по заслугам.

Поэтому пусть сердца Ваши всегда будут устремлены к высокой любви друг к другу, ко всем своим ближним.

И чем больше любви Вы будете отдавать друг другу, тем больше её придёт в Ваших сердцах, Ваших душах.

Завершив своё, скорее – отеческое, нежели пастырское благословение, он троекратно расцеловал Его, а затем – и Её, за руки вывел из Храма и долго осенял их крестным знаменем, пока они не скрылись из виду.

Тому минуло несколько месяцев.

Однажды утром, зайдясь пунцовым румянцем во всё лицо и глядя на него глазами полными любви и счастья, она даже не сказала, а лишь едва слышно прошептала:

– Родной мой!

А у нас будет... сын. Это будет твой, наш сын. Я это знаю твёрдо. И хотя мне уже... немало лет – я рожу его тебе.

И когда он, исцеловал ей лицо, руки, а встав на колени – и живот, ноги и после этого приступа нежности, с тревогой обратился к ней:

– Галя, милая, а как ты всё это вынесешь? Уже ведь – годы...

Она закрыла его губы своей нежной рукой и сказала:

– Глупый ты мой. Когда любят, так как я тебя люблю – высшей радости для женщины быть не может. Это нам Господь послал такое счастье. Не тревожься за меня, я всё вынесу. Мы же ещё с тобой молодые и жизнь наша только начинается.

В назначенный Господом срок она явила ему сына. Долгожданного и любимого. И расцвела так, что даже её старушка-мать, тайком, крестила её вослед и просила у Господа защиты и покровительства своему дитяти:

«Господи, сохрани её и заступи! Уже почти внукам её пора замуж, а тут она сама родила. Чудны твои дела, Господи. Дай им сил и здоровья на ноги кроху поставить».

И тяжело, по-бабьи, зная цену утратам и невозвратным потерям, всё думала:

«Попробуй, вырасти его. Это же к двадцати годам ребёночка ей будет... Господи, дай им во здравии и благоденствии дожить до этих лет и дитя своё вывести в люди».

И, по-старушечьи всхлипнув, отёрла накопившие слёзы рукой и уже как-то зло, сама себе же и ответила:

— А чего не дожить-то! И не видела в жизни, и не слышала о любви такой. Спасибо тебе, Господи, что вознаградил дитя моё и даровал ей возможность такое счастье испытать.

И она истово и долго крестилась на икону, старинную, ещё материнскую и что-то шептала и шептала в своей молитве, обращённой к Господу.

*Благословенна юность,
если мы её помним
и в зрелые лета.
И скорбим по её утратам.*
И. Владиславлев

НИКИТСКИЙ САД

Господи, как он всегда ждал этой встречи.

И приезжая в Крым, к родителям, пока они были живы, хоть на денёк выбирался в Ялту, ехал в Никитский Ботанический сад и бродил там весь день.

И, если, что случалось крайне редко, этот день совпадал с тем святым и благословенным днём встречи с НЕЮ, он был счастлив вдвойне и бережно хранил в своей душе память об этом счастье высоком и таком желанном.

Он оживал и до мельчайших деталей вспоминал встречу с НЕЮ, здесь же, у бамбуковой рощи Никитского сада.

Он, молодой лейтенант, по выпуску из училища приехал к сёстрам и как они ни уговаривали его отдохнуть, не торопиться – времени на всё хватит – на второй же день уехал в Ялту.

– К вечеру буду, не волнуйтесь. А если задержусь – позвоню.

Победив на набережной, в любимом ресторанчике, он тут же купил билет и морским трамвайчиком, как обиходно звали этот шустрый кораблик, уплыл к Никитскому саду.

Бродил без усталости. Жадно вглядывался в потаённые уголки, красивые аллеи, цветочные клумбы, каскад водопадов, в которых росли кувшинки и редкость и красота неслыханная – розовые, словно из сказки, водные орхидеи.

И когда он, спустившись по крутой тропинке, дошёл до знаменитой бамбуковой рощи, увидел трогательную и изумившую его картину – очаровательная юная девушка, загоревшая, с красивыми волосами, собранными в высокий хвост, со стройными ножками, которые выглядывали из под короткого нарядного платья, держалась за ствол бамбука и в растерянности оглядывала всех проходящих мимо посетителей сада, взывая о помощи.

Но никто не обращал на неё внимания среди своего праздника жизни, и никто не полюбостствовал, что с ней приключилось, и в чём ей надо помочь.

Он же увидел это сразу. И обратил внимание на то, что правую ногу она держит на весу, не ставя её на землю.

Быстро подбежав к ней, он спросил:

– Милая девушка, я могу Вам в чём-то помочь? У Вас какие-то проблемы?

– Да, мне кажется, что я... сломала ногу. Неловко наступила на край ступени. Даже упала, – и слёзы полились из её зелёно-карих глаз, указывая на боль переносимых страданий.

Ещё не отдавая себе отчёта в том, что он предпримет дальше, он легко взял её на руки и пошёл к выходу из парка.

Она не сопротивлялась. Напротив, обхватив его шею двумя руками, доверчиво прижалась к его груди:

– Спасибо Вам, я даже не знала, что мне и делать. Вы меня только домой довезите, мама отдаст Вам деньги. И, простите, что испортила Вам день.

– Пустое, – ответил он.

– Это, – уже смеясь, – самый лучший день в моей жизни.

К удивлению зрителей парка он вышел через калитку, с девушкой на руках, прямо на дорогу и стал посреди неё.

Первая же машина остановилась перед ними и водитель, улыбочивый парень, спросил:

– Что же ты, лейтенант, с такой красавицей, под колёса бросаешься?

– Нет, брат, не бросаюсь, – ответил он. – Девушка сломала ногу. И её надо доставить домой.

Водитель спросил уже у неё:

– А где же ты живёшь, красавица?

– Чехова, двадцать четыре, – ответила она.

– О, так это на самой набережной. Поехали, домчу с ветерком.

И когда они остановились у нарядного домика, утопающего в зелени, он попытался вручить водителю деньги.

Тот с укором посмотрел ему в глаза и твёрдо сказал:

– Не надо всё мерить на деньги. Что же – я не человек? Со всеми может произойти такое. Прощай, служивый. Смотри, береги девушку, а не то – отобью, уж очень она у тебя красивая...

И тут же укатил по своим делам, огласив улицу долгим сигналом.

Он же, подхватив на руки зардевшую алой краской девушку, после слов подвозившего их водителя и ногой постучал в аккуратную зелёную калитку.

Через минуту она распахнулась и в проёме застыла красивая, но уже вступившая в осеннюю пору жизни, женщина.

Тревога выплеснулась у неё из глаз:

– Что, что, Галочка, случилось?

Так он и узнал имя своей подопечной, а в дороге, за разговорами с водителем, как-то не додумался.

– Не волнуйтесь, тётя. Просто сильно подвернула ногу и этот... молодой человек, он военный, тётя...

– Да уж это я вижу, – ответила женщина, оглядывая высокого красивого лейтенанта, который легко держал на своих руках её племянницу.

Влекомый тётушкой, он донёс девушку до ступенек красивого домика, следом за ней поднялся на крыльцо и вошёл в маленькую, но очень уютную гостиную и бережно положил дорогую ношу на диван.

Девушка уже улыбалась, а тётушка, как та наседка, всё причитала и поправляла подушки под больной ногой девушки. Правда, сообразила и тут же вызвала неотложку.

И пока та ехала, тётушка рассказала ему всё о своей племяннице, которая каждое лето гостит у неё и которую она очень любит «за её ангельский характер и трудолюбие», как родную дочь.

– Уж такая помощница, такая работающая, что я её – силком выгоняю, хоть искупаться на море за весь день.

И не останавливаясь – продолжила:

– Красавица, вся в мать. Та была, моя сестра младшая, очень красивая, да судьба, вот, настигла такая и не стало нашей голубки, – и слёзы щедрым ручьём побежали из её глаз.

– Тётя, не надо, Вы же мне давали слово, что больше не будете об этом.

– Не буду, не буду, доченька, – а сама тут же договорила, для него:

– Моя младшая сестра, её мать – была врачом, работала в Средней Азии. И, спасая детей, погибла во время землетрясения.

И она вновь зашла в рыданиях, с которыми, правда, очень быстро справилась.

– Вот, осталась она, моё счастье. Прошу – переезжай ко мне, куда мне одной-то, а она говорит: «Перееду, как только закончу медицинский институт».

– Так мы и живём – от лета до лета.

И тут же всполошилась:

– Ой, да что же это я со своими разговорами? Вас же покормить надо.

И тут же захлопотала по хозяйству, собирая обед.

Врач скорой помощи – старый и опытный лекарь, осмотрев ногу девушки, наложил на неё тугую повязку и успокоил тётю:

– Перелома нет. Просто сильное растяжение. Недельку полежит – и хоть в пляс, на свадьбе, – и он лукаво посмотрел на спасителя девушки, о котором тётушка не преминула сообщить лекарю.

И когда тётушка увела его под руку в столовую, лекарь не упрямылся, не изображал из себя сверх занятого человека, обеспокоенного какими-то великими проблемами.

Со вкусом выпил стакан домашнего вина, красиво и аппетитно съел наваристый борщ, второе, не отказался и от бутылки с домашней наливкой, которую тётушка вручила «для товарищей», отверг только деньги:

– Ну, зачем Вы так? Не надо, милая. Вы и так, вон, как меня приветили.

Жеманно ей поклонился и неспешно пошёл к калитке.

И тут тётушка развернулась в полную силу. Она заставила его перепробовать всё, что было на большом столе.

Маленький столик, который она приспособила у дивана больной – тоже не пустовал.

Там, так же часто, менялись тарелки и она прикидывала на племянницу, так как та, якобы, ничего не ест, хотя девушка, с завидным аппетитом, съела многое из того, что ей подкладывала неугомимая тетушка.

Да и её вид – жизнерадостный, сильная и вместе с тем – изящна фигурка, скорее говорили об обратном.

Наступил вечер. Ему никогда не было так уютно и светло.

Незнакомые люди, но как ему было дорого их внимание, искренняя забота тётушки – такого ему изведать не пришлось, так как с четырёх лет он воспитывался в детдоме, откуда и пошёл в военное училище.

И, конечно же, он, не любивший и не издевавший в жизни этого светлого и высокого чувства, сразу понял, что столь необычная встреча с этой девушкой – Галиной Крыловой, это судьба.

Он не отводил от неё своего восхищённого взгляда, он её уже любил безоглядно, на всю оставшуюся жизнь.

И она это чувствовала и тоже отвечала ему всем своим чистым девичьим сердцем, которое так же ещё не извело любви. Несовершенные стихи одноклассников и даже студенческие ухаживания за ней, не затронули, пока, её сердца и оно было открытым для светлой и чистой любви.

«Ну, посмотри на меня, – говорил её взгляд, – неужели я не нравлюсь тебе?»

И он, краснея до корней волос, что не укрылось от пронизательного взгляда тётушки, только глубоко вздыхал, отвечая, про себя, на её вопрос:

«Нравишься, ещё и как ты мне нравишься. Такую девушку нельзя не любить».

И она счастливо улыбалась, увидев в его глазах и восторг, и упоительное восхищение её красотой и молодостью.

Так чисто и свято любят лишь в юности, когда предмет обожания освобождается от всех, даже существующих недостатков и наделяется немислимыми добродетелями и даже такими качествами, которых не существует в природе.

Но здесь было редкое исключение – они ещё ничем не осквернили свои души, были чисты и наивны, не познали силы плотского греха и все их чувства только окрыляли юные сердца и устремляли светлые души к совершенству и духовной чистоте.

И когда он, наконец, собравшись с духом, заявил, что ему надо ехать, добираться в Симферополь, тётушка даже руками замахала:

– И не думай! Ни в жисть, в ночь, неведомо куда – не отпущу.

И – уже трезво и практично:

– Телефон у родства есть?

– Так чего же ты сидишь – звони, а говорить я буду сама.

Когда он набрал номер сестры, та, встревожено, запричитала:

– Ты где? Ночь ведь уже на дворе...

Тётушка властно взяла телефон из его руки, тепло и сердечно объяснила сложившуюся ситуацию, заявив, что она мать, а не басурманка какая-то и в ночь мальчика из своего дома не отпустит.

Сестра успокоилась и ему сказала, попросив тётушку передать трубку:

– Очень хорошие люди. Молодец тётушка, что тебя не отпустила, на ночь глядя. Переночуй, а утром мы ждём тебя.

Всю эту ночь он не спал.

Не спала и она. Слышала, как он мерит шагами веранду, ещё неумело курит, но никто из них – не обронил ни слова.

Не позвала и она его к себе, хотя так хотела, но прекрасно осознала, что никаких преград к единению не только душ, но и тел, теперь между ними не существует. Именно этого и испугалась.

«Господи, какое же это счастье, – думала она, – я так его люблю. Какое счастье, что он мне встретился, что он есть на белом свете».

Он же, чувствуя горечь во рту, снова закурил сигарету и всё пытал и пытал себя:

«Нет, что ты можешь предложить такой девушке? Кушку, куда ты назначен командиром взвода? Это не для неё. Она достойна лучшей участи. Поэтому – угомонись и успокойся. Не смей ей признаваться в своих чувствах».

Назавтра утром он уехал к сёстрам. Сказал, что непременно приедет ещё, возвращаясь от родителей, которые жили на берегу Азовского моря, под Казантипом.

Но, выдержав там всего лишь два дня, он сорвался и ничего, толком, не объяснив матери, уехал в Ялту.

Она уже тихонько ходила, с тросточкой. И когда открылась калитка, он увидел измученное, с синими кругами под глазами, лицо.

На её переносице даже застыла горестная морщинка, а губы, её сочные губы, которыми он так любовался в тот вечер, были обескровленными и не бледными даже, а синими.

Увидев его, она отбросила трость в сторону и устремилась, прихрамывая, ему на встречу.

– Господи, – заключив его в свои объятия и покрывая его лицо поцелуями, – запричитала она:

– Я думала, что никогда больше не увижу тебя. Я бы... Я бы просто не пережила этого, родной мой, любовь моя светлая и счастье моё высокое. Единственный мой...

Он подхватил её на руки и понёс в дом.

– Тётушки нет, она уехала в Балаклаву, будет только завтра, поздно вечером, – бессвязно шептала она, всё теснее прижимаясь к нему всем телом.

– Я вся, вся твоя, родной мой...

Утром кружилась голова, чувство невообразимого счастья так напоило их обоих, что они не могли даже говорить и только крепко сжимали руки друг друга и не могли разнять свои юные и такие красивые непорочные тела.

– Родная моя! Я сразу же извещу тебя, и ты приедешь ко мне. Ты – жена моя, счастье и радость моя. Единственная и желанная.

– Да, мой дорогой, до скончания веку – я твоя и я всегда буду с тобой.

И когда они объявили тётушке, которая вернулась домой и всё сразу поняла, о своём решении, та не удивилась и тут же благословила их старинной иконой: «Мать моя говорила, что ещё её прабабка шла под этой иконой под венец».

Семьдесят девятый год взорвался над всей страной. Отныне, на долгие десять лет, все матери будут вздрагивать слышав об Афганистане, где сражались и гибли их дети. А им, даже получив страшное известие о гибели своей кровиночки, не давали права увековечить место их ухода в мир иной и везде, предупреждённые и запуганные кладбищенские служки выбивали на камне стереотипное «Погиб при выполнении воинского долга».

Он, уже опытный и послуживший офицер, первым заявил комдиву, что готов выполнить интернациональный долг «за речкой», как называли этот неведомый край его сослуживцы.

«Родная моя, – только и написал он ей, – дела службы требуют того, чтобы я ненадолго отлучился. Поэтому твой приезд ко мне несколько откладывается. Вернусь – сразу же извещу тебя об этом. Я очень тебя люблю, родная моя. Только верь мне и жди».

Но Господь по-иному выстроил их судьбу. И не знали они, что в том, что произошло, никакой их вины не было. Особенно – она, страда и мучаясь, так и не узнала подлинной правды.

Они были святы пред Господом, а ему было угодно так испытать силу их духа, силу их чувства, их любви, веры и верности, а ещё – силу воли.

При взятии дворца Амина он был тяжело ранен. Страшные раны, до неузнаваемости, обезобразили его лицо.

И когда он, впервые, увидел себя в зеркале, застонал от боли и осознания великого несчастья:

«Нет, – первой мыслью было именно это, – я не могу таким предстать пред ней. Никогда. Она будет сторониться меня, уроды, и мы оба, в силу этого, будем несчастными».

И приняв это решение, спрятав в карман завёрнутую в носовой платок Золотую звезду Героя Советского Союза, которую он так и не носил, успокоился. Выздоровев, стал сам напрашиваться во все горячие точки, туда, где шла война. Благо, таковых возникало всё больше и больше.

Он запретил себе даже думать о ней и никогда не позволял своей памяти вернуться в прошлое.

Ангола, Алжир, Куба, Египет, ещё раз Афганистан – это был далеко не полный перечень тех государств, где шла война и где был нужен его опыт, его непреклонная воля и знания...

И вот уже несколько лет назад всё закончилось. Не заметил даже, как ему минуло пятьдесят пять лет. Да и раны, пережитое – сделали его ещё старше лет на десять.

И он, не дожидаясь решения руководства, заявил, что больше служить так, как он служил, у него нет сил.

И его отпустили. Случай уникальный, небывалый, ему даже пенсию не определяли, а оставили, навечно, в списках Главного разведывательного управления и жить он мог безбедно с материальной точки зрения.

Но, какими же тяжёлыми были его мысли, когда он оставался один: «Зачем я жил вообще? Что я увидел светлого в этой жизни? Только и было счастья – те несколько дней в Крыму».

«Господи, поняла ли она меня, простила ли, что это не моя воля оторвала меня от неё?»

«Я бы никогда не смог этого сделать. И всё помню, как будто это было вчера».

Имея много свободного времени, вольных средств, которые ему выплатили в ГРУ за годы и годы его отсутствия на Родине, он, не говоря никому ни слова, собрался и улетел в Крым.

Не узнавал Симферополя, а ведь здесь жили его сёстры – город расстроился, похорошёл.

Он, сразу же, на вокзале, взял машину и назвал водителю адрес: – Ялта, улица Чехова, двадцать четыре. Прошу Вас. Я всё оплачу в двойном размере.

Через час с небольшим, машина остановилась у дома, до боли знакомого, но как-то просевшего в землю и утратившего ту броскость и яркость, которую он помнил.

Да и минуло ведь – более тридцати лет с той поры, когда он был здесь последний раз.

Густая борода, совершенно седая, усы, скрывали страшные шрамы на его лице, а дорогая богатая одежда свидетельствовала о том, что её обладатель – не опустившийся «бомж», а человек состоятельный и независимый ни от кого.

Он не стал выжидать у калитки и сразу же надавил кнопку звонка.

На крыльцо вышла яркая, ещё молодая, но замученная какими-то обстоятельствами женщина и направилась к калитке:

– Вам кого?

– Простите, мне бы кого-нибудь из Крыловых... Тётю и... её племянницу.

Женщина грустно улыбнулась и, помедлив, тихо ответила:

– Опоздали Вы, на много лет. Никого не осталось в живых. И тётушка, я её дальняя племянница, умерла, и её приёмная дочь, по-моему,

Галиной, да, Галиной Крыловой звали, страшно болела после ранения, тяжёлого, которое она получила в Фергане или Оше – не помню уже.

– И только её дочь живёт где-то на Кубани, туда замуж вышла.

Простите, но больше мне ничего о её судьбе не известно.

Он, поблагодарив эту милую женщину, которая так внимательно вглядывалась в его лицо, словно силилась узнать в нём кого-то знакомого и медленно пошёл в сторону набережной.

Она тоже стала неузнаваемой, везде стояли автомобили, уже не те, советские, а почти все, поголовно – зарубежные и их водители предлагали «почти даром» отвезти туда, куда душе будет угодно. Он, выбрав просторную чёрную «ауди», сказал водителю:

– В Никитский сад. Там подождёшь меня. Вот – залог, – и протянул тому такую сумму денег, которых он и за месяц не мог заработать.

Таксист услужливо и торопливо ответил:

– Как Вам будет угодно. Видно, что Вы – не местный. И я, если нужно, готов Вам служить.

Минут через двадцать они уже были у верхних ворот Никитского сада.

Только здесь он дал волю своим чувствам, сел в кресло в ресторанчике, попросил бокал коньяку и выпив его залпом, горестно застыл в оцепенении.

«Я, только один я, виновен в её смерти. Господи, что же я наделал? Сам себя обворовал, её несчастной сделал. И она даже не узнала, почему я исчез из её жизни».

Скупые слёзы скатывались по его щекам, а он их даже не вытирал.

Расплатившись за коньяк, жадно закурил и побрёл по знакомым дорожкам сада.

Ничего здесь не изменилось за эти долгие годы.

Так же буйствовала зелень, но его ноги, произвольно, несли его, сами, к бамбуковой роще.

И дойдя до неё, он чуть не вскрикнул от боли – опёршись на перила мостка, перед рощей, стояла обворожительная молодая женщина, тридцати с небольшим лет. Рядом с ней, деловито и упорно что-то передвигали два очаровательных мальчика – одному было лет восемь, а второй был ещё совсем маленьким, двух-трёхлетним, не больше.

Он, не помня себя, взбежал по ступенькам мостка и схватив молодую женщину за плечи, простонал:

– Галя, Галя, родная моя, это я! Ты не узнаёшь меня?

И женщина, удивительно похожая на мать статью и на него – лицом, в ту далёкую пору, просто и тихо ответила:

– Здравствуй, отец. Она так тебя ждала. Всю свою жизнь. Где же ты был все эти годы? Я специально и приехала с детьми в Ваш день сюда, о котором она всегда вспоминала.

Мальчики, два очаровательных его внука, с серьёзными лицами смотрели на него и, словно понимая, что происходит в его душе, поочерёдно протягивали ему конфеты, а младший при этом говорил:

– Возьми! Нам нисколько не жалко, только не плачь. Разве мальчики плачут? Нам мама говорит, что мужчины никогда не плачут. Ни от какой боли.

Ему не хватало воздуха и он, медленно опустившись на колени, обнял своих внуков, которые затихли и не сторонились незнакомого им человека.

Знать, почувствовали их маленькие сердца, что этот человек так нуждался в их внимании и их тепле. В их помощи.

А дочь его – тихо стояла в стороне и с доброй улыбкой, со слезами на глазах, смотрела на трёх застывших мужчин – седого отца и своих, вмиг повзрослевших, сыновей.

*Изумление чистотой чувства
в юности служит залогом его
долговечности и святой памяти
о том времени, когда мы были
лучше, когда нашу душу не
отягощал груз нажитых ошибок.*

И. Владиславлев

ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО

Как же я любил эту тихую улочку в затерянном старинном районе, что возле самой набережной, в Керчи.

И приезжая в этот город юности, я всегда приходил сюда, и часами бродил вдоль набережной, поднимался на самую вершину Митридата и, прислонившись спиной к нагретым за день камням, всё стоял и стоял в ожидании, что услышу, как и в то далёкое время, волшебные звуки рояля.

Щемило душу от этих пронзительных звуков и мне всегда казалось, что так грустно и так чувственно – полонез Огинского не звучал никогда, сколько бы раз я его ни слушал...

Воспоминания нахлынули тёплой волной и я, давно уже встретивший свою позднюю осень жизни, дорожил ими и никак не хотел, чтобы они прерывались и отпускали моё сердце, да и всю мою душу из под своего влияния.

Как же давно это было! Даже не верится, что от тех далёких дней минула целая жизнь.

Нас, сорванцов из детдома, возили в школу на окраину Керчи. Своей школы в детдоме не было и учительский коллектив городской школы, скрепя сердце, вынужден был терпеть наше присутствие в этом очень приличном и старом учебном заведении.

Я сразу заметил миниатюрную, необычайной красоты девочку.

Аккуратно подстриженная головка, с иссиня-чёрными волосами, украшала и удивительно дополняла её стройную фигурку.

Несла она свою красивую головку – как-то по-особому гордо, с высоким достоинством. Вместе с тем, это не порождало отчуждённости от неё, а напротив, вызывало стремление у всех мальчишек ей служить, быть в числе отмеченных её вниманием.

Не стал исключением и я. Я, выросший среди уличной шпаны и с четырёх лет живший в детском доме, отличался от своих товарищей по несчастью лишь одним – всегда блестяще учился.

Я даже не знал, зачем мне это было нужно и никаких особых усилий я к этому не прилагал. Но само по себе сложилось так, что с самого первого класса, а затем – всегда, я учился только отлично. Школу, военное училище, академии, в которых я обучался, я закончил с золотыми медалями, которых собралось у меня изрядное число. Я забыл ещё об университете, философский факультет которого закончил в ранней молодости.

Правда, всё это было впереди.

Сейчас же, в первый день пребывания в школе, я сам, неведомо для чего, на всех уроках поднимал руку и, несмотря на скепсис своих товарищей, выходил к доске и изумлял учителей обширностью своих знаний.

Помню, как затихал класс, а учителя истории, русской литературы, иностранного языка чувствовали себя как-то неуютно, так как этот давно не стриженный, с упрямыми вихрами на голове, не мальчик уже, но ещё и не юноша, во многих случаях превосходил даже их познания и углублялся в предмет далеко за пределы программы.

И уже на первой перемене, эта девочка, которая так мне понравилась с первого взгляда, первой подошла ко мне, протянула свою крошечную руку и просто сказала:

– Люся, Люся Гнесина. А ты, я уже знаю, Иван Владиславлев. Да?

– Да, меня зовут так. Но в детдоме – всё больше как-то по фамилии – Владиславлев, да Владиславлев.

– Нет, я не хочу тебя называть по фамилии. Иван, Ваня, Ванечка...

Я покраснел. Никто, никогда меня так не называл за всю жизнь.

И уже в этот же день я провожал её домой, нёс в своей левой руке её нарядный портфель.

Надо сказать, что детдом был у нас особый. И честное слово, данное воспитателю, служило порукой тому, что воспитанник никогда его не презреет.

Поэтому дежурный воспитатель, без лишних вопросов, разрешил мне прийти в детдом на два часа позже, нежели обычно.

— А откуда ты столько знаешь? Я — лучшая ученица класса, но в сравнении с тобой — мне даже страшно сказать, кто я, — она это произнесла просто, без лукавства, и никогда, затем, не оспаривала ни по одному предмету моего заслуженного права — быть лучшим во всей школе.

Так мы, впоследствии, и получили по завершению выпускного класса две медали на всю школу: я — золотую, она — серебряную...

Школа как-то притихла с появлением внешне разухабистых детдомовцев.

Былые авторитеты померкли — эти хулиганистые мальчики превосходили их организованностью, болезненным чувством справедливости. И если она где-то порушалась — не боялись броситься на её защиту, если даже оставались в меньшинстве.

И никогда, ни при каких обстоятельствах, не дрались двое на одного и не били лежачего.

Буквально на второй день моего пребывания в школе, ко мне подошли братья Федотовы и без обиняков заявили:

— К Люське — больше не подходи. Бить будем, понял?

Я молча прошёл между ними, а по завершению занятий — ждал Люсю у школы и вновь проводил до самого дома.

На обратном пути, в парке, меня встретили братья Федотовы, да не одни, а с друзьями. Били жестоко, зло, даже ногами.

И в какой-то момент — красное зарево полыхнуло в моих глазах и я почувствовал, что ещё миг — и я потеряю сознание.

И тогда, весь в крови, я раскидал, неведомо где и взялись силы, всю свору нападавших и схватив за горло старшего Федотова, так сдавил его, что у того и глаза вылезли из орбит:

— Удавлю, гада, — сквозь кровавые пузыри на губах прохрипел я.

— Герои, впятером — на одного.

Рука на горле Федотова не ослабевала и тот стал терять сознание и валиться мне под ноги.

Нападавшие опешили. И только брат Федотова закричал:

— Пусти его, придурок, ты же его задушишь!

— И задушю, если ты сделаешь, ещё хотя бы один шаг, вперёд. Вон отсюда, шакалы.

И когда те отступили, я отпустил руку на горле Федотова и тот упал к моим ногам, страшно хрипя и отплёвываясь.

С этого дня меня трогать больше боялись.

Досаждали другим – на доске появлялись талантливые и хлётские рисунки, с язвительными подписями.

И ни разу, как ни стремился к этому, я не застал того, кто это рисует и пишет.

Но, увидев рисунок и скабрезную подпись под ним, я бледнел и пытался – прямо рукавом пиджака, стереть эту похабщину.

Но почему-то Федотовы всегда в этот миг были рядом и злобно надо мной насмехались.

И я, от ярости и бессилия, стал таять прямо на глазах, угасать день за днём.

Страшно исхудал, лицо стало жёлтым, глаза ввалились.

И в один из дней, прямо у классной доски, я потерял сознание.

Пришёл в себя не скоро. В какой-то больничной палате – надо мной хлопотал доктор в белом халате и шапочке, а милосердная сестра делала укол в руку.

И через пелену густого тумана в голове, нестерпимую слабость и тошноту, я услышал:

– Да, Людочка, туберкулёз. Я в этом просто убеждён. Жалко мальчишку, ему бы в лесную зону, где сосны, ели, да хорошее питание. А тут – детдом... Почти через одного – туберкулёз.

– Как называют эту болезнь во Франции, знаете, Людочка?

И не дожидаясь ответа:

– Болезнь нищих, обездоленных...

Но, едва придя в себя, я страдал больше не от страшного приговора врачей, а от того, что не вижу её, лишён возможности любоваться своим божеством, своей мечтой и взлелеянным в моей душе высоким счастьем.

Чуть поддержав и поставив на ноги, меня отправили в санаторий, специальный, где лечились от этой страшной болезни мои товарищи по несчастью, как правило – воспитанники детских домов со всего необъятного Союза.

Моей воле и желанию выздороветь поражались и врачи, и воспитатели: я, без единого стога, перенёс две операции; помнил и в зрелые годы, как об этом рассказывал всем детям хирург, обезьяноподобный, огромный, но чрезвычайно добрый и сердечный врач Григорий Григорьевич. Его фамилию я, к сожалению, не помню.

И я даже помнил, как во время операции, от нестерпимой боли, выругался. Хотя я хорошо помню, что только и сказал: «О, чёрт...». И медсестра, красивая, яркая девушка, меня пристыдила:

– Что же ты ругаешься-то? Нехорошо...

Но, сама же, показала мне через день свою руку, на которой отпечатались багровые синяки от моих пальцев – так я от страданий сжимал её кисть, а она терпела, не убирала её. Более того, в минуты нестерпимой боли, ещё и старалась ответить пожатием своей руки, поглаживанием моих пальцев.

Рассказывая об этом, ещё и похвалила меня:

– Ты – молодец. Я, по правде говоря, не видела такого терпеливого мальчика.

И оставила мне на груди, прямо на одеяле, красивое большое яблоко.

Но только я один знал, чем продиктована моя воля к выздоровлению – я хотел, во что бы то ни стало, увидеть ту маленькую девочку, которая заполонила всё моё сердце.

И уже через год, случай почти небывалый, я вернулся в свой детдом. Мне при этом показалось, что я стал намного старше, взрослее своих однокашников.

С каким же я нетерпением ожидал окончания лета, чтобы снова начались занятия в школе, так как от товарищей по классу знал, что она уехала куда-то с родителями на всё лето.

Только двадцать седьмого августа я услышал доносящие из её окна волнующие звуки рояля.

Она вновь играла свой любимый полонез Огинского. Но тон игры, сама манера исполнения – были иными, и я в растерянности остановился на полпути к её двери.

Оглядел себя, и, пожалуй впервые, увидел, как я бедно одет. На ногах были привычные, коричневые, с белой подошвой кеды, не первого лета – старые коричневые брюки и одна из двух, которые у меня были вообще, чёрная рубашка, которая от частой стирки утратила свой цвет, стала какой-то серой, с белёсыми разводами.

Красивые, в общем-то, руки, с длинными пальцами, были неухоженными, так как я просто обрезал ногти, и теми же ножницами, их режущей частью, зачищал их от заусениц – вот и весь уход.

Никогда это не вызывало у меня никакого неудовлетворения, сомнений и терзаний

Сегодня же я впервые устыдился своей бедности и усталым шагом поплёлся в свой детдом.

В первый же день занятий, в последнем, десятом классе, и она повела себя более чем странно. И я от этого страшно страдал.

Повзрослевшая за лето, ставшая ещё ослепительнее в своей красоте юности, она смотрела на меня покровительственно-снисходительно, едва удостоив кивка головой в первую, после долгой летней разлуки, встречу.

Что-то произошло между нами. И объяснения этому, в ту пору, я никакого дать не мог. И только гораздо позже, уже изведав утраты, и закрыв не одни глаза своим боевым товарищам в Афганистане, я понял, что просто перестал быть интересным для этой юной девушки, своей первой любви.

Она переросла меня.

И когда я увидел её с Валерием Мещаниновым, который был гораздо старше за нас обоих, чуть было не сошёл с ума.

Сколько написал я ей писем, посвятил стихов – всё было тщетным. Ответа на свои признания я так и не получил.

Проявив чудеса изобретательности, даже сам поразился, откуда это и взялось у меня – всю медкомиссию за меня прошли мои друзья, так как с моими лёгкими ни о каком военном училище не могло быть и речи – сразу же после десятого класса, получив вместе с ней медали на выпускном вечере, но, так и не объяснившись, уехал в далёкий и неведомый город, где и был сразу же, как золотой медалист, зачислен на первый курс.

Завершив учёбу, я, будучи вправе выбирать место службы, так как получил диплом с отличием, уехал в Туркестан, практически – в ссылку...

Затем были Афганистан, Ангола, Египет, и второй раз – Афганистан...

Я не ожидал такой встречи, но мой товарищ по детским детдомовским испытаниям, ставший к этому времени военкомом Керчи, устроил мне такие чествования, к которым я не привык.

Вся моя военная служба не терпела афишизации, порой я даже отвыкал от собственного имени, фамилии, а только и отзывался на прикипевшую кличку «Седой».

Моя голова, к сорока двум годам, стала совершенно седой, хотя и с богатыми ещё волосами.

Седыми же были и аккуратные усы, к которым я привык и носил их уже более двадцати лет.

Несколько портил мой облик – ещё багровый, свежий шрам, который пересекал правый висок и щеку, но хирург столь профессионально сделал свою работу, что он не менял выражения лица, а только делал меня чуть старше и суровей.

Сегодня, за долгие годы, я был в мундире. Что уж греха таить – впервые облачился, не без удовольствия, в генеральский мундир и непривычно останавливал свой взор на широких алых лампасах, которые всегда были заветной мечтой любого военного человека.

Почему-то именно они казались мне более непривычными, нежели Золотая Звезда Героя, которая у встречавших меня однокашников вызвала чувство высокой гордости за своего товарища, и они, не скрывая своей радости, без команды, но дружно закричали:

– Ура! Ура, Герою! – как только я показался из вагона поезда.

Очаровательные девушки поднесли мне хлеб-соль, другие – массу цветов, которые я тут же передал – каждой из вручавших ему нарядные букеты.

Они смущались, но с радостью приняли эти цветы и как-то дружно вздохнули, проникновенно глядя на понравившегося им молодого генерала одинаковыми глазами незамужних женщин.

И я, принимая все эти почести и считая их не вполне мною заслуженными, всё показывал руками на своих товарищей, на яркую ещё, но уже отцветающую броской женской красотой свою любимую классную руководительницу – Тамару Кузьминичну Кольцову, которая в школьные годы относилась ко мне даже более, нежели дружески.

И я это чувствовал. Это было не материнское чувство, нет. И она знала это сама и всегда злилась на себя, если задерживала свой взгляд на одухотворённом лице талантливого, необычного юноши.

Единственный раз, когда я приехал в отпуск на встречу выпускников, она меня обняла и, не таясь никого, в первый и последний раз в жизни, поцеловала нежно и страстно.

И я это почувствовал. Вздрогнул. Покраснел. И потянулся, ответно, за её такими красивыми и свежими губами.

Но она положила свою ароматную ладонь на мои губы и только прошептала:

– Не надо, родной мой. Не надо. Прошла моя весна. Старая я уже для тебя...

Так и осталась между нами эта тайна. Но мы её не стыдились и бережно несли по жизни и всегда помнили. Оба.

Мне даже казалось, что это чувство помогало в жизни, полной опасностей, хранило в непростых испытаниях судьбы.

И сегодня, когда прильнул к руке любимой учительницы, она погладила мои густые волосы другой рукой и просто сказала:

– Ванечка! Как же ты возмужал. Ты уже не тот мальчик, которого я помню и люблю – до сей поры люблю...

И она бережно дотронулась до моих погон на мундире, на минуту – до Золотой Звезды и сказала:

– А теперь – иди, а то на меня твои ребята будут обижаться. Иди, иди, мой родной, тебя ждут...

Был долгий и добрый вечер. Много говорилось речей, каждый вспомнил – самое яркое и запомнившееся за долгие годы детдомовского братства.

Почти под утро все разошлись. Военком предлагал остановиться у него:

– Жена будет рада. И ребятишки. Да и места хватит.

Но я предложения не принял, отказался от машины и пошёл в гостиницу.

И выпроводив, наконец, друга-военкома, дав тому слово, что завтра непременно приду в гости, остался в номере один.

Через открытое окно и балконные двери слышна была ночная жизнь моря, морского порта.

Как-то настырно, но приглушенно, словно учитывая близость жилых домов и утреннюю пору, покрикивали корабли.

Я вышел на балкон, выкурил сигарету и, уже не раздумывая, решительно направился из гостиницы.

Ноги сами шли привычным маршрутом, сознание даже и не включалось.

И уже через несколько минут – я был на знакомой улочке.

Мало что переменялось здесь за долгие двадцать лет. Да, двадцать лет минуло с той поры, как я был здесь в последний раз, сразу по завершению училища.

Только напротив дорогого и памятного для меня дома появилась детская площадка, под пластиковым навесом.

Я туда и направился. Сел на скамейку и, учитывая раннее утро и отсутствие детишек на площадке, закурил.

Пожилый уже дворник, с недоумением поглядывал на генерала, который недвижимо сидел на скамейке, фуражка лежала подле него, а густые, но совершенно седые волосы его – растрепал утренний ветер и тихонько играл ими.

И, вдруг, на втором этаже дома, который дворник знал, как свои пять пальцев, открылось окно.

Он знал, что там живёт учительница музыки, маленькая приветливая женщина, с гордо посаженной головкой, волосы на которой уже щедро выбелила седина.

На глазах дворника она превратилась из жизнерадостной, искромётной девушки, которая с утра до ночи играла на пианино, и дом к этому привык, никто не протестовал, в молчаливую, но неизменно вежливую даму.

Если случались дни, когда музыка не звучала, все жители дома начинали волноваться и переживать за неё – все знали, как несладко живётся этой милой женщине.

Муж постоянно пьянствовал, устраивал какие-то сцены, даже говорили, что был скор и на руку, так как она нередко искала защиты и пристанища у знакомых с маленьким сыном.

А несколько лет назад её муж, будучи пьяным, сел за руль автомобиля и разбился насмерть.

С той поры рояль в этом доме почти не звучал. Только какие-то скучные и обязательные музыкальные пьесы детей нарушали тишину, так как все знали, что иного источника существования у этой женщины нет и она подрабатывает, обучая школьников на дому игре на рояле.

А вот сегодня – дворник даже неслыханно удивился: в ранний утренний час из окон полились звуки любимой и им мелодии.

Он даже не знал, как называется эта музыка, но так её любил, его старое и невзыскательное сердце волновали эти светлые и торжественные звуки.

Он даже перестал мести тротуар и, опёршись на метлу, застыл на месте.

Поднялся при звуках рояля и генерал.

Дворник видел, как тот побледнел и как-то нервно, торопливо застегнул мундир на все пуговицы и, сделав несколько шагов к дому, застыл недвижимо.

Музыка лилась едва слышно, её исполнительница учитывала утренний час и только в конце, не сдержавшись, исполнила заключительный проигрыш почти в полную силу, так, как играла в прежние времена.

И тут же наступила такая звенящая тишина, что стало слышно даже щебетание птиц в густых каштанах, которые подступали к самому дому.

Генерал, постояв ещё мгновение недвижимо, вернулся к скамейке на детской площадке, где лежала его фуражка, взял её левой рукой и медленно, не оборачиваясь назад, пошёл по аллее к морю.

И только старый дворник видел, как к распахнутому окну подошла маленькая, милая женщина, с гордой головкой и посмотрев на аллею, по которой удалялся медленным шагом от её дома генерал, схватилась руками за область сердца и прижалась спиной, чтобы не упасть, к створке распахнутого окна.

Дворник, который стоял почти под окном квартиры этой женщины, услышал, как она, сквозь стон и слёзы, говорила себе самой:

— Ванечка, Ванечка Владиславлев... Это — он. И как жаль, что жизнь не переиначишь. Ошиблась я, родной мой, роковую ошибку совершила...

Жалобно всхлипнула:

— И тебя обидела. Но я за всё заплатила... сполна. Всё Господь вычел из жизни.

И через рыдания почти прокричала:

— Будь счастлив, мой хороший.

Справившись со своим волнением, она отошла вглубь комнаты и оттуда, во всю силу, полились аккорды полонеза Огинского.

Генерал замедлил свои шаги. Остановился посреди аллеи. Постоял в раздумьях, но лишь миг, и резко повернувшись, твёрдым и уверенным шагом пошёл к дому, из окон которого лились такие торжественные и печальные звуки полонеза.

Дворник с изумлением наблюдал, как генерал решительно рванул на себя входную дверь в подъезд и бегом, это было слышно, поднялся на второй этаж.

В квартире, где звучала музыка, раздался звонок.

Женщина перестала играть и заспешила к двери, каблучки её туфель звонко простучали по паркету.

Последнее, что услышал дворник после того, как щёлкнул замок на входной двери, был её вскрик:

– Господи, как же я ждала тебя! Родной мой, какое счастье, что я вижу тебя, Ванечка...

И дворник, устыдившись того, что стал невольным свидетелем этой сцены, стал быстро мести тротуар, хотя на нём и так не было ни одной соринки. При этом неведомая даже ему самому, светлая улыбка так осветила его лицо, что шедшая на рынок его пожилая знакомая даже истово перекрестилась:

– Свят, свят, никогда не видела Карпыча таким. Даже – пьяненьким он никогда не улыбается. А тут – неведомо, что и приключилось.

Но она не стала мешать его радости и тихонько поплелась по улице, всё норовя разгадать в своём уме такую необычную для себя задачу – отчего так хорошо и так чисто улыбался дворник в это раннее утро.

*Будь благословенно прошлое,
в котором осталось наше
сердце, и в котором мы
были молодыми и счастливыми,
влюблёнными и нравственно чистыми,
безгрешными.*

И. Владиславлев

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ

Перебирая свою обширную библиотеку – готовил её к передаче внуку Владиславу, я наткнулся на давно забытый, совершенно обесцвеченный от времени кленовый лист в старинной книге стихов С. Есенина, которую мне – давным-давно, я ещё был курсантом военного училища, подарил водитель, подвозивший меня.

Я даже помню, как он, увидев мой неподдельный интерес к книге, уж больно роскошным было издание – миниатюра, толстенная, на мелованной бумаге, с прекрасными иллюстрациями, с доброй улыбкой, без жалости, подарил мне эту книгу.

– Бери, курсант, я её уже прочитал...

И когда я открыл эту книгу – как же сжалось при этом моё сердце от давних воспоминаний, связанных с давно отгоревшей юностью.

Почти половина столетия, а если уж точно – сорок пять лет минуло с тех пор, а я помню те дни, словно они коснулись моего сердца и моей памяти лишь вчера.

Ах, как же щедро замесала природа и красоты, и разума, и учтивости, и надменности, и воспитанности, и дерзости, и душевной щедрости, и непреклонности, и милого вероломства, и хитрости в этой девушке.

Мы, ещё пацаны, хотя по возрасту – её ровесники, с завистью и уже с первой ожесточённой влюблённостью, смотрели на неё, когда она проходила мимо.

Всё в ней было совершенным – точёные ножки, поступь – так не ходил никто. Помню, как я, немея от восторга, вглядывался в её удаляющуюся фигурку на тополиной аллее, в санатории для больных лёгочными болезнями под Киевом.

Уходило детство. И в ранней юности, которая так быстро наступила, благодаря именно ей, Людмиле Бабиц, я исписывал целые тетради несовершенных стихов, разумеется, посвящённых ей, моему божеству, владычице моих мыслей и светлых грёз.

Помню, как я боялся вручить ей эти стихи, постоянно носил их с собой и всё ждал, когда наступит благоприятный момент к этому.

Увы, увы! Я ведь был не единственным и отчётливо видел, что влюблены в неё многие, если – не все мои ровесники и товарищи по несчастью.

В её облике что-то было и от армянки, и от грузинки, наверное, там текла и еврейская кровь (это я понимаю теперь), и от степняков что-то осталось, но более красивой девушки я не видел – ни в ту пору, ни, вот уже и жизнь повернула давно на закат – сейчас.

Я, простой казачонок, любовался ею всегда: как она сидит, как ест в столовой, как красиво и правильно говорит, с каким достоинством держится с подругами и товарищами.

Друзей, мне казалось, у неё не было. Она была выше и величественнее всех и дружить с ней, я полагаю, никто не смел, не по силам это было натурам более слабым и не таким утончённым, без такого богатого внутреннего мира.

Она много читала, много знала, очень неплохо, это открылось мне совсем неожиданно, играла на пианино.

И, чего греха таить, эта юная девушка, даже не думая об этом, столько сделала для того, чтобы и я стал лучше, лучше во всём – учёбе, участии в общественной жизни, творчестве.

Я тянулся за нею и всё ждал, когда наступит миг, чтобы и она, моё божество, взлелеянное в моей душе, обратило на меня внимание.

Я стал тщательно следить за своей одеждой. Мои брюки всегда были наглажены, рубашки – а их-то и было две-три всего, свежими, а туфли – ослепительно сияли.

И, помню это отчётливо, дождался – мой день настал.

В кино, а нам его в клубе показывали три раза на неделе, совершенно случайно, не думал даже о таком счастье, я оказался возле неё рядом.

Господи, как же мне не сиделось на месте.

Я не знал, что ей сказать, о чём говорить вообще и от этого мучительно краснел, мне мешали мои руки и я не находил им места.

И совершенно неожиданно услышал, обращённое ко мне:

– У тебя очень красивые руки. Такие длинные пальцы. И ресницы – девушки позавидуют...

Вначале я даже не понял, что это она говорит мне.

А когда до меня дошёл смысл сказанного, я покраснел и что-то бессвязно проговорил в ответ.

Помню лишь отчётливо одно – я читал в ту пору стихи какого-то украинского поэта и там были строчки, поразившие меня:

«О, мила бонна,
невідома,
Як би – не ця
Вечірня втома –
Я відповів би Вам
Не так...»

И именно эти строчки я и прочитал ей в ответ на тёплые слова о неких моих достоинствах, которые она отметила и в чём моей заслуги, это уж точно, никакой не было – от родителей мне достались и мои руки, и мои ресницы.

Она красиво улыбнулась мне в ответ и положила свою совершенную руку, на один только миг, поверх моей.

Боже мой! Как же ликовало моё сердце! Оно выпрыгивало из моей груди, мне не хватало воздуха и я, словно во сне, вновь и вновь вызывал в своём сознании всё, что она сказала, а моя рука, казалось, горела от её невинного прикосновения.

Этот фильм разрушил ту преграду, которая стояла между нами, а вернее – между мной и этим непостижимым дивом.

Я, отныне, стремился постоянно быть подле неё, видеть её, слышать её и говорить с нею.

Наконец, я дерзнул и, аккуратно переписав на отдельных листах несколько своих стихотворений, посвящённых ей, вручил их на её суд.

Помню, тут же быстро повернулся и ушёл от неё, не оглядываясь.

Она нашла меня сама у стен старинного замка, поросшего лианами хмеля и ещё каких-то вьющихся растений.

Её тёмно-карие, почти чёрные глаза, светились неведомым мне досель светом.

В них было столько огня, столько чувства, что я даже испугался.

Так на меня ещё никто не смотрел в жизни.

– Спасибо! Мне очень понравились твои стихи. Их искренность.

У меня стали пунцовыми уши. От волнения я не знал, что сказать и, только и смог, в ответ на её слова, прочесть стихотворение, я не знал в ту пору его автора, но оно мне очень нравилось. И я его запомнил с первого прочтения.

Помню его и до сих пор:

«Всё, что было —

до малости,

Отдаю я любя —

ни печали,

ни жалости,

Я не жду от тебя.

Лес стоит,

как обугленный,

За последней межой.

Я не просто

разлюбленный,

Я — навеки чужой».

— Ну, зачем же так трагично? И ты мне — не чужой, — донеслось до меня.

— А чьё это стихотворение? Твоё?

И у меня не хватило сил признаться, что это не моё стихотворение, пусть меня простит его автор, благословенная Вероника Тушнова.

Но не мог я и солгать ей, поэтому и сказал:

— Я его очень люблю.

И с этого дня я понял, что я всерьёз, навсегда, а в юности, при первом святом и искреннем чувстве, нам всегда кажется, что это — действительно навсегда, — без памяти влюблён в эту красивейшую и умную девушку.

Помню даже, как меня волновала её красивая девичья грудь. И скользнув, нечаянно, по ней взглядом, я краснел и спешил отвести глаза в сторону.

И она это видела и тепло улыбалась, как старшая и мудрая женщина глядела на меня, несмышлёныша, такого наивного и такого чистого и светлого, своими дивными бездонными глазами.

И словно испытывая меня, подходила ко мне так близко, что ещё миг — и красивые холмики, обтянутые кофточкой, коснулись бы меня.

Когда она волновалась, читая мои новые стихи с признаниями в любви, её грудь высоко вздымалась, в такт её дыханию и я замирал от счастья и восторга, самого видения такой совершенной красоты.

И как же горько, что и расстроилась эта моя светлая юношеская любовь так же внезапно, как и пришла ко мне...

Жестокосердная и завистливая юность моих коллег по несчастью не простила ей, моей первой любви, гордости и надменности, возвышенности чувств и независимости.

Не знаю уже, кто был инициатором, но ей был объявлен бойкот и все были предупреждены, что если этот бойкот будет порушен кем-либо, то весь гнев коллектива обрушится на виновника.

Она гордо несла эту изоляцию, эту свою непростую ношу. Только ещё прямее стали её плечи, да в гордой посадке головка, нарочно, не опускалась долу, а в глазах застыло, вместе с болью, презрение и надменность к тем, кто так несправедливо её осудил.

Но весь страх был в том, что не подошёл к ней и я. И не от страха каких-то ответных мер со стороны коллектива, а от того, что она и меня опалила таким взглядом, что я испугался.

Он словно говорил: «И ты с ними, и ты поспешил от меня отмежеваться», – и при этом неприязненно и надменно кривила в горькой ухмылке-улыбке свои красивые, необыкновенно, губы.

Вскоре она уехала из санатория. Её забрали родители. Слава Богу, не потому, что она не могла выдержать такого отношения к себе, а потому, что она выздоровела и возвращалась к нормальной жизни.

Помню, до сей поры, как я, спрятавшись от посторонних глаз в развалинах того старинного замка, где и состоялось моё первое признание в любви, обращённое к ней, я плакал, не стыдясь пред собою, этих очищающих душу слёз.

И когда я вернулся в свою комнату, на тумбочке у моей кровати лежал большой букет багряных осенних листьев.

Я знал, что они – от неё. И долго, затем – годы и годы, хранил в книге один листок из того букета, который так сладко и так больно напоминал мне о первой любви и о моём предательстве той, которая и была смыслом моей юной, начинающейся жизни.

Я больше так ничего и не слышал об этой девушке, Людмиле Бабич. Я даже не знал, откуда она и где её можно разыскать.

Но судьбе было угодно ещё дважды напомнить мне о ней – при весьма интересных и совсем уж неожиданных обстоятельствах.

Я, завершив военное училище, служил в Белоруссии. Помню, как молодым майором приехал в отпуск, к родителям, которые проживали в Крыму, на самом берегу Азовского моря.

И в первый же вечер, в Доме культуры, я встретил своего одноклассника Алёшу Сивоконя. Мы были очень дружны с ним в юные лета.

И он, в разговоре, рассказал мне, что несколько месяцев назад был приглашён в гости, к знакомым, в Керчи. И там увидел необычайной красоты женщину, молодую, лет двадцати пяти, южного типа.

Она выделялась среди всех гостей молчаливым, высоким достоинством.

Говорила очень мало, всё больше слушала, но каждое сказанное ею слово было наполнено высоким смыслом

И так случилось, что женщины, выпив домашнего вина и несколько раскрепостившись, завели разговор о своей первой любви.

Нотки грусти и несбывшихся надежд объединяли их и истории, которые они представляли на суд своих подруг, были разительно похожи – как правило, у всех, первая любовь явилась в школьные годы, но сберегли её не многие. Как-то она беспричинно стояла и ушла, и вспоминающие об этом женщины говорили без горечи и сожаления, как о доброй, но такой далёкой от жизни сказке-мечте.

И завершив, каждая, свою исповедь, эти милые, немножко опьяневшие от вина и нахлынувших на них воспоминаний женщины, поглядывали на свою молчаливую и ослепительно красивую приятельницу, которая мечтательно улыбалась чему-то своему при их наивных рассказах.

Они просто вынудили и её принять участие в такой наивной и искренней исповеди.

И она, выпив глоток вина и не отрывая своего взгляда от рубинового напитка, с каким-то надрывом сказала:

– А я и до сих пор люблю того, кто был моей первой любовью. Давно это было. А кажется, что только вчера. И я всё помню, каждый, миг, связанный с ним...

И она, по словам моего друга, поведала историю, которую я и изложил впереди. К слову, никакого отличия, никаких иных ударений и акцентов в ней не было. Такое впечатление, что эту историю я рассказывал моему другу лично. Совпадало всё, все оттенки и даже переживания.

Алексей заинтересованно слушал исповедь этой красавицы. А в конце её повествования не выдержал и спросил:

– А кто он? Как его звали? Где он сейчас, знает ли она что-либо о его дальнейшей жизни?

И Людмила, а это была именно она, ответила, повернувшись к Алексею и опалив его взглядом своих бездонных очей:

– Где он – не знаю. А зовут его Иваном, Иваном Владиславлевым.

Алексея, как он сказал, словно током пронзило, но он ничего не сказал этой юной даме.

И я думаю, правильно сделал. Что ворошить старое кострище? Разве возможно его разжечь вновь? Редко кому это удаётся.

Мне же он в деталях поведал эту историю и при этом сказал:

– Завидую я тебе, Иван. А мне вот не пришлось пережить подобного.

И, немного помедлив, сказал:

– Она в Керчи живёт. Я даже знаю – где. Не хочешь увидеть?

Гулко забилося моё сердце. А затем, опомнившись, сказал ему:

– Нет, Лёша. Не буду ворошить пережитое. Пусть оно останется в душе таким чистым и светлым. А мы ведь сегодня – уже совсем иные. И несём – на себе и в себе, отпечаток всего пережитого. И не всегда – самого лучшего.

– Скажу лишь одно, милый друг – если есть Господь, пусть ниспослёт ей счастье и благополучие. И – пусть она меня простит, если может, за то юношеское предательство, которого я так и не забыл до сей поры.

Я горько усмехнулся:

– Слава Богу, что оно было единственным в жизни и научило меня больше принципами не поступаться, никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если твоей жизни угрожает опасность.

– Знаешь, – повернулся я к нему с братской чаркой в руке, – как в старину говорили: «Жизнь – государю, сердце – Богу, а честь – никому».

– Так я и старался идти по жизни, дорогой друг. Не ловчить. Не скулить. На солдатских кровях – судьбы не строить.

И мой друг юности при этих словах, с особым уважением посмотрел на мою звезду Героя, которая скромно отсвечивала на моём пиджаке.

Её историю он знал и всё мне завидовал, что ему не выпал в жизни Афганистан.

– Глупый ты, – отвечал я ему, – и – слава Богу. У каждого свой крест и своя судьба. И мы их должны нести, каждый по своим силам, честно и достойно...

А кленовый листок, по приезду домой, я переложил в свою книгу, которую забирал с собой. Внуку он зачем? Будет у него своя первая любовь, и свои воспоминания, и грёзы, и разочарования, и муки, и слёзы. Свой путь у каждого.

А чужой судьбы мы не понимаем, и памяти о ней не храним. Она мало что значит для тех, кто приходит после нас.

И когда мне бывает трудно и груз лет и бед начинает нестерпимо давить на уже уставшее сердце, я открываю эту книгу и смотрю на этот, почти истлевший листок.

И становится легче. А губы, непроизвольно, шепчут:

– Будь благословенна, моя первая любовь. Будь благословенна. И я благодарю судьбу и Господа за то, что ты у меня была...

Не думал никогда, что эта история будет иметь продолжение, которое – нет, не убило душу, не изменило ход жизни, когда уже норовишь

приступить к итогам пережитого и пройденного, а тихой грустью накатило на сердце, да и заставило его сжаться от воспоминаний о былом счастье. О возможном, но не случившемся...

Прошлым летом, осенью, выпало нам счастье, с женой, по приглашению моей младшей сестры гостить в Крыму.

Это был, пожалуй, самый прекрасный отпуск в моей жизни.

И в один из дней мы решили поехать в Керчь, посмотреть Митридат, побывать в Аджимушкайских каменоломнях – особом для меня месте мужества и скорби.

Здесь, без всякой надежды на помощь и спасение, сражались и гибли за наше Отечество герои Великой Отечественной войны, чей подвиг сегодня, в силу известных обстоятельств, забыт и унижен.

Целый день мы бродили по памятным для меня местам и провели его на ногах. В Керчи я не был с курсантской юности и всё увиденное воспринималось, как первооткрытие.

Не знаю почему, но ноги сами привели меня в старый город, где всё было узнаваемо и близко.

И, уже совсем выбившись из сил, мы, на набережной, зашли в уютный ресторанчик, под лёгким шатром, которых здесь появилось – в огромном числе, на каждом шагу.

Наслаждаясь глотком Ливадийского рубинового портвейна, который нам с женой очень нравился, я увидел необычайно красивую женщину, моих лет, которая с внучкой, это было видно сразу – такой же яркой, необычайно красивой, как и бабушка, тоже зашли в ресторанчик.

Перемену во мне заметила жена:

– Что случилось? Тебе плохо?

– Нет, нет, родная моя, мне очень хорошо. Не тревожься и отдыхай. Всё хорошо, – и я тихонько дотронулся губами до её руки.

Сам же неотрывно смотрел на зашедшую в ресторан женщину.

Казалось, время было не властно над ней. Тот же гордый профиль, богатые, красивые волосы. Только вот – изморозь седины выбелила их почти полностью, но они ей очень шли и она их не красила.

На её лице блуждала улыбка счастья, когда она смотрела на внучку и о чём-то с ней говорила.

Она выпила чашечку кофе, дождалась, пока внучка съест какое-то пирожное и выпьет чай и неторопливо поднялась из-за стола.

И я только в этот миг увидел у неё в руках букет из ярких осенних каштановых и кленовых листьев.

Она постояла секунду в раздумьях и положила эти листья на край пустовавшего стола.

Внучка, при этом, что-то ей сказала, указывая на листья.

Но она, взяв её за руку, повернулась и пошла к выходу.

Я заметил, что от лёгкости её походки не осталось и следа. Шла она очень медленно и тяжело, а голова её, словно существуя независимо от неё, всё норовила повернуться к тому столику, за которым сидел я с женой.

Молнией, на один миг, ожёг меня её взгляд и она тут же вышла из ресторана, уже торопя внучку.

Груз лет придавил мои плечи. Я сидел поникший и усталый.

Нехотя допил вино, положил на стол деньги и поддерживая жену под локоть, пошёл к выходу.

Проходя мимо стола, за которым сидела та яркая женщина с внучкой, я остановился и умышленно не встречаясь с изумлённым взглядом жены, взял один кленовый лист, самый яркий, и положил его в газету, которую купил на набережной.

А приехав домой – переложил его в ту же книгу – С. Есенина, где лежал тот первый и такой памятный для меня, связующий с далёкой и чистой юностью, совсем уже выцветший лист клёна.

И я всё думаю – увидела ли она меня, бывшая юная девушка, явившая ту невинную и светлую любовь в те далёкие и невозвратные годы, в городе и пошла следом за нами, или зашла в ресторанчик случайно – не знаю.

Но то, что она узнала меня, это я почувствовал определённо.

И букет кленовых и каштановых листьев не случайно был оставлен на столе.

А встреча – нет, она была не нужна. Встретиться, чтобы проститься, уже навсегда? К чему? И зачем?

Каждый прошёл свой путь, проторил в жизни свою дорогу, прожил свою жизнь.

Но она у меня и состоялась потому, что в моей душе, всегда, горела негасимая свеча той первой любви, которая и позволила сохранить в душе человеческое даже в тех испытаниях, которые выпадают не многим.

Нет, я не жалею ни о чём. Выросли дети, рядом – та, которая стала судьбой и наградой за пережитое и пройденное.

Но твёрдо знаю и то, что я никогда бы не состоялся, как личность, как гражданин, как солдат Отечества, если бы мою жизнь не освещал дивный свет первой любви.

Быть может, сохранись она, многое было бы утрачено, поблекло и померкло. И не вспоминал бы я о ней с таким обожествлением и таким светлым чувством.

А может – расцвет её и украсил бы две жизни, две судьбы, не знаю.

Но то, что она была, всегда жила в моём сердце – помогло мне в жизни выстоять, укрепиться, не свернуть с дороги совести и чести – это точно.

Во всех испытаниях её негасимый свет помогал мне выстоять,
преодолеть все преграды, просто выжить там, где выжить было
невозможно.

Будь благословенна, вовек, подарившая мне это святое и чистое
чувство.

Застываю пред тобой в земном поклоне.

Храни тебя Господь!

*Разве можно нагадать жизнь
тому, кто и сам может
предсказать судьбу?
Более того, вершил людские судьбы.*

И. Владиславлев

ГАДАЛКА

Я никогда не любил гадалок. И на это были основания, так как был
дважды облапошен ими в лейтенантской юности – в Джанкое и в
Вильнюсе.

А тут – не знаю, что со мной произошло...

Ужин на набережной Ялты был уже почти традиционным. Я и есть-
то не хотел, но – надо же что-то вечером было делать и как-то убить эти
три-четыре часа, самые длинные и бессмысленные.

А ещё – пронзительно грустные и тоскливые, пустые, иссушающие
душу звенящим одиночеством.

А здесь – хотя бы среди людей. Не в одиноком и пустынном
номере.

Да и чего греха таить – коньяк живительно вливался в жилы,
немножко туманил голову и приглушал ту привычную боль и тоску,
которые стали уже обязательной ношей и неотрывными спутниками моей
сути.

И когда девочка-официантка принесла кофе – знатный, его здесь
варили на песке, ароматный и жгучий, неведомо откуда ко мне подошла
цыганка.

Породистая, красивая. Уже пожившая. Время уже стало
властвовать над ней – её губы покрывались поперечными морщинками, да
глаза – подвыцвели.

Но самое прекрасное, что у неё было – волосы, не дикие, как у многих цыганок, а красивые, блестящие, они были собраны в высокую причёску, которая так ей шла.

Опять же – очень красивые и ухоженные руки, с длинными и тонкими пальцами, ярко накрашенными ногтями, да выражение чёрных, огромных глаз...

Ох, уж эти глаза! Я – не слабый человек, выдерживаю любой взгляд, не отвернулся и от её пылающих и страстных глаз, но не соревнуясь, а любясь ими, всей её грациозной фигурой в пору высшего расцвета женской зрелости и красоты.

И она это поняла, красиво улыбнулась, и тихо и просто сказала:

– Нравлюсь?

– Да, нравишься. Очень красивая.

И тут же – просительно, к ней:

– Посиди со мною!

– Если хочешь что – скажи или закажи сама. Не смущайся, я всё оплачу.

– Спасибо, – тихо сказала она, – я бы немножко съела чего-нибудь.

– А выпьешь?

– Да, глоток вина. Мне много нельзя. Голова сильно потом кружится.

Всё это она говорила так просто и так естественно, что я даже забыл, что говорю с цыганкой.

Это была приятная собеседница, красивая и яркая, хотя уже и отцветающая женщина.

Но так, как и сам был уже не юношей пылким, то любовался ею откровенно, как представителем таинственного и неведомого мне народа.

Нет, это не было чувством мужчины к желанной, хоть на миг, женщине, а это действительно был интерес к неведомому, иному человеку, представителю иной цивилизации, иного мировоззрения и, быть может, даже иной культуры и морали.

И она это поняла:

– Не смотри на меня, как на диковинную вещь, не надо. Я точно такая, как и ты.

Грустно усмехнувшись, продолжила:

– Так же чувствую, страдаю... Может быть, способна больше, нежели ты, понять другую душу.

Официантка приняла дополнительный заказ, с видимым сожалением посмотрела на меня, но другую половину стола, за которым сидела цыганка, накрыла споро и красиво.

Цыганка ела удивительно красиво, никуда не торопясь.

Взяла бокал, посмотрела мне внимательно в глаза и сказала – так просто, как говорит старшая сестра младшему брату:

– Спасибо тебе. Впервые вижу такое отношение русского к себе.

Тяжело вздохнула и продолжила:

– На нас ведь все смотрят – не как на ровню, а как на проходимок и воровок.

– И я хочу выпить с тобой, знаешь за что?

Я заулыбался:

– Нет, конечно. Не знаю. Но мне тоже с тобой очень приятно и светло...

– Так за что мы с тобой выпьем?

– Я хочу выпить за то, что у тебя вскоре произойдёт в твоей судьбе. Доброе и светлое. Поверь мне. Ты обязательно встретишь того человека, который тебе сегодня особенно нужен.

Я даже как-то вскинулся и хотел запротестовать, но она, молча, погасила моё возмущение тихим и ласковым жестом и продолжила:

– Она будет спасительницей твоей души, спасительницей твоей любви, а ты ещё будешь любить сильно, по-настоящему.

Я притих. Конечно, здоровый скептицизм меня не оставлял и я ей сказал:

– А почему ты об этом говоришь? У меня в этом плане всё хорошо. Любимая работа, любимая жена, любимая семья, дети...

– Неправду ты говоришь. Не надо так со мной говорить. Прошу тебя.

Посмотрела мне в глаза и продолжила:

– Жена у тебя была. По настоящему любимая и единственная. Но уже три года, как её не стало. Детей у тебя, действительно двое – сын и дочь. И у них уже внуки.

Я оцепенел и весь застыл в страшном напряжении. Она, сильно сжав мою руку, тихо продолжила:

– Знаю, что любил ты её сильно. Знаю, что и жизни не пожалел бы за её спасение.

Через туман и звон в моих ушах до меня доносился её голос:

– Но ты не вини себя. Ты сделал даже больше, чем возможно в этом случае по её спасению.

В её голосе появился необычайно тёплый оттенок и она увещевала меня, как маленького ребёнка:

– Ты не можешь смириться с тем, что Господь её забрал к себе до срока. Не понимаешь, что она выполнила свою роль на земле.

Убедённо и страстно, опалив меня своими бездонными очами, продолжила:

– И теперь она – нужнее Господу. Он её призвал, как лучшую из лучших к себе. Ему тоже нужны – самые лучшие.

Схватила меня за руку:

– А ты не казись, не мучай себя и её отпусти. Не держи возле себя. У неё отныне своя дорога и мир свой. Ты ещё в нём будешь, но не спеши, не вышло твоё время на земле, не всё ты ещё здесь сделал.

– А ты, – она красиво и как-то мечтательно улыбнулась, – ещё будешь любить и будешь любим. И в этом нет греха, запомни.

Щемящая грусть выплеснулась в её голосе:

– Более того, если ты оттолкнёшь от себя эту любовь – ты поступишь не по-божески, несправедливо. Себя же накажешь.

Я при этих её словах как-то нервно засмеялся.

– А ты не смейся. Знай, что и твоя судьба, будущая судьба, идёт тебе навстречу. Ощупью, совершая, как и ты, ошибки, забыв о том, что только душа человека – бессмертна, а жизнь, тело – конечно. И вам предначертана общая судьба, ещё при рождении.

– Она также выстрадала право на счастье с тобой. И вы будете ещё счастливы, только если сумеете правильно распорядиться Божьим провидением и Его волей.

Я перебил её:

– Хорошо, положим, о жене моей ты правду сказала. Не стало её и я, как неприкаемый, бреду по свету – не зная и не выбирая пути. Так не любят больше, как я её любил. Как я молил Господа – забрать мою жизнь, но сохранить её. Увы, не докричался до небес, не слышат нас там – и я залпом осушил свой бокал, наполненный коньяком.

– Но у меня, – уже смеясь довершил я, – даже отдалённо нет никого на примете, на всём белом свете, кто бы походил на ту, о которой ты говоришь.

– А я тебе даже скажу о дне вашей встречи и об обстоятельствах, при которых она произойдёт. Скажи, хочешь?

– Хочу!

– Вы встретитесь 28 декабря этого года. Это особый день в вашей жизни – и твоей, и её. Это день её рождения. И ты уже не сможешь быть без неё. Поймёшь это, как только встретишь её.

Помолчала минуту и уже устало, но всё же договорила:

– Не многие будут желать вам счастья. Будут злобные завистники, может, где-то не поймут вас и ваши дети, где-то даже осудят в душе, но вы на это не смотрите.

Почти вскричала:

– Это только ваша судьба. И только вы вправе принять по ней решение.

– Но знай, что даже на этом пути, в самом стремлении к счастью, вас подстерегают опасности и вам понадобится немало сил, чтобы всё преодолеть и всё превозмочь.

– Ты знаешь, – как-то даже покраснев до корней волос произнесла она, – я тебе не должна этого говорить, но скажу – уж больно ты меня, цыганку, поразил. Не знала, что и я так могу переживать.

И засмеявшись, промолвила лукаво:

– Ох, поразил ты меня. Я всю жизнь мечтала любить такого мужчину. Как бы я тебя любила. Ты бы забыл о мире, о долге, о людях, о своих привязанностях, утонул бы в моей любви.

Словно о чём-то сожалея, выдохнула:

– Но у меня... нет на это права. При рождении мать сказала – нечаянно встретишь того, кто стал бы твоим смыслом жизни, но ты уже будешь служить Господу и на человеческую судьбу права иметь не будешь.

– Вот так, генерал...

Я чуть не подскочил за столом. И уже пребывая в полной растерянности, спросил:

– А откуда ты знаешь, что я генерал?

– Я всё о тебе знаю.

И совсем неожиданно, что ввергло меня в крайнюю степень растерянности и даже потери здравого рассудка, приложила руку к моему пиджаку, к груди, на правой стороне и участливо спросила:

– Болит? Болят твои старые раны? Не волнуйся, я сейчас всё сделаю для того, чтобы они не тревожили тебя так.

И она, пронзительно глядя мне в глаза, что-то шептала, надавливая правой рукой на место тяжёлых ран, которые я получил в Афганистане.

– Забудешь, забудешь и день тот и час. И 8 мая, в пятнадцать минут от полудня, больше не будут для тебя кошмарными.

У меня стали даже волосы шевелиться на голове – я действительно был ранен накануне дня Победы и после двенадцати минуло только пятнадцать минут.

– А ты знаешь, – она оторвала свою руку от моей груди, – девочка та, которая спасла тебя – счастлива.

– Да и ты молодец! Красиво так всё сделать. Да и то, как тут устоишь, – она мечтательно задумалась, – Наталья Гончарова отдаёт тебе свою кровь во спасение, а ты её выдаёшь замуж за своего любимца, Владимира Пушкина.

– Вот ведь судьба – Гончарова и Пушкин.

Тут уж я совсем утратил ощущение реальности и про себя только подумал:

«Откуда она это знает? Что за мистика? Действительно, я ведь – и жив остался только потому, что прямо на поле боя, среди этого смертного ада, страшного запаха крови – как своей, так и вражьей, когда осколки гранаты иссекли всё моё тело по правой стороне, изящная и красивая, совсем молоденькая сестричка Наталья Гончарова, с богатой копной золотых волос, отдала мне свою кровь, причём, много больше, чем было возможно и безопасно для неё.

Долго, затем, болела и как же я был счастлив, в ту пору – молодой полковник, увидев, как на неё смотрит мой любимец, командир разведроты Владимир Пушкин, двадцатипятилетний капитан, трижды орденосец –

сделал всё, по моему разумению, что было возможно, чтобы они тут же, в Афганистане и соединили свои судьбы.

Помню даже, что подарил им полное собрание сочинений Александра Сергеевича, да портрет любимый – молодой и обворожительной Натали, с высокой причёской и ангельским лицом».

Все эти картины сегодня прошли перед моими глазами, после столь неожиданных слов цыганки.

К жизни меня вернул её голос:

– А что же ты звезду Героя не носишь? Она святая и её стыдиться тебе не надо. Я даже вижу эту картину, как ты, на Саланге, спасал людей, попавших в беду.

И, как мать – к сыну, проронила, едва слышно, почти шепотом:

– Сердечный ты мой, сколько же ты их вытащил на себе?

– Двадцать восемь, – не давая мне ответить, сказала она.

– Двадцать восемь пацанов. Ты им спас жизнь. Вот в этом был твой главный подвиг в жизни. Выше его уже не будет.

– За это и воздаст тебе Господь.

Эти слова переполнили край моего несказанного изумления:

«Что это, откуда это, как ей дано всё это знать и чувствовать, и понимать?»

В это время в ресторанчик под шатром вошла цветочница.

И не успел я даже сообразить что-либо, как моя странная и необычайно интересная спутница сегодняшнего вечера, красиво засмеявшись, произнесла:

– А ты не сдерживай себя. Ты ведь хочешь подарить мне букет цветов. А мне так хочется его от тебя получить.

Я скупил у торговки цветами все багровые розы и повинуюсь неведомому чувству и неведомой силе, встал на колени возле неё и положил эти розы на её яркое, в маках, платье.

– Вот за это – спасибо. За честь спасибо. Жалею, что табор не видит. Ни одной цыганке не выпадала такая честь.

И она нежно, как мать, поцеловала меня в лоб и в глаза.

Легко и грациозно поднялась из-за стола, фигурка у неё, несмотря на пробежавшие уже длинные годы, была девичьей.

– А теперь – прощай. Мы не увидимся более с тобой никогда. Но я всегда буду молиться за тебя и просить Господа о его милости. Благодарю тебя за те минуты высокого счастья, что ты мне подарил. Ох, генерал, и почему ты мне так поздно встретился, – и она красиво засмеялась, обнажив свои белые зубы.

– Знай же, скажу последнее, она сегодня ищет тебя, но не знает ещё о тебе. И душа её ещё в потёмках. Она, не зная даже об этом, не даёт ей свободы и прозрения, возможности проснуться.

Словно наставляя меня, заключила:

– И рядом с ней, ты на это не обращай внимания, пустышка. Это не её мужчина. Она просто обманывается. Скоро прозреет.

Покачала головой, дотронулась до моего плеча рукой и сказала:

– Ты тяжело этим переболеешь, но другого пути, если ты действительно хочешь быть счастливым, у тебя нет.

– Только она, единственная, может стать твоей судьбой. И никто иной более. Запомни это. Я от всего сердца говорю тебе это.

И она, неожиданно для меня, поклонилась мне до земли, даже правую руку выбросила вперёд и коснулась ею моих ног и тут же – словно истаяла.

Не ушла, не удалилась, а на самом деле истаяла в наступивших сумерках.

Больше я её не видел ни разу, хотя искал по всей Ялте и всегда, заведя цыган, устремлялся к ним навстречу.

Один раз, старая, с дымящей трубкой в руках цыганка, сама меня остановила и сказала:

– Не ищи её генерал, не надо. Это судьба твоя с тобой говорила. И встретишься с тобой. А искать её не надо.

И часто я с той поры, а был в Ялте ещё дней десять, чувствовал на себе взгляд пронзительных и красивых глаз моей гадалки.

Но когда я шёл к ним навстречу, словно мираж, словно дымка истаявали они в людской толпе и невыразимая грусть при этом наполняла моё сердце.

Когда же я пришёл на прощальный ужин в любимый ресторанчик, на столе, где мы ужинали с цыганкой, лежал букет багровых роз.

И знакомая официантка, так и не сумев побороть растерянность и робость, тихо мне сказала:

– Это Вам велели передать. Она была здесь сегодня. На минуточку. И сказала, что Вы непременно придёте сегодня в ресторан.

И словно это что-то для меня значило, торопливо добавила:

– А знаете, она даже не в цыганском одеянии была. В красивом и строгом костюме. Посидела за столом, на Вашем месте и передала Вам этот букет цветов, а ещё – вот это. Она велела, чтобы эта вещица всегда была с Вами, – и она протянула мне какую-то необычную изумрудную пирамидку, опоясанную золотым ободком.

Я взял подарок в руку. И блаженное тепло, спокойствие и уверенность сразу же разлились по всему моему телу.

И тут я увидел её глаза из темени:

«Прощай, генерал. Ты будешь счастлив. Поверь мне. Господь помилует тебя и сохранит...»

28 декабря этого же года я встретил Её. Свершилось предсказание моей гадалки. Составила моё счастье женщина несомненных достоинств, равно выстрадавшая право на счастье.

Но это уже совсем другая история.

И я, давно не удивлявшийся ничему, обращаю к моей спасительнице слова искренней благодарности и восторженной признательности:

– Спасибо тебе, цыганка. Я ещё, оказывается, живой. И дано мне великое счастье – любить и быть любимым, хотя жизнь уже далеко повернула на осень.

Так, я это знаю точно, любят последний раз в жизни. Не хватит сердца больше, так как оно всё, до капли, отдано той, которая стала единственной. Спасибо, милая цыганка.

*Наши души бессмертны
и они нас хранят всегда,
если мы не предаём память,
и не утратили совести.*

И. Владиславлев

ЧАЙКА

Всегда, приезжая в отпуск к родителям, я шёл на этот утёс.

Казалось, что тут примечательного – голая скала, взметнувшаяся над морем, без единой травинки, уходила далеко в безбрежную синеву и века уже, стояла недвижимо в этой благословенной тиши.

И всегда, с юных лет, а ныне – и осень, глубокая, занялась над головой, надо мной парила чайка.

Сознанием понимал, что за долгие годы их переменялось – десятки, а всё казалось – что надо мной – всё одна и та же, раскинув крылья, так и ждёт меня, над этим утёсом, с далёких и безмятежных лет юности.

И я всегда задавал себе вопрос: «Приду ли ещё когда-нибудь сюда? Увижу ли родное и безбрежное море? Буду ли любоваться этой красотой? И что будет в мире, когда меня не станет? Неужели он не заметит этого, не поскорбит?»

Конечно, ответа на этот вопрос я никогда не получал, да и невозможно его получить.

Но твёрдо знал одно, что эта чайка, видение это неземное – мне и спасло жизнь, вытянуло с того света – в далёком и уже забытом многими Афганистане...

Бой в горах всегда скоротечный, заполошный и неожиданный.

И как бы ты не готовился к нему, как бы не ожидал, что в любую минуту из-за скалы ударит автоматная очередь, гулко стеганёт гранатомёт – первый выстрел – он всегда неожиданный.

Это уже потом сознание начинает работать расчётливо и хладнокровно.

И ты ищешь, слившись воедино с автоматом, свою цель и нажимаешь на спусковой крючок, успевая заметить, как переломился, да и затих за камнем твой враг.

Тут же прячешься за скалу от огненных струй с той стороны, которые так же стремятся лишь к одному – чтобы затих и ты, навек, встретившись с раскалённой стаей смертоносного свинца и дал возможность «духам» проскочить твою зону ответственности, к спасительной «зелёнке».

Но за камнем отсиживаться вечно не будешь. Миг – и ты снова стреляешь, не переживая, не испытывая даже чувства ненависти к тем, кто охотится за тобой.

Скоротечный бой заканчивался так же внезапно, как и начинался.

Отошедшего врага никто не преследует. Это уже закон. Скорее – на броню и в путь, к спасительному военному городку затерявшемуся в горах, в этом немом и величественном безмолвии.

И только после вечернего намаза это безмолвие прекращается. Воины аллаха, помолясь своим суровым и беспощадным богам, начинают лениво постреливать по городку, нет-нет, да и залетит, запущенный прямо из машины РС (реактивный снаряд, аналог нашей «катюши») – неприцельно, наугад, но беды натворить может немало, по случаю взорвавшись именно там, где собрались люди.

Помню, как мы обедали по прилёту в Кабул, прямо на аэродроме, в лётной столовой.

Со мной прилетели лётчики-лейтенанты, красивые, молодые, только после училища.

И едва официантка подала им первое, успев, правда, отойти от стола весёлых и говорливых лейтенантов, которые всё выспрашивали у неё номер телефона или адрес, дурашливо и шутливо признаваясь в любви, РС, запущенный наобум, взорвался прямо в ногах этих лейтенантов. Погибли все четверо. Сразу. Их просто разметало в клочья и я думаю, они даже не успели понять, что произошло.

Лёгкая смерть, как говорят на войне. Но это – как посмотреть. Разве можно назвать её лёгкой для человека вообще, сути которого война должна быть противна, а если уж она есть – то только в защиту Отечества, Родины своей.

И эта «лёгкая смерть» отняла не только жизни этих лейтенантов, она выбила целую брешь в будущем, так как они не смогли продолжить свой род, явить своё потомство и растаяли в вечности – на самом взлёте, так и не став твёрдо на своё крыло.

Представляю, как зайдутся, видел не раз, в крике отчаянья их матери, которые ещё только вчера прижимали свою кровиночку к сердцу и молили Господа за его здоровье и благополучие.

К слову, я открыл не изведанный никем закон – почему в последнее время стало больше верующих, тех, кто даже слепо, не сознательно, стал искать утешения в церкви – горя стало больше. И в этом горе – власть, государство – не помощник человеку, не поддержит его и не попечалуетса вместе с ним за невосполнимые утраты. Нет, скорее всего – ещё и ударит наотмашь, заявив от имени государства, устами пресыщенного негодяя: «А я тебя туда не посылал!»

Вот и пошли матери, а за ними – и отцы в церковь, которая, если и не утешит и никогда не вернёт дорогую утрату, то хотя бы – не осудит и пообещает «царствие небесное» в той, вечной жизни.

А так как скорби умножаются, горе всё прибывает и прибывает, то и множатся ряды тех, кто тщится, хоть в церкви, найти своего заступника.

Не станут исключением и эти несчастные матери пацанят-лётчиков, которым через несколько дней придёт домой чёрная весть, а однополчане доставят страшный «груз 200», который и вскрыть нельзя, посмотреть в последний раз на своё дитя, кровиночку свою, которой отдано столько сил и столько труда.

А ещё через месяц-другой военком, если он совестливый мужик, вручит лично, пряча глаза, орден Красной Звезды, как правило, «за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга».

И я – сам пройдя огненную купель, искалеченный в том же Афганистане, прекрасно всегда знал, что никакого мужества и героизма эти пацаны, не доехавшие даже до полка, не совершили, но так было принято и это правильно, чтобы хоть такую малость, но воздавало государство матерям за то, что отобрало у них сыновей и распорядилось их жизнями по своему умыслу и в своих интересах, неведомых простому человеку.

И всё. Всё, что останется от родного дитя, которое больше ни встретить, ни приветить, ни приласкать, ни прижать к своему сердцу, не дожидаться от него внуков – его продолжения.

Слава Богу, уже хотя бы за то, что мать никогда не узнает, что никакого мужества её сын не проявил, никакого подвига не совершил, никого своей смертью не спас, не защитил, а просто погиб. Ни за что. По случаю. И даже его убийцам было неведомо, куда попадёт запущенный ими смертоносный снаряд, который они выпустили лишь для острстки «шурави», не переживая за итог и не волнуясь.

Это действительно счастье, неоднократно думал я, что матери не знают о последних минутах своих детей, иначе им было бы тяжелее, нет, не понять, произошедшее, а пережить его.

Им будет легче осознавать безвозвратность своей потери, своей утраты, которая, по их убеждению, была принесена не напрасно и на которую их сын пошёл осознанно, не пощадив себя, чтобы сберечь и спасти других.

Так всегда легче. Только кому – легче? И почему Господь попускает такое? Почему, до срока, до его воли прерывается только что состоявшаяся жизнь? Способная творить. Создавать семью. Растить детей.

А может, таким образом ограждает Господь их от ВОЗМОЖНОГО завтрашнего греха? От убийства таких же, как и они, молодых и сильных? И разница между ними лишь в том, что одни верили в одних богов, а другие, как правило в то время – ни в каких.

Солдат свят и его кровь – праведная, но каким же судом надо судить тех, кто послал их в эту далёкую и чужую страну умирать?

Поэтому и мечутся их души, между небом и землёй, не находят они покоя и страшно завидуют тем, кто пал за своё Отечество в борьбе с врагами.

Им действительно намного легче, так как они знали цель своей жизни и смерти и шли на неё осознанно, так как выше сыновнего долга пред Родиной – нет ничего на свете.

Нам же досталось лихое время: знамёна поруганы, идеалы – осквернены, вера – растоптана. А без этого – солдат всегда превращается в палача.

Умирать можно за Отечество, за край отчий, а здесь – за что?

Подобные мысли часто одолевали меня и тем неожиданнее была первая очередь, по звуку которой я сразу почувствовал – это моя.

Помню, успел даже взглянуть в небо, выпустив ненужный уже автомат из ослабевших рук и, чёрная тьма затянула моё сознание.

Боли не чувствовал. Только необыкновенно яркая, среди темени, вспышка и я стал куда-то всё быстрее и быстрее проваливаться и лететь в бездну...

Казалось, ещё миг и я просто исчезну, соединившись с космосом и став его пылью...

Это я узнал только потом, спустя двенадцать дней, которые я пробыл без сознания.

Я никого не видел, ничего не слышал, но предо мной, как необычайно красивое видение, постепенно проступающее из безбрежной

вечности, и возникала та чайка, которая всегда парила над утёсом в отчем краю.

И только уже затем я услышал милый женский голос:

– Товарищ полковник, товарищ полковник, он пришёл в себя!

Смотрите, у него слезы скатываются из глаз... Слава тебе, Господи!

Я не знал, кто это говорит. И не мог, не хватало сил, открыть глаза.

Да и не хотел, так как предо мной парила и парила белая чайка, застыв над морем и словно побуждала меня к тому, чтобы я очнулся, опомнился, пришёл в себя.

И я, через миг, открыл глаза.

Первое, что увидел – склонённую над собой юную сестричку, под белым халатом у которой виднелся непривычный, для обычной больницы, камуфляж и бело-голубая тельняшка.

– Слава Богу, я знала, я знала, что Вы выберетесь. Вы, будучи даже в беспамятстве, сжимали мою руку и я знала, что Вы выберетесь...

И показала мне свою красивую руку, на запястье которой отпечатались багровые синяки от всех моих пальцев.

– Спасибо, сестричка, – беззвучно прошептал я потрескавшимися губами и надолго припал ими к её кисти.

А она её и не убирала, и как мать, другой рукой гладила и гладила меня по волосам и что-то тихонько приговаривала...

Уже через месяц, правда, ещё опираясь на трость, я стоял на родном утёсе и надо мной, в вечности, парила белокрылая чайка...

В разное время, много лет отделяли друг от друга эти события, но именно на этот утёс я привёл своих сына и дочь, а затем – дорогих и любимых внуков и внучку.

Храни их судьбу, милая чайка, даруй счастье и радость жизни, наставь на труд, на добро и уважение к людям, на милость к ним, научи быть мудрыми и сильными.

*Не всех ведёт Господь
к истине, а только – самых
чистых и самых светлых,
кто, служа людям – не думает*

*о тяжкой повинности,
а поступает
так милостиво
по велению души.*

И. Владиславлев

СУДЬБА МОНАШКИ

Моя бабушка, которая несла своё монашеское послушание в миру, ибо была акушеркой от Бога, такой во всей губернии, а затем – и в области, с наступлением новых времён, так и не нашлось, только в последние годы поведала мне эту историю.

К слову и меня она приняла на свои руки в буремную февральскую ночь, двадцать девятого, последнего дня месяца, на конюшне, где мать прибиралась у лошадей.

– Великая это была любовь, внучек! С её стороны – великая. На такую жертву пошла, за что и была вознаграждена Господом. Иной такой я больше и не упомяну, за всю свою прожитую жизнь.

Глубоко вздохнула и продолжила:

– Он, красавец, поручик в ту пору, с первых дней той войны, её ты и не помнишь, четырнадцатого года, ушёл на фронт. При Брусиловском прорыве, в шестнадцатом году, был тяжело ранен, уже подполковником и направлен на излечение в госпиталь, который располагался в Ялте.

С большой гордостью в голосе добавила:

– Наш монастырь, весь, был мобилизован для ухода за ранеными. И среди монахинь, несущих послушание по уходу за ранеными, была сестра Ксения.

Словно сожалая, ясным голосом, страстно произнесла:

– Я не знаю всей её истории, не принято было у нас расспрашивать и дознаваться до того, что человек не открывал сам. Но знала вся обитель, что в монастырь Ксения ушла после случившегося огромного несчастья в её семье, связанного с утратой ребёнка. Потерей его в кутерье, страшной, тех лет. Семья была старинная, дворянская.

С гордостью, дополнила:

– Но Ксения, вступив на путь служения Господу, не чуралась никогда никакой работы, даже самой тяжёлой и несла любое послушание легко и непринуждённо.

Минуточку помолчала, словно собиралась с мыслями и повела рассказ дальше:

– А как она пела! Её пение мы слышали лишь в Храме и очень редко – в келье, когда она оставалась одна. И хоть пела она на иностранных языках, для себя одной, а ещё – чувствовалось – для кого-то, кто её так и не

понял, от тоски и слёз, которые прорывались в её мелодиях, у нас сжимались сердца и мы боялись пошевелиться, чтобы упустить хотя бы одну ноту, один звук и тон.

И уже буднично, как о привычном,

– Так и шла наша монастырская жизнь, размеренно и спокойно, в посильных трудах, на которые Господь нам даровал силы и возможности. И таковой бы она оставалась и дальше, не встретить Ксения – этого подполковника...

Она привычно зашла в палату, поправила ему подушку, сменила воду в цветах и только тогда посмела взглянуть на лицо раненого.

И обмерла. Это был он. И счастье её великое, и горе самое горькое. Но – сдержалась и спокойно сказала, что по повелению матушки-настоятельницы монастыря приставлена к нему, чтобы ухаживать за ним.

Он же, не отводил своего взгляда от неё уже с первой секунды её появления в палате.

– Ксения... – только и смог он произнести.

– Это – ты, родная моя. Как же я молил Господа о встрече с тобой...

Она мягко прервала его объяснения. Сказала просто и строго:

– Князь, той Ксении больше нет. Есть монахиня Ксения, давшая обет верности Господу. А бывшее – забудем. К нему нет возврата и он просто невозможен в нынешних условиях. Простите, – и она спешно вышла из его палаты.

Через несколько минут, вся в слезах, она уже была у матушки-настоятельницы монастыря и просила – больше не испытывать силу её духа в таком тяжком для неё послушании.

– Мир греховен, дочь моя и если не воздвигнешь в душе своей преграду неодолимую – дьявол всегда найдёт лазейку, чтобы в неё проникнуть. Нигде не скроешься.

Поэтому – повелеваю, ежедневно будешь досматривать подполковника, будешь при нём до его полного выздоровления.

Твёрдо и повелительно, словно подводя итог всему, что было сказано, дополнила:

– Только молитвой и спасешься, и сбережёшь свою душу, и окрепнешь в вере.

И она благословила красавицу-Ксению крестным знаменем:

– Иди, голубушка! И уповай на Господа нашего. Он придаст силу и крепость.

И с этого дня Ксения не отходила от молодого офицера. А ранен он был действительно очень тяжело и пребывал в беспомощном состоянии, как ребёнок.

Она и взяла на себя весь догляд и уход за ним.

Но никогда её губы больше не разомкнулись в светлой улыбке, а руки – нежно, но твёрдо ускользали из его ладоней, ещё слабых, но

норовящих всякий раз прикоснуться к её длинным, красивым пальцам, а один раз – он даже смел поцеловать её левую кисть, лихорадочным и бессвязным поцелуем, вернее, их множеством, останавливаясь на каждом пальце.

Она вздрогнула, замерла на мгновение и твёрдо сказала:

– Князь! Никогда более не делайте так. Иначе – я оставлю Вас, нарушу послушание матушки. Вы уже всё мне сказали в том страшном семнадцатом году.

Освободила свои руки и не глядя ему в глаза, подвела итог их беседе:

– А пережить всё по новой – я просто не смогу... Да и не хочу... теперь уже.

– Ксения! Не суди меня так строго. Я был глупым юнцом и ничего в ту пору не мыслил, не понимал.

Задохнувшись и надолго замолчав, он собрался с силами и продолжил:

– Ты – святая! Ты будешь всегда святой для меня, только... не оставляй меня. Прошу тебя, не оставляй меня...

И они, оба, замолчали.

Четыре года, Боже мой, каких четыре года пронесли у них, обоих, перед глазами, после той роковой встречи, когда рушился привычный вековой мир...

Он, молодой поручик, приехал погостить к тётушкам в имение. Как раз накануне войны. До её начала оставалось всего несколько дней.

Если сказать, что он сразу, без памяти влюбился в тётушкину племянницу, как называли Ксению, хотя она ни в каком родстве с тётушкой и не состояла, а была лишь дочерью её дальней приятельницы – значит, не сказать ничего.

Это была не любовь даже, это было озарение, это был удар молнии. Он задышался от переполнявшего его чувства и уже на второй день, после знакомства, прямо ей сказал:

– Княжна! Я не мыслю своей жизни без Вас. Позвольте мне объясниться с Вашей тётушкой.

Юная девушка запыхала румянцем и не сказав ему ни «Нет!», ни «Да!» – удалилась в сад, по краю которого проходила красивая речка.

Там было её излюбленное место, у старой черёмухи и она, свесив ноги к воде, счастливая и сразу как-то повзрослевшая, думала о произошедшем:

«Меня любят! И кто? Тот, к кому мои девичьи наивные мысли летели давно. Небось и думать забыл – о той девочке-подростке, которая встретила его, когда он, юнкером, приехал к тётушкам.

Весь шумный, с мороза, пахнувший дорогими духами и уже – табаком, он с ходу сбросил шубу и оставшись в одном мундире, устремился бегом наверх, в комнату к тётушке, где она, практически, проводила все свои дни.

Да в ту пору он и не заметил угловатого подростка-девочку, а увидев её за столом утром – отделался лишь учтивым поклоном. Она же сразу стала терзаться детско-юношескими чувствами и посвящала ему целые главы в своём, пусть несовершенном, выдуманном и наивном, но искреннем романе.

Сейчас же она знала, что любима. Она это чувствовала и её сердце готово было вырваться из груди.

«Глупый, глупый, – думала она, – неужели ты не чувствуешь, как я люблю тебя, как я все эти годы любила тебя».

Тётушка, конечно же, увидела перемену в их настроениях и всё поняла.

«Молодость... Какая же это прекрасная пора в жизни. Да и то, разве можно желать пары лучше? Уж оба – и умны, и учтивы, и красивы...».

– Дай-то Бог, – шептала она уже увядшими губами.

– Может быть, ещё дарует Господь – дождусь и внуков.

И она даже всплакнула.

Владислав Измайлов поднялся из-за стола и неожиданно для всех заявил:

– Милая тётушка! Вы знаете, что у меня нет роднее души на всей Земле, нежели Вы. Вы мне заменили и отца, и мать, которых у меня не стало в раннем детстве.

– И я пред Вами, как своей совестью и поручителем моей чести, как пред матушкой, заявляю, что всем сердцем полюбил Ксению и прошу у Вас её руки и сердца.

Тётушка зарыдала:

– Владислав, деточка! Я только могу благословить Ваш союз, но – когда же Вы успели узнать друг друга? Вы же лишь второй день, как встретились. Не поспешный ли Вы совершаете шаг, милые дети?

Прижав свои красивые руки к груди, она в надрыве завершила:

– Это моё единственное – даже не возражение, а то обстоятельство, которое сдерживает моё сердце и мою руку для материнского благословения Вашего, столь желанного и для меня, союза.

– Нет, милая тётушка, – горячась, очень взволнованно и нетерпеливо заявил Владислав, – в моём решении нет поспешности. Я всю жизнь мечтал о встрече с такой девушкой и всю свою судьбу, жизнь всю отдам во имя её счастья. Поверьте мне!

– Дети, милые, а ты – как же, голубка моя, – и она повернулась к Ксении.

– Тётушка, родная, и мне Вы заменили родителей, которые были Вашими близкими друзьями. Папенька погиб в Маньчжурии, а мама, не вынеся горя, так и стояла у Вас на руках – поэтому и я, от чистого сердца, заявляю, что люблю Владислава сильно, на всю жизнь. И люблю давно, – сказала она, покраснев, – с той ещё поры, как он юнкером приезжал к Вам в отпуск. Помните?

Старая служанка, прожившая с тётушкой всю жизнь, никого не спрашивая, сама, принесла из гостиной старинную икону, которой тётушка и благословила союз Владислава и Ксении:

– Этой иконой и меня мать благославляла, а её – моя бабушка. Она всегда приносила счастье и удачу роду Вяземских. Пусть она хранит и Ваш союз всю жизнь, милые дети.

И поутру она заспешила к священнику, чтобы договориться об обряде обручения, а там – и о венчании, так как Владислав скоро должен убывать в полк. На Западную границу, куда-то под Вильно.

Старинный знакомый и давний приятель тётушки – отец Евгений обрадовался за неё, как за родную, и заявил, что в Великдень, то есть через три дня, и обручит молодых.

Тётушка отведала домашней наливки с матушкой, пообедала, да и тронулась в обратный путь с радостной вестью.

Но как-то заболело её сердце, когда её неспешный тарантас, на полном скаку, обошёл казак с пикой у стремени, на которой трепыхался красный флажок.

Его конь, от ушей до репицы хвоста, был в мыле, хлопья которого сползали волнами даже по сапогам казака и падали на землю быстро тающими снежными холмами.

Конь тяжело дышал и с последних сил выстилался над запёкшейся от жары улицей.

«Спалāх!», «Спалāх!» – непрестанно кричал казак, завидев любого встречного.

И уже через минуту его измученный конь скрылся за перелеском, откуда ещё долго доносился перестук копыт и надрывный крик казака.

– Барыня, барыня, – обратился к тётушке старый возница, с которым она не разлучалась всю жизнь, – (когда и успел, всегда думала она, с молодого красавца-парня состариться и согнуться – она так и не заметила), – война, голубушка.

– Как война? Как можно – война, скажешь тоже. Какая война?

И, когда сознание её провернуло эту мысль, она сразу, постарев на целую жизнь, сгорбилась, подбородок её затрясся и из глаз потекли обильные слёзы:

– Господи, – запричитала тётушка, – а как же они? Господи, сохрани моих детей.

Но кому нужны были в эту пору страшной сумятицы эти две, пусть даже самые чистые и искренние, святые души?

С дальних сёл на станцию стали прибывать толпы молодых мужиков, призванных защищать «Веру, царя и Отечество», на рысях подходили казацьи сотни, которые похвалялись перед мужиками своей удалью и уменьем.

– Да мы, – скалился усатый, с богатым чубом из-под фуражки молодой урядник, – пока этих лопатников довезут до фронта – уже с германцем разделаемся.

– Шутить, – подпевал ему зелёный совсем, видно, что в строю ещё не был, первогодок, – весь Дон поднялся. Не дадим врагу на поругание родную землю.

И тут же – лихо свесился с седла на левую сторону и чуть не обняв молодую девицу за плечи, прокричал ей прямо в ухо:

– Не печалуйся, красавица, вот разобьём германца и я к тебе свататься приеду. Будешь ждать?

Девушка зарделась румянцем и не по годам серьёзно и строго сказала:

– Храни вас Господь, солдатики. Возвращайтесь живыми, а мы вас будем ждать, – и перекрестила балагуров, троекратно, крестным знаменем.

Молчал только старый и опытный вахмистр, на груди гимнастёрки которого отблёскивал потемневший Георгиевский крест и две медали – этот знал цену войне и крови и с жалостью смотрел на молодых и беззаботных, ещё не накупавшихся в крови, казаков и думал про себя:

«Эх ты, куга зелёная, вот как вывернет тебя наизнанку от пролитой крови и первой загубленной жизни, когда не можешь ни есть, ни спать, да и сам белый свет не мил станет в эти минуты – тогда поймёшь всю цену жизни. И эти минуточки вспомнишь, и к мамке запросишься, да кто ж тебя к ней-то отпустит? Когда сам кровавыми слезами изойдёшь, да спать не сможешь – вот тогда поймёшь, что война – глубоко противна человеческой природе. А то, вишь, землю ещё не пахали, с девками не нацеловались – а уже кровь лить собираются. Да, вражья она, но тоже ведь люди и матери, как и наши, изойдутся слезами, ежели полягут костями на земле нашей».

Так он и ехал, один, сам по себе в толпе молодых и говорливых казаков, многим из которых, это он знал точно, не вернуться домой и не увидеть пенных волн Тихого Дона.

То тут, то там – лихо наяривала гармошка и ноги, в лаптях, тяжёлых сыромятных опорках и щегольских казацких хромовых сапогах, выбивали на станционной площади «Барыню».

Владислав Измайлов сразу же заявил тётушке и Ксении, что убывает в полк.

– Прошу тебя, родная, прими это, как знак нашей любви и нашей верности, – и он протянул Ксении бархатную коробочку с кольцом

необычайной красоты, покрытом россыпью бриллиантов в виде ветви лавра.

Ксения протянула правую руку и кольцо, словно оно всегда было там, украсило её безымянный палец.

А в ночь, никого не таясь, она по своей воле пришла к нему.

Оставим их наедине в эту единственную их ночь, которую им подарила жизнь. Словно сам Господь хранил их союз и тайну и поручался за их любовь – великую и светлую.

Утром Владислав уезжал на фронт.

И юная женщина провожала своего мужа пред Господом, со спокойной душой. Она верила и знала, что Господь защитит его и сбережёт его жизнь.

О себе она не беспокоилась. У тётушки ей было уютно и спокойно, а о надвигающихся грозах на Россию ей было неизвестно и о них – не только она, но и все живущие в России, даже не догадывались.

И Господь услышал её молитвы. Измайлов воевал успешно, был отмечен множеством наград и милостей, а к пятнадцатому году принял батальон, который, затем, прославился в знаменитом Брусиловском прорыве и молодому командиру сам Государь вручил Георгиевское оружие – самую желанную, особо чтимую и почётную награду.

В майские дни пятнадцатого года пришла к нему долгожданная весть – у него родилась дочь. И в письмах, а они приходили почти ежедневно, Ксения описывала ему каждый день дочери, обводила её ножки и ручки, которые он целовал десятки раз.

И пожившие уже офицеры, с завистью смотрели на молодого капитана, а вскоре – поспел за его геройство и очередной чин – подполковника и молились за его счастье.

Но фронт к марту семнадцатого года, стал неумолимо рушиться.

Измена и предательство везде взяли верх, «... и я помню, – говорила бабушка, – хотя и была девчушкой, как нас всех оглушило известие об отречении Государя от престола и установление в стране хаоса и полного безвластия».

– Все, все предали Государя, сыночек. И генералы отреклись, и церковь, я помню, грамотная была, с манифестом обратилась, ко всем православным о службе Временному правительству.

И даже родство и то оттолкнуло его от себя, красные банты на мундиры нацепило.

Бабушка горестно вздохнула, словно вновь переживая те далёкие события и продолжила:

– В ту пору тётушка Ксении и предприняла попытку найти более тихий, по её представлению, уголок. Собрали свои пожитки и тронулись в путь, к Ростову, там проживала дальняя родня княгини Вяземской – тётушка её матери, древняя уже, совсем старушка, с двумя дочерьми.

Было видно, как тяжело ей даются эти воспоминания, даже губы побелели:

– Не знаю доподлинно, что случилось в этой дороге. Но сказывали, налетела на их колонну какая-то банда дезертиров.

Тётушку убили сразу за то, что не отдавала шкатулку с семейными ценностями, тяжело ранили Ксению.

А девочка, второгодок, сгинула. Словно сквозь землю провалилась.

Бабушка вытерла морщинистые щёки, все в слезах, своим фартуком и повела свой рассказ дальше:

– Ксению подобрали добрые люди. Выходили. Почти полгода она была в забытьи. А как только пришла в себя – сразу же стала искать дочь. Обошла все сёла, все станции, но никто ничего утешительного ей не сообщил.

– Не знаю уже, – сокрушённо, со слезами сказала бабушка, – каким путём она известила Измайлова о своём горе, о пропаже девочки, но вскоре получила от него ответ – очень страшный и несправедный.

Бабушка стала перебирать руками свой полушалок и печально повела своё повествование дальше:

– Он во всём произошедшем, обвинил Ксению и заявил, что более не желает знать её и полностью освобождает от данных ему обязательств.

Горе молодой женщины можно понять. И она, только чуть собравшись с силами, ушла в монастырь. Вот с той поры, я её, голубку и знаю уже хорошо.

Измайлов шёл на поправку. И всё чаще заводил речь с Ксенией о восстановлении их отношений. Просил, искренне умолял, чтобы она простила его за те поспешные и несправедные слова обвинений.

Да, видать, душа её окаменела, выжгло всё в ней его несправедное осуждение и она не могла ему простить той страшной обиды.

Так и заявила, что отныне она – не его, а Божья служка, на всю свою жизнь.

– Вас же, князь, считаю во всех своих заявлениях и... обязательствах предо мной – свободным, – и вернула ему то памятное кольцо, которое он вручил ей накануне войны.

– Не знаю, что потом с ним случилось. Говорят, всё смерти искал, да она его миловала и всю гражданскую войну он провоевал у Деникина. Вышел в большие чины. Но никогда на его лице никто не видел более

улыбки, а в сердце – жалости. Стал весь седой, много греха и крови было на нём. И он не искал у Господа прощения, а всё более ожесточался.

– И когда белое движение изошло из Крыма – его следы потерялись. Никто больше, никогда, о нём не слышал ни слова.

И бабушка при этом истово перекрестилась:

– Храни, Господи, душу его, освободи от прегрешений вольных и невольных.

Тяжело задумалась, что-то про себя долго шептала и осеняла, ежесекундно, лоб свой крестным знаменем. А затем договорила:

– Видишь, внучек, как она жизнь-то поворачивает, что с людьми делает. Им бы жить в любви и согласии, а вместо этого – такая страшная беда. Неизлечимая рана.

Ксения же – умница. Как умерла матушка-настоятельница монастыря, сам архиепископ рукоположил её в сан, да и назначил вести монастырь дальше, по дороге угодной Господу.

Как-то обошлось, не знаю даже почему, но монастырь не тронули ни советы, ни даже фашисты в годы оккупации, хотя матушка Ксения не одну православную, а в особенности – иудейскую душу спасла.

Видать, не завелось у нас иуды и мы так и жили своей дружной семьей. Трудно, нищенствовали, но никто обители не бросил.

И в этом был духовный подвиг Ксении. Умела она добрым словом вселить в души монахинь и послушниц такую веру, что всех испытаний была твёрже и помогала их перенести.

А уж красоты, скажу тебе, была – небесной. Мне кажется, что и монастырь уцелел потому, что при взгляде на неё – немел любой, кто хоть раз встретился с её глазами.

Так мы и дожили до освобождения в сорок четвёртом году. Бои за Севастополь были страшными, а Ялта-то – на подступах. Поэтому насмотрелись мы всего.

Во время бомбёжки был разрушен Храм в обители, потом долго мы его восстанавливали, много при этом люду побило, а Ксения – там ведь была и с проповедью к людям обращалась как раз, а на ней – ни единой царапины.

Знать, хранил её Господь для своей службы и отводил от неё всю беду.

Бабушка замолчала.

По привычке отёрла чистым передничком рот и радостно блеснув глазами, продолжила:

– Но дожила, голубка наша и до своего светлого праздника.

В чести и великом признании людей, дожила. В их любви к ней высокой.

И она истово перекрестилась.

– Не помню, в какой день, старая уже стала, забываю многое, но как-то сразу после освобождения Крыма от фашистов, в Храм зашли двое

военных – красавец-танкист, на гимнастёрке его Золотая Звезда сияла и множество иных наград, а с ним – молодая, лет двадцати девяти – женщина.

Тоже офицер. Врач, значит, так как я помню, что погоны её были в зелёном канте, а на них – четыре звёздочки, не знаю я, что за чин.

Учтивые. Он, танкист, снял свой шлём, не таясь – перекрестился в Храме, а она так и осталась в зелёном беретике.

Купили свечи и стали ставить их, сначала – за упокой, я думаю, товарищей своих поминали, а потом – у иконы Божией матери. Много что-то их поставили. И молча застыли пред иконами.

Бабушка глубоко вздохнула и надолго замолчала, а затем, справившись с собой, повела рассказ, который захватил и меня дальше:

– И в это время из притвора вышла настоятельница монастыря, наша матушка Ксения.

Вышла и обмерла, голубка. Смотрит на молодую женщину-врача, а из глаз, градом, катятся слёзы и никак она не может их унять.

Даже танкист от изумления опешил. Перед ним стояли, совершенно похожие друг на друга две женщины необычайной природной красоты, только одна из них была постарше, вот и всё различие.

– Доченька, кровиночка моя, – простонала наконец Ксения и чуть не лишилась чувств, не подхвати её герой-танкист вовремя.

И, едва чуть оклемалась, проговорила тихим голосом:

– Я же всю жизнь, ежедневно, молила Господа за твоё спасение.

Видать, услышал он мои молитвы.

И она горячо прижала к своему сердцу родную дочь, неведомо по каким законам наречённую чужими людьми, что подобрали её тогда, в семнадцатом году, в лесу, замерзающую и голодную, раненую в правую ручку – тоже Ксенией.

А дочь почувствовала в настоятельности монастыря свою мать сразу. Прикипела к ней, не оторвать.

И так они долго стояли посреди Храма, осыпая друг друга поцелуями.

А потом, за скромной трапезой, мать рассказала дочери и её суженому всю их общую историю.

И вдруг вскинулась:

– Ксения, доченька, мало надежды, но я сама тебе надела крестик на шею. Особый, на нём образ Божией матери запечатлён. Не помнишь?

– Мамочка, мамочка моя, – запричитала дочь, – а он и сейчас со мной, – и она расстегнула пуговики гимнастёрки и извлекла золотой крестик, о котором только что говорила её мать.

Счастливые, обнявшись, они втроём не скрывали своих слёз великого изумления, радости и восторга.

– А вскоре, – доносился до меня голос бабушки, – и война закончилась. Её молитва, Настоятельница нашей и воля Господа сберегли

жизнь и танкисту-Герою, и Ксении. Он стал командиром какой-то бригады, говорила матушка-игуменья, танковой.

И после войны они, с Ксенией-младшей и доченькой, была уже к этому времени, поселились в Ялте, где живут и до сей поры.

А она, голубка наша, уже восемь лет, как предстала пред Господом. Счастливой уходила, ибо её руки покоились в руках любимой дочери и зятя, а рядом были и её любимые внучка и внук.

– Завтра, как пойдёшь на кладбище, знаю, всегда там бываешь, своих товарищей не забываешь по Афганистану, молодец, так вот – у главных ворот – сверни направо и пройди метров семьдесят.

Ты её могилку сразу увидишь. Всем миром ставили памятник. И обсуждали всем миром. Положи и за меня цветочки. Я уже не дойду. Старой стала.

Утром я был на кладбище. Не доходя до могилы Ксении, я увидел – лебедь из белого мрамора взлетал в небеса, к Господу. Так стремилась к нему и душа Ксении.

И когда я возложил цветы за себя и за бабушку, почувствовал, как волны тепла и нежности проникли в самое моё сердце.

И мир вокруг стал радостнее и роднее. И хотелось жить праведно, нести людям только добро и свет.

Настоятель Храма, с которым я потом беседовал, нисколько не удивлялся моему чувству.

С уважением посматривая на мою Золотую Звезду, тихо произнёс:

– Не ты, сын мой, первым говоришь об этом. Многим помогает наша Ксения. Исцеляет многих. Души людей врачует. Примиряет непримиримых.

А ночью, в день её именин, над её могилой золотой свет исходит. И тот, кто его видит, не страшится потом никаких испытаний. Всё превозможет и всё перенесёт. И в сердце своё не впустит жестокости, пустого и зряшного слова.

А молодые, кто придёт к ней поклониться – живут счастливо и в полном ладу.

Перебирая чётки в своих руках, посмотрел мне прямо в глаза и продолжил:

– Светлая была душа. Божья. И я счастлив, что в моей обители, за которую отвечаю пред Господом, она похоронена. Каждый день к ней навещаюсь.

И он размашисто, искренне и с большим чувством, осенил меня троекратным крестным знаменем:

– Царство ей небесное, а тебя же, сын мой – храни Господь во всех испытаниях.

*Не тревожьте своё прошлое
и не перекладывайте груз
своих прежних ошибок на плечи тех,
кто не виновен в их происхождении.
Не для всех этот груз посилен.
Как правило, он ломает тех,
на кого обрушивается эта ноша.*

И. Владиславлев

ПОД СЕНЬЮ СОБОРА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Здравствуйте, величественные стены!

Сколько же лет минуло с той поры, когда я под Вашими сводами
был последний раз? И что это были за годы?

Мне кажется, что высшего чувства, которое Господь послал мне
испытать, не пережил никто в мире живущий.

Это было наваждением, маревом, это было страшным грехом, так
как не отболели ещё рубцы от страшных утрат, но оно так увлекло меня в
свой круговорот, что я забыл даже о том, а живу ли я на этом свете или мне
это грезится в той далёкой и вечной жизни...

Я внимательно изучал это, поразившее меня сразу, лицо. Сказать,
что она была красавицей неотразимой – нельзя. Вроде, ничего такого
особенного, из ряда вон выходящего.

Собранные в высокий хвост белые волосы (но белые – это я говорю
по инерции, так говорят все. Они не были белыми, а чуть-чуть
золотистыми, ясными, светящимися насквозь).

Нос с горбинкой.

Но больше всего кинулись в сознание три детали: выражение её глаз – в них стояла какая-то нечеловеческая грусть и усталость. Усталость страшная. Она говорила со мной, а глаза, существуя отдельно от её лица, отдыхали; во-вторых – кисти её рук. Необыкновенные, с длинными сухими пальцами, украшенные лишь одним-двумя, не помню уже, колечками; и совершеннейшая открытость. Настороженности не было и в помине. Она сама напросилась на разговор и пригласила меня к обеду.

Не отказалась от глотка коньяку, который я предложил, но никакого жеманства, чопорности, сигнала о том, что я не прочь к дорожному роману, ухаживай – она не подала.

Ехали и откровенничали люди, которые твёрдо знали, что они больше никогда не встретятся. И какое им, обоим, дело до того, что о них подумает противная сторона?

Поэтому не молчал и я. Коротко поведал о своей беде, допил, уже с желанием, весь коньяк и вышел в тамбур покурить.

Когда вернулся в вагон – она спала. Было видно, что ей холодно, так как её красивые и стройные ноги, были поджаты почти к подбородку, рук тоже не было видно. Они грелись между коленками, которые так соблазнительно были обтянуты брюками. Это я заметил сразу и неведомое мне ранее чувство тепла и восторга разлилось по сердцу.

Тихонько, чтобы не потревожить её, я достал с верхней полки одеяло и укрыл это прекрасное, сжавшееся в комок, тело.

Заметил при этом, что волосы на ночь она распустила и ей так шло это, всё лицо словно утонуло в золотом облаке.

Всю ночь я не спал. Счастье, что к нам никого больше не посадили за весь путь и от самого Симферополя до Москвы – мы ехали только вдвоём.

Тихонько, стараясь не потревожить её сон, поднимался и несколько раз за ночь выходил курить в холодный тамбур.

Возвращаясь, видел, что она не просто отдыхает, а глубоко спит и только неясная полуулыбка мило шевелила уголки её губ. Красивых и сочных. Ещё не отцветших...

Вот и Москва. Неловко попрощавшись – зачем излишняя суета, я поцеловал её руку и зашагал в метро. Говорить было просто не о чем, тем более, что её встречали сын и дочь...

Да, есть судьба. И в это я поверил в тот миг, когда через двадцать дней, терзаемый страшной болью и будучи неспособным с ней справиться,

я снова ехал к сёстрам, в Симферополь, на недельку, как мне при этом думалось.

Зайдя в купе – я обомлел. На сиденье сидела та моя попутчица и лукаво улыбалась:

– А я давно Вас заметила. Когда Вы закурили, у входа в вагон. Сидела и думала – вот, если судьба, то он непременно сядет в это купе, в котором еду и я.

Видите, так и вышло.

И уже без всякого перехода, торопясь, нисколько не стесняясь:

– А я всё время думала о Вас. И просила даже Бога, чтобы он явил чудо и мы встретились с Вами в Москве.

– Признаться честно, и я Вас вспоминал. Даже чаще, чем того хотелось бы.

Она, при этих словах, даже заалела. А я, грешен, остановил свой взгляд на её красивом, упругом животе, который выглядывал из-под белоснежной блузки-разлетайки.

Она видела мой взгляд, но не сделала даже единого движения, чтобы его прикрыть...

Всю дорогу мы проговорили. В этот раз я был откровенным, рассказал всё о своей беде, о невосполнимой утрате и мне стало даже как-то легче.

Поведала и она мне свою историю: растит двух детей – сына и дочь, уже взрослых, сумела определить их в Москве, даже жильё купила.

Сама же живёт в Ялте, работает на трёх работах, только бы обеспечить учёбу детей.

Призналась даже, что в последнее время, когда выросли дети и стали как-то определяться в жизни, у неё появился мужчина, зовёт замуж, но она так и не может решиться на этот шаг, так как у него двое детей, маленьких, и жена-дура, именно так она и сказала, хотя та и числит именно её в самых близких подругах.

При этих словах всё рухнуло в моей душе и я, уже почти до Симферополя, молчал, лишь чаще стал выходить в тамбур перекурить, читал газеты и лишь изредка поглядывал на её задумчивое и потерянное лицо. Видел, что внутри у неё, в самом сердце, шла напряжённая работа и она внимательно прислушивалась к себе.

Наконец, решившись, резко подняла голову, требовательно отвела в сторону газету, которую я читал, и с каким-то внутренним напряжением в голосе произнесла:

– Не нравлюсь?

– Нет, не нравиться. Вот этого Вы говорить мне не должны были, никогда и ни при каких обстоятельствах. Я не могу относиться с уважением к человеку, который выстраивает свою судьбу на обломках чужого счастья, на горе других.

В Симферополе меня встретили сёстры и я, наспех попрощавшись со своей попутчицей, уехал с ними, даже не обернувшись назад, хотя её взгляд чувствовал своим затылком.

Но на душе моей покоя так и не наступило.

И отмаявшись два дня, я собрался и, не говоря ни слова сёстрам, уехал в Ялту.

Скорее, это был ритуал. Я всегда, приезжая в Крым, ехал хоть на денёк в Ялту, бродил, до смертельной усталости по нарядной и красивой в ту пору набережной, обедал в приморском ресторанчике и возвращался, к вечеру, в Симферополь.

Так было и в этот раз. Но меня почему-то необъяснимо тянуло не на набережную, а в Храм Александра Невского.

В дорожном разговоре она сказала, что это её самый любимый Храм и она часто там бывает.

Ни у кого не спрашивая дороги, я неспешно побрёл к Храму. Она так красочно мне описала путь к нему, что я нашёл его сразу, хотя ни разу прежде в тех местах не бывал.

Вручив мелочь побирушкам, я вошёл в Храм по крутым ступеням и, от неожиданности, ударившей прямо в сердце, даже задохнулся.

Людей в Храме было мало и я сразу увидел, что возле иконы Божией матери – большой, красивой, спиной ко мне, в повязанной на голове дымчатой шали, стояла она.

В эту минуту она была так далека от этого суетного мира и так прекрасна, что я, в предельном волнении, застыл и зачарованно наблюдал за каждым её движением.

Не выдержав, подошёл ближе и молча встал за её спиной.

Она, не поворачивая головы, еле слышно произнесла:

– Я знала, я знала, что Вы приедете, что мы встретимся. И... договорим. Мне непременно нужно с Вами договорить, так как я была... превратно понята Вами. А мне этого... крайне не хочется.

От этих слов я чуть не потерял сознание – как, откуда, ведь она меня не видела. И она, отвечая на мой молчаливый вопрос, ответила:

– А я чувствовала, нет, я просто знала, что сегодня Вы будете именно здесь...

Это были три самых дивных дня в моей жизни. Как само собой разумеющееся, она взяла меня под руку и мы пошли к ней домой.

Шли долго. Вдоль русла некогда существовавшей речки, всё время в гору. Она неотрывно смотрела на меня и за всю дорогу произнесла только несколько слов, но каких:

– Это была бы страшная несправедливость жизни, если бы мы не встретились.

Никогда, ни к кому я не испытывала такого чувства. Мне не совестно об этом говорить, как Вы стали мне дороги, как я шла к Вам, как я хочу видеть Вас, как я... люблю Вас.

Мы пили коньяк, поздний сентябрь, буремный, рвал окна, а на душе был настоящий праздник. Я чувствовал, что эта роковая встреча изменит всё в моей жизни. И очень хотел этого сам.

Вечером она исповедовалась мне. Я просил не делать этого, не надо, пусть всё судьба исчисляет с минуты нашей встречи.

Но ей что-то мешало и она, словно освобождаясь от налёта прошлого, сказала мне, что вернувшись из Москвы, рассказала о встрече со мной в поезде своему любовнику. И попросила больше её не тревожить, независимо от того, буду ли я в её жизни или нет и встречу ли я вообще с ней ещё хотя бы раз в жизни.

Но тот её не оставлял. И всё говорил ей, что он никогда не оставит её добровольно, как самую умную и самую красивую женщину Ялты. И что он, наконец, готов оставить свою семью. Хоть сегодня.

На что она ему ответила:

– Нет, мне более такой жертвы не надо. Я целых одиннадцать лет ждала этого признания. А сегодня – оно мне уже не нужно.

Повернувшись ко мне, с жаром, стала говорить:

– Я поняла, что я жива, что я живу, я хочу любить и быть любимой. Не воровать любовь, а любить в полную силу, всем сердцем.

Затем она, в деталях, стала рассказывать мне об этой связи.

Я просил остановиться и не делать этого, но она была неукротимой:

– Нет, ты должен знать всё. И тогда ты решишь, достойна ли я твоей любви. А жить так, не очистившись, я не смогу...

Страшная это была ночь. Мы не прилегли ни на минуту и на мою голову обрушивались всё новые и новые детали её отношений с неведомым мне человеком, которого я уже ненавидел лишь за то, что он причинил такую боль этой женщине. Признаться, я даже подумал о каком-то психопатическом помрачении, если не сказать больше.

И моё сердце не выдержало. Утром она ушла на работу. Уже собравшись, встала на колени возле дивана, где я, измаявшись за ночь, лежал с закрытыми глазами и сказала:

– Ты только не решай сам ничего. Прошу тебя. Мы вместе примем решение. Дождись меня.

И после этих слов, она ушла оставив мне ключи от своей квартиры, не переодевшись в юбку, как мне обещала. Я помню даже это.

Я написал ей длинное письмо, поверх него, не знаю почему, положил две розы (из букета, который она приняла почему-то без радости

вечером в ресторане, словно чувствовала, каким символом они станут), у которых сломал, у самого цветка, стебель, закрыл квартиру, опустил ключи в её почтовый ящик и уехал в Симферополь...

Больше я её не видел. Долго болело сердце, не давала покоя мысль, что я утратил что-то самое дорогое и светлое, весь смысл оставшегося короткого земного счастья.

Вопрос, а правильно ли я поступил – я пред собою не ставил. По-иному просто не мог. Не смирялось моё сердце с тем, что по пути ко мне, у неё, как говорил поэт – «много всяких и не всяких было».

... Минули годы.

И мы с женой Галиной Ивановной, свой незабываемый отпуск провели в Ялте. Это было удивительное и счастливое время и я благодарен судьбе и сёстрам, что они нас вознаградили такими царскими условиями, и мы двадцать один день впитывали, вбирали в свои сердца красоту Крыма, который я так люблю и который всегда так волнует меня.

И я бы не вспомнил об этой истории, если бы не два обстоятельства.

Первое – я почему-то так и не смог зайти в Храм Александра Невского в сей раз. Мы с женой постояли у его врат и пошли обратно, к набережной.

Мне не хотелось, с этим светлым и милым человеком, которого мне послала во спасение сама судьба, проходить по той дороге памяти, где на всём пути были совсем иные действующие лица, иные страсти, да и иное чувство.

Моя искренность была раздавлена тягостными воспоминаниями о том унижении, которое я пережил в те далёкие уже дни.

Зачем она так сделала – осталось загадкой для меня навсегда. Да я и не ищу разгадки этой истории сегодня, когда со мной рядом столь светлый и дивный человек, который, в уже разгоревшуюся позднюю осень в жизни, составил моё счастье и стал судьбой на всю оставшуюся жизнь. Единственной и незабвенной.

И – второе, о чём я не сказал Галине Ивановне, – в один из дней она покупала в каком-то магазине еду, я, в это время, в соседнем отделе выбирал вино.

Продавщица – яркая, ослепительно-красивая белокурая женщина, привычно равнодушно, без всякого интереса, что-то взвешивала Галине Ивановне.

И когда моя жена открыла кошелёк, чтобы расплатиться за товар, продавщица, я это хорошо видел, неожиданно схватила за сердце, да так и застыла на месте.

В кошельке, в специальном окошечке, за кусочком пластика жена всегда носит мою фотографию.

И продавщица увидев её, на мгновение лишилась чувств.

Супруга же, протянув деньги и держа непроизвольно кошелёк открытым так, что фотография была обращена в сторону продавщицы и была той хорошо видна, заметив её необычное состояние, спросила:

– Вам плохо? Чем я могу помочь?

– Нет, нет, – после секундного замешательства ответила продавщица, – мне уже не поможет никто. Опоздала, я вижу, помощь для меня...

И уже окончательно придя в себя ответила, с едва заметной улыбкой, внимательно и оценивающе оглядывая Галину Ивановну:

– Что-то устала я очень сегодня.

Не поднимая глаз, с пунцовыми щеками, тихо спросила, указывая взглядом на фотографию, на которой я был в генеральской форме:

– Муж?

– Да, судьба моя, моё счастье, – ответила Галина Ивановна и взяв сдачу вышла из магазина, так ничего и не поняв.

Я же, слышавший всё и, конечно же, сразу узнавший в продавщице ту женщину, с которой свела судьба в поезде, ничего не стал добавлять к рассказу жены о странном поведении продавщицы магазина. Зачем ей та давняя история, у которой не было продолжения, не было будущего.

И я счастлив, что Господь оградил меня от тяжких испытаний.

Ибо я никогда не смог бы делить свою избранницу, свою судьбу – с прошлым, к которому она принадлежала долгие годы и которое не сбросить, как кожу, как чешую.

Нет, оно навсегда останется с нами и способно отравить всю жизнь, если в нём были постыдные и унижительные страницы, картины, эпизоды даже.

Прошлое никогда не оставляет нас. И если хотите выстроить достойное будущее, никогда не забывайте об ошибках прошлого. И не повторяйте их, не перекладывайте их груз на других.

Когда мы обедали в приморском ресторане, я увидел на берегу знакомую яркую женщину. Стройная, в джинсовом костюме, с распущенными выбеленными волосами, она стояла у самого края набережной, на том месте, где в далёкие уже годы мы кормили чаек и крупные слёзы стекали у неё по щекам.

Прохожие обтекали её, но никто не остановился и не предложил ей помощи, своего участия.

Она же, тяжело вздохнув и как-то опустив плечи, от чего стали заметными прожитые годы, тяжёлой походкой пошла в направлении бульвара Рузвельта и скрылась, вскоре, за кронами могучих каштанов.

*Алыми маками зацветает
степь там, где пролилась кровь
людская в те стародавние времена.
Да разве только в стародавние?
Сколько её пролилось уже в наши...
Это буйство красок всегда
волнует меня и не даёт
уняться сердцу, которое вновь
переживает чью-то жизнь.
Ту, которая уже была.*

И. Владиславлев

БАХЧИСАРАЙСКИЕ ГРЁЗЫ

Господи, от чего же так стало тревожно мне, когда по моему лицу скользнули эти миндалевидные, пронзительно-карие глаза.

Эффект их присутствия усиливался от того, что глаза были словно насильно вкраплены на белое славянское лицо русской женщины. Множество их, именно этого типа, встретишь на Херсонщине, в Одесской глубинке, на Тамани, на Кубанских безбрежьях...

Где я их видел? И почему они просто преследуют меня?

Где бы я ни появился в Бахчисарае, я везде видел этот взор, полный и муки, и страсти, и памяти, и мольбы о сохранении давно минувшего.

А ещё – о прощении.

Так смотрят матери на своих детей, которых лишили в силу злого рока, но которых любили истово до самого последнего своего часа.

Так смотрит лишь мать на своё дитя, прощаясь с ним навеки под гнётом чужой силы, которой они противостоять не могут.

Жизнь бы отдала для спасения своей кровиночки, да Господь не принимает этой мольбы и обрекает просящих неведомо за что, на страшные страдания, наверное, испытывая и готовя для служения себе в вечности.

Не хочет и Господь иметь дело с падшими, а лишь лучших приближает к себе в той вечной жизни, засчитывая им все перенесённые страдания в земной юдоли за высокий духовный подвиг.

И кто страдал больше, да не возроптал на Господа, тот и
удостаивался Его благословения и поддержки, переступая порог вечности.

Невольничий рынок шумел. Большая удача пришла сегодня к мурзе
Гирею.

Он, удачно совершив набег на Тамань, поперёк сёдел своих
уставших коней, а также в связках – арканами из конского волоса, привёз на
невольничий рынок множество гяуров.

Поперёк сёдел лежали дети, белокурые мальчики и девочки, а
повязанными арканами, сбив босые ноги в кровь, брели равнодушные уже
от мук и боли, ещё вчера ослепительно красивые, молодые женщины и
девушки.

Мужчин почти не было. Все пали под кривыми татарскими
саблями, защищая дом свой и свою семью.

Правоверные знали, что минет несколько месяцев и смирятся
непокорные русины – жизнь-то всем дорога и начнут, до наступления
старости, рожать рослых и красивых янычар, которые вскоре и забудут о
родной земле, а родного языка и знать не будут и мать свою, почти ни
одному из них, увидеть не дано.

А колыбельной песней для них будет посвист калёной стрелы,
редко какая из них не напьётся крови из чужой груди, да звон кривых
сабель, к которым они привыкали раньше, чем успевали выговорить первое
слово, но уже на татарском языке.

И только когда умирал мамлюк, встретив разящий удар более
проворного клинка, чем его собственный, он, неведомо откуда и узнав,
кричал в свой последний миг жизни святое слово «мама» на том языке, на
котором и говорила его мать. Чаще всего – это был язык русов, россичей,
русинов, да его наречия – малоросские, кубанские, терские...

И недоумевал Господь, определяя их судьбу в жизни вечной, так
как и Творцу было непросто решить: а куда отнести этого басурманина, но
ведь русского по крови и крещёного, не отступившегося от веры даже, так
как о ней у него никто и не спрашивал, а просто забывшего о ней и не
помнившего, по малолетству, под влиянием учителей, слуг Аллаха,
льстивых и жестоких, ни в чём не признающих своей вины.

Сегодня, среди обилия живого товара, заполонившего всё вокруг,
сразу же бросались в глаза два совершенных тела: почти нагой женщины, с
бездонными синими очами и молодого казака со страшной раной через всё
лицо.

О, их мучители знали толк в своём ремесле, поэтому и поместили
их в метре друг от друга, напротив, но так туго увязали руки позади столба
волосьяными арканами, что они не могли придвинуться и на сантиметр к

тому, кто ещё вчера был смыслом жизни, сутью всего земного существования.

– Любый мой, – только и шептала она запёкшимися губами, такими красивыми, совершенной формы, норовя движением своей головы рассыпать золотые волосы по груди – в самом расцвете женской красоты – тугой, налитой, с коричневыми сосцами, уже познавшими радость материнства, но такими юными и свежими, которые даже сейчас, в неволе, заставляли мужские головы кружиться от вожделенного ожидания – чтобы прикрыть срам, такой страшный и непривычный ей в прошлой жизни.

И лишь на её бёдрах осталась какая-то полоска ткани, прикрывающая уж совсем недопустимое для людского глаза.

Но, точёные ноги, красивый впалый живот, сильный и вместе с тем – необыкновенно женственный, с идеально сформированным при рождении пупком, руки, изыска необыкновенного – всё было наружу, не прикрыто никакой одеждой и всё это так будоражило торговцев живым товаром, что те, в восхищении, цокали языками и всё твердили: «Якши, якши, красивая урус, такую и в ханский дворец поставить не стыдно. Первая красавица».

Уже десятки почтенных мурз подходили к владельцу этой рабыни, предлагали хорошие деньги, но он всем, неизменно, отказывал и всё чего-то ждал:

– Э, почтенный, – вежливо говорил он старикам, – у тебя не сыщется таких денег, чтобы я не оскорбил Аллаха. Такая красавица дорогого стоит. Для простого шатра она не подходит.

На тех же, кто был моложе его по возрасту, смотрел полупрезрительно, даже не устаивая их своим ответом.

А избранник этой молодой женщины всё это видел, всё это вбирал в своё запёкшееся от боли сердце и не было муки для него горше, чем быть с любимой столь рядом и ничем ей не будучи способным помочь, облегчить участь.

Если бы он знал, что таким будет его позор, своей бы саблей, ещё дедовской, срубил бы эту голову в золотой россыпи волос, чтобы сберечь от позора и надругательства свою судьбу, своё счастье, свою любимую, мать своего сына.

А хотел ведь, хотел предать смерти и её, и сына своего единственного, видя всю безысходность положения.

Прорубаясь к ним, онемевшим от ужаса, он, во дворе своего дома, уложил добрый десяток басурман и, уже решившись на роковой шаг, до него оставалось лишь несколько мгновений, да раньше его воли, страшной и последней, татарская стрела распоролa всё его лицо, а волосяной аркан захлестнулся тугой удавкой на горле и он, теряя сознание, только и увидел в последний миг, как его жену бросил, поперёк седла, страшный, с язвами на лице татарин, а второй – сгрёб в охапок сына-кровиночку, который

царапался и кричал, но враг при этом только хищно шерился, а затем гикнул на лошадь и усакал прочь.

И вот – встреча на невольничьем рынке.

Он, искусав все губы в кровь, молил Господа лишь о смерти, чтобы не видеть надругательства над родным и любимым человеком. Не сдержался, от боли и бессилия, и закричал так страшно, что на миг даже гомон утих на этом торжище людским горем:

– Нету тебя, Господи! Иначе не допустил бы до такого! Я же молил тебя о милости, о том, чтобы своей рукой оборвать их жизнь, а своя-то – мне не дорога. Как же ты мог позволить – такую муку видеть и принимать! Нету тебя, нету!

Придя в себя, он повернул голову в разные стороны – старался найти своим взором сына, но того в поле его зренья не было видно.

Он не знал, что детей продавали в дальнем загоне и было только слышно, изредка, как оттуда доносился рёв малышей.

Да на него, привыкшие к людскому горю и слезам, татары не обращали никакого внимания.

Он, силясь освободить свои руки, в кровь изрезал их арканом, который всё глубже и глубже впивался в его тело, причиняя невыносимые страдания.

Она же, заслышав его полный боли и отчаяния крик, потеряла сознание и сейчас торговец отпаивал её водой, но она, даже будучи в бессознательном состоянии, отворачивала свою голову и норовила сцепить зубы так, чтоб ни единой капли не попало ей в рот. Но татарин был опытным, он как-то ловко надавил ей на челюсти и спасительная влага полилась в её открыты, необыкновенно красивые уста.

Она тут же пришла в себя и сумела выбить головой пиалу с водой из рук работоторговца. Тот даже засмеялся при этом, своей рукой откинул копну её золотых волос за спину и стал беззастенчиво разглядывать её грудь, а затем – ловко и привычно охватив пальцами сосок, тугой и налитый, стал его ласкать. Страшная волна неестественной чувственности прошла по её телу, оно напряжилось и она, умирая от стыда, безвольно повисла на связанных за спиной руках. Лицо татарина исказилось от похоти и откровенного желания, которого он не то, что не мог даже скрыть а, напротив, воодушевлялся им и гордился.

Но тут к ним подошла толпа нарядно одетых, увешанных дорогим оружием мюридов.

Они бесцеремонно рассматривали её, откидывали плётками волосы с груди и восхищённо при этом что-то говорили, взбрасывая вверх правые руки.

К великому несчастью мужа невольницы, он понимал их язык, дед научил, а поэтому его страдания только умножались от тех слов, которые они обращали в адрес его жены:

– О, это подлинная красавица...

– Это будет самый достойный бриллиант в оправе шахского гарема...

– Да, такую не часто увидишь даже среди урусов, женщины которых всегда славились красотой и статью...

– Какая грудь, а ведь рожала, видно, что женщина вступила в пору своей зрелости, в самом соку женского очарования...

– А ноги-то, ноги – словно точёные. Наш хан будет счастлив от такого подарка.

И самый старший мурза, в пунцовом бархатном халате, бросил, с каким-то возгласом, хозяину невольницы кошелёк с золотом и тут же велел отвязать её от столба.

Две юркие невольницы, в чёрных и дорогих, в золоте паранджах, крепко взяли её под руки и повели к тарантасу.

Она, ничего не чувствуя и не понимая, покорно шла между ними.

И он, собрав всю оставшуюся силу, рванул аркан, которым были связаны его руки так, что тот не выдержал и треснул, прозвенев, словно тетива лука.

От неожиданного освобождения он упал, но тут же вскочил, вырвал у близстоящего татарина кривую саблю и нанёс сокрушительный удар по владельцу живого товара, только что продавшего его жену, развалив его разящей сталью почти надвое.

Но уже через миг пять арканов захлестнули его сильное тело, на него кинулось с десяток нукеров и прижали копьями и мечами к земле.

– Хорош, урус! О, какой сильный, – восторженно говорили они при этом, нисколько не печалуясь судьбой только что убитого владельца живого товара.

Более того, его младший брат даже откровенно радовался такому повороту дел, становясь владельцем всего имущества старшего брата.

Уже через несколько минут он продал непокорного русского знатному татарину-мулле мечети Аяк-Копе, слуги которого связали того, бросили привычно на седло запасной лошади и под её брюхом стянули аркан, соединяющий его руки и ноги.

Их же сын, по закону, был продан государству, мамлюки давали за этот товар хорошие деньги, но рабовладельцы с ними никогда не спорили, страшась их гнева и готовы были уступить свой товар и за сущие копейки.

А весь смысл торговли детьми, особенно мальчиками, был в том, что они освобождались от уплаты значительной части налогов и получали за это особую грамоту хана.

Уже на второй день мальчик был в специальном лагере, где таких, как он – были тысячи. Их обучали военному искусству суровые и молчаливые мамлюки, но всегда справедливые и неподкупные.

Так бы и канула в лету судьба этой семьи, как без следа исчезли тысячи, если бы не угодно было Господу испытать этих людей на прочность, на верность заповедям Творца.

И имела эта история продолжение совсем невероятное. Не каждая душа православная способна вынести такие испытания и такую проверку на верность Господу и своей любви.

Он, находясь в неволе, быстро понял, что чем будет строптивее и непокорнее, тем с большим рвением будут его стеречь верные псы – нукеры муллы.

Поэтому сделал всё возможное и зависящее от него, чтобы его мучители увидели, что он сломился и покорился.

Мулла, к слову, и эту его покорность отнёс к воле Аллаха, всемилостивого и всемогущего, пред которым урус сломился, покорился и похвально этим своим гостям, показывая пленника, как диковинное чудо.

А он, действительно на совесть работал на хозяйственном дворе, ворочая пласты многолетнего слежавшегося навоза, чистил и выгребал грязь и мусор от лошадей. И скоро усадьба муллы стала выделяться среди всей знати – она была самой ухоженной и красивой.

Невольник даже везде, где только было возможно, насаждал цветы, особенно в изобилии – разноцветные мальвы, которые сопровождали его по всей жизни – с раннего детства в материнском доме. Где только и добыл семена – так и осталось его тайной.

И мулла, через несколько лет, проникся таким уважением и доверием к неверному, что поручал ему даже досмотр за своими детьми, без опаски вверял деньги для покупок на рынке.

А далее – всё дошло до того, что и жить было позволено пленнику в господском доме, на половине многочисленных детей муллы, которые любили вечерами слушать рассказы раба, в которых он говорил о какой-то неведомой для них стране, странных и непривычных людях и их жизни.

Что же касается одежды – то он давно носил татарские шальвары и богато вышитую верхнюю хламиду, хоть и ношенную, но зато с барского плеча.

Тем неожиданнее была страшная месть русского за свои унижения и долголетний полон.

В один из дней родная сестра муллы, едучи с рынка, решила проведать брата.

Зайдя в его богатый дом и к своему удивлению – не встретив во дворе ни единого человека, она, уже через минуту, с душераздирающими криками выскочила на улицу:

– О, горе мне! Отвернулся Аллах от моего рода!

– Посмотрите, правоверные, зайдите в дом...

Она тут же упала в придорожную пыль и стала рвать на себе волосы и посыпать голову перемолотой в пыль, копытами лошадей, землёй.

– За что, Аллах милостивый, за что? – всё хотела она получить ответ от Всевышнего.

– За что ты их так?

И так она каталась по земле, не давая никому никаких объяснений, а толпа встревоженных зевак всё прибывала и прибывала к дому муллы.

Наконец, собравшись с духом и обнажив оружие, трое смельчаков переступили порог дома муллы.

Вышли они из дома – шатаясь, лица их были бледными, словно жизнь оставила их за порогом.

Все трое удалились в дальний угол двора и долго было слышно, как их выворачивает наизнанку, до кровавой пены.

– Что там? – наконец сурово обратился к ним старейшина.

– Там, там, – вымолвил, наконец, самый сильный из воинов, – все порублены.

– И мулла, и его служки, и охрана. Все до единого. Пощадили лишь детей. Они живы, лежат связанными на ковре, а чтоб не кричали – рты им кляпами забили.

Только после этого – и старейшины, и зеваки, ломанулись в дом. То, что они увидели, засовывая в свои карманы всё, что попадалось на пути, всю кровь в их жилах остановило и выстудило.

Давно и ничему не удивлявшиеся их чёрствые сердца – зашлись от ужаса: мулла был развален сабельным ударом почти пополам; без головы лежали многие его нукеры, успевшие выхватить сабли из ножен, даже садовник лежал почти на пороге дома – видать, убегал, со страшной раной – от плеча до поясницы.

Старейшины единодушно решили, что такой силой удара мог обладать только искусный воин, а таковым в здешних местах, по их мнению, был лишь один – тот русский, который уже годы и годы работал у муллы.

Кто-то вспомнил, как он обучал детей муллы искусству владения оружием и перерубал специально вылепленного из глины для этих целей истукана – пополам.

Все кинулись искать пропавшего русского.

Но его нигде не было. Не было и никаких следов его пребывания не только в окрестностях Бахчисарая, но и по всему Крыму.

Вскоре эта история забылась, так как множество событий, более значимых и судьбоносных, пронеслось над ханскими владениями.

И в них не то, что одна судьба людская терялась без следа, а исчезали целые народы.

Минуло ещё несколько лет. И к ханскому дворцу подошёл богатый караван. Множество верблюдов было нагружено драгоценной поклажей, коврами, кувшинами с вином, благовониями и шёлковыми разноцветными свёртками.

Хозяин каравана с богатыми дарами, которые держали слуги на серебряных подносах, попросил встречи со светлейшим ханом, возвращаясь в Персию, к себе на родину.

Хан незамедлительно принял статного купца, богато одетого, молчаливого, со светлыми голубыми глазами, в которых застыла такая тоска, что хан даже вздрогнул, нечаянно, лишь на миг, встретившись с ним глазами.

И только обратил он к нему дежурные и ничего не значащие слова учтивости, хищно и плотоядно взирая при этом на полагающиеся ему дары, как сам купец и его слуги выхватили из-под халатов мечи, которыми были опоясаны, словно ремнями и изрубили, в один миг, всю охрану, не дав ни единому человеку убежать из дворца.

Купец-перс, уже в летах, но стройный и подвижный, сбросил с себя золочёный халат и в одной алой сорочке устремился на женскую половину дворца владыки Крыма.

Все служки, которые выбегали ему навстречу, тут же падали под ударами его разящего клинка.

Переполох, начавшийся в гареме, он остановил властным окриком, заявив, что никому зла не причинит и ему нужна только русская невольница, которая попала в гарем двадцать лет назад.

Юркая, как змея смотрительница, тут же ускользнула в покои, утопавшие в коврах и вывела за руку очень яркую и очень красивую женщину. Даже под тюркской одеждой невозможно было скрыть её славянские черты и стать.

— Алёна, душа моя, это же я, твой Иван, — кинулся к ней хозяин каравана, с леденящим душу торжествующим криком.

Она стояла недвижимо. Кровь отхлынула от её лица, оно пополотнело и стало белее её богатого шарфа, который развевался у неё за плечами от слабого дуновения ветра.

— Ты что, не узнаёшь меня, любовь моя?

— Узнаю, Иванко. И не забывала никогда.

— Тогда собирайся, быстро, моя хорошая. Пора в путь, пока всё войско хана не опомнилось. Кони свежие ждут нас за воротами.

— И отряд, готовый умереть за нас, сдержит супостатов, пока мы до моря доберёмся, а там — фелюга уже ждёт. Скорее, Алёна.

— Любый мой, не могу я с тобой, не достойна. Не чистая я, Иванко, двух сыновей, хотя и не по своей воле, родила от самого хана...

Зарыдала в голос, а потом, через слёзы, упав на колени перед Иваном, чайкой подбитой прокричала:

— Заруби нас всех, родной мой, облегчи свою душу. Кровью смой мой позор.

Схватила его за ноги, прижалась к коленям и простонала:

— Но, видит Бог и ты это знаешь, что не по своей воле стала я наложницей. Сила сломала солону. И они... Иванко, милый, ведь дети мои. Как и наш Василько, помнишь ли ты его?

Иван заскрипел зубами, со стоном отбросил шашку в угол и, схватившись за голову руками, шатаясь, словно пьяный, вышел за дверь.

За ним исчезли и все его товарищи, словно растаяли, только бешеный топот копыт стал удаляться от дворца и вскоре затих за садами.

Ханом, тут же, был провозглашён старший сын убитого Иваном правителя, который, по праву властителя, забрал в свой гарем и её, русскую пленницу.

Только вот её детям повезло меньше.

Они были лишены имён и направлены на выучку мамлюкам.

Дети быстро забывают всё и уже через несколько лет это были безжалостные воины, не знающие страха, не щадившие своих врагов.

Но воцарившийся хан был умён и коварен, он истреблял до третьего колена всех, кто хоть в какой-то мере знал историю о его братьях по отцу. Их же самих он почему-то пощадил.

Не зажила долго на этом свете и русская невольница. Она всё оставалась неотразимой, несмотря на годы, которые так быстро и так безжалостно промчались над её головой.

Как только новый хан потребовал её к себе, она тут же, потаённым ножом перерезала себе горло.

Нигде не объявлялся и Иван. Как он выбрался из Крыма в этот раз – никому не было ведомо.

Только вскоре почувствовали татары, что опытная и властная рука стала руководить набегам казаков на Крым.

И пощадить при этом не было никому, кого бы они ни встретили с оружием в руках.

Особенно же беспощаден был казачий атаман к мамлюкам, выходцам из северных стран, беловолосым и белокожим.

Бой этот передавался, затем, из века в век – и в песнях, и в сказаниях старцев, и в летописях монастырских отыскался его след. Дошёл он и до наших времён.

Два вышколенных войска сошлись в степи, под Джанкоем.

За весь день ни одна сила не смогла сломить другую, бились до поздней ночи – и всё без результата.

Таяло войско с обеих сторон, но никто так и не смог взять верх.

И тогда старый и опытный военачальник казаков, на чистом татарском языке, вскричал над полем брани:

– Не надо больше кровопролития, Хочу биться с предводителем. Кто из нас побеждает, той стороны и верх будет в сегодняшней битве.

Затихло войско, опустило свои мечи, да так и замерло на тех местах, где их и застал крик казачьего атамана.

Так и стояли они, друг возле друга – ордынцы и православные, словно и не рубились минуту назад. Более того, стали даже помогать друг другу встать, отирая кровь и отложив в сторону мечи.

Все ожидали развязки столь необычайного, редко случающегося в войнах, события.

На горячем скакуне, с которого хлопьями спадала пена, на середину круга, образованного расступившимися противниками, которые стояли бок о бок, перемешавшись в плотном людском море, выскочил мюрид татар – статный, красивый, белолицый и совершенно неожиданно – голубоглазый.

Молодой, с кривой саблей, которая была вся в крови, в правой руке.

Его взгляд был страшен и он, оскалив белые зубы, гортанно прокричал:

– Сейчас, гяур, я твоей поганой кровью напою свой клинок, – и, гикнув на уставшего коня, со всего маху пустил его в сторону вожака русского войска.

Их сабли тут же скрестились со страшным звоном – противники проверяли друг друга на прочность и искали миг для разящего удара.

Кони, разворачиваясь на задних ногах, беснуясь, грызли друг друга.

Старый казак даже улыбнулся в свои седые и вислые усы:

«Щенок, горячится. Оставляет, по молодости, неприкрытым плечо. Сейчас ты у меня за это и поплатишься, сопляк».

И в какой-то миг, невидимый ни для кого, перекинул свою шаблю – с правой руки в левую и тут же – со страшной силой, в беспощадной ярости, рубанул татарина по правому плечу.

Сразу обмякло в седле тело мамлюка и он, с каждым махом коня, стал заваливаться на левое стремя, а вскоре – и упал в перезрелую полынь.

Войско басурман притихло, русское же – стало громогласно кричать:

– Слава, слава, атаману!

– Слава батьке нашему!

– Любо, казаки, атаману!

– Живи сто лет, батько!

Старый казак, с натугой, слез с седла, подошёл к поверженному татарину, который уже отходил, часто загребая землю ногами в кованых золотом зелёных бархатных сапогах, с загнутыми, по обычаю, носами.

И в последний миг, представая пред своим господом, закричал пронзительно и звонко, на чистом малоросском языке:

– Мама, мамочко, как же больно...

Вздрыгнул старый казак, рванул с силой богатый чекмень татарина и увидел на его шее ладанку, которую он не забыл за всю свою жизнь – сам повесил её на шею своему сыну Василию, и велел беречь её всегда, при всех обстоятельствах, что бы ни случилось в его жизни.

– Сынок, сыночек, – разнёсся над полем боя его звериный крик, – что же это я, дитя родное смерти предал!

До каждого сердца участника битвы дошли его страшные, горькие слова:

– Сынку, Василько мой, это же я, твой отец, я тебя жизни лишил!

– Василько мой, – целовал он спёкшимися губами безжизненные губы сына, через которые тугой струёй стекала густая кровь.

А затем, крепко обнял сыновье тело, из которого уходила жизнь и запел тому колыбельную, которую запомнил с детства.

Молодой мамлюк улыбнулся – чисто, совершенно по-детски, вздрогнул и стал затягивать на руках отца, вытягиваясь в длину.

На лице его так и застыла счастливая улыбка, что повергло первые ряды смешанного войска в ужас. Православные сдёрнули со своих голов свои шапки и шлёмы, стали креститься, а могометане – попадая на колени, громко заголосили:

– О, алла!

Вздрогнул от их крика старый казак, положил голову сына себе на колени, медленно вытащил из-за пояса богатый пистоль, поцеловал своего Василька в мёртвые уже уста и выстрелил себе прямо в сердце.

Да так и застыл, сидя недвижимо, с сыном на руках.

Говорила бабушка, что в нашем роду течёт кровь того атамана, его родство мы, значит.

И то – одна семья мы все на русской земле, от одного корня произошли.

Вот почему меня так встревожили те глаза, чёрные, раскосые, татарки со славянским лицом, которая так пристально смотрела на меня на рынке.

А вдруг – это зов крови и она несёт в себе печать нашего общего родства, которое рассеялось по всему миру, а уж в Крыму-то – в особенности.

После этого события, казалось, совершенно рядового и обычного, я долго размышлял над тем, кто мы такие сегодня? И есть ли среди нас тот, кто может сказать, что он – русский или татарин по крови, в чистом, так сказать, виде?

Человеческие дети мы, а значит – Божьи.

Так неужели не поразуедемся и всегда будем за шашку хвататься? Или ещё что-нибудь, более страшное придумаем, только бы свой верх установить, нам только ведомую правду узаконить?

Так ведь и изведём друг друга, под корень.

И не повинимся, пред Господом и друг пред другом, за прегрешения вольные и невольные.

Люди ли мы после этого или каины? И кто направляет судьбы живущих: одних – по дороге совести, а других – лихоимства и бесчестия?

Знать бы ответы на все эти вопросы, смотришь, и зла бы на земле поубавилось.

И крови меньше стало бы литься.

Да непохоже, что вразумил Господь своих детей. В едином роду, в вере единой, а готовы уже в горло вцепиться друг другу, забыв о вековом братстве и судьбе одной, щедро кровью окроплённой. Общей.

Нерасторжимой.

Сохрани и помилуй, Господи, люди твоя!

Дай нам всем прозреть.

*Жизнь и измеряется теми
счастливыми мгновениями,
которые возвышают нас
над повседневностью
и позволяют сказать,
что мы были счастливы,
так как были любимы.*

И. Владиславлев

ОСТАНОВИСЬ МГНОВЕНЬЕ, ТЫ, ПРЕКРАСНО

Маленькая, подслеповатая фотография.

На ней – едва различимые две фигуры: молодые люди, он и она, в лодке.

И красивым почерком, простым карандашом, на обороте надпись: «Остановись мгновенье, ты прекрасно».

Я на всю жизнь запомнил этот осенний день, который мы провели на море, в лодке, которую, конечно же, взяли на пристани самовольно, за что нам потом и влетело от её владельца.

Разглядывая эти счастливые и безмятежные молодые лица, я вспомнил годы юности и те страницы, на которых обязательным и таким искренним было её присутствие, нескладной и совершенно некрасивой, но такой прекрасной и светлой своей душой девушки – Ларисы Завадской.

Я помню, как я пришёл в 9-а класс школы в посёлке Ленино – районном центре степной зоны Крыма.

И уже через несколько дней – заставил говорить о себе, сам того и не желая.

Отличился тем, что очень любил и немножко знал русскую литературу. И уже после нескольких занятий, Тамара Кузьминична Кривцова, преподаватель русской литературы – и по великому счастью – классный руководитель, стала говорить обо мне как о юноше, подающем определённые надежды.

Она очень тепло и светло ко мне относилась с первого дня нашего знакомства. Мы все, с одноклассниками, были в неё безнадежно влюблены и она об этом знала. И очень бережно относилась к нашим чувствам, никогда, ни при каких обстоятельствах, не унизила их и не оскорбила.

Не был исключением и я, и эта милая женщина, которой к тому времени и было всего лет тридцать-тридцать пять, ослепительно красивая, не казалась мне на много старше и я вполне допускал, что могу вызвать и у неё ответное чувство. Даже помню, как я ревновал её к мужу, основательному майору милиции Кривцову Василию Леонтьевичу, старшему брату моего товарища Саши Кривцова.

В это же время и состоялась моя встреча с девушкой, лицо которой было всё в конопушках, с ясными и огромными глазами, да двумя смешными косичками, которые ей очень шли.

– Меня зовут Ларисой, Лариса Завадская, – смело подошла она ко мне, стоящему у окна школы на втором этаже.

Сколько, затем, после этой встречи было литературных споров и разговоров «за жизнь»: юную, дерзновенную, всю пока – в мечтах и поисках.

Помню доброе и светлое письмо её, после какого-то литературного вечера, который мы вели с ней вместе.

В этом письме она меня назвала принцем, которым она любовалась весь вечер.

Конечно, мне было очень светло и приятно от этого и я очень гордился тем, что заслужил столь высокую оценку этой недюжинной, по своему разуму, юной девушки.

Жила она в Заводском, прямо на берегу моря. И я помню – несколько раз провожал её до самого дома, а от Калиновки, где жили мои родители, это было всего полтора-два километра.

И всю дорогу нам было о чём говорить – спорили, читали стихи, как-то выстраивали своё будущее.

Так сегодня молодёжь не общается. И я не к тому, что она хуже нас, но то, что мы были духовно более богатыми, совершенными, это точно.

Я уже тогда твёрдо заявил, что пойду в военное училище, так как, несмотря на то, что мне даже давали путёвку-направление в литинститут от газеты «Крымская правда» – полагаю, что это не только моя заслуга, но и старания Тамары Кузьминичны, моей любимой учительницы – но

содержать меня было некому и поэтому путь был определён один – на государственную службу, в офицеры.

Помню, как Лариса выбор мой одобрила, так как я очень хотел быть флотским офицером и мыслил идти в Севастопольское военно-морское училище.

Судьба, правда, распорядилась по иному и я вынужден был пойти в Вильнюсское училище войск ПВО страны, так как медкомиссия не допустила меня к флотской службе.

Ну, да речь не об этом.

Уже где-то в десятом классе я понял, что Лариса относится ко мне не как к товарищу, но, юность ведь слепа и я был увлечён Натальей Ломанюк, необычайной красоты девушкой, по которой «сох» не один я.

Конечно, в ту пору я не видел её ограниченности и наделял всеми, даже несуществующими качествами.

Лариса страдала. Я помню, до сей поры, её стихи, её светлые письма, обращённые ко мне.

Но ответить на её чувство я не мог.

Долго ещё, затем, длилась эта агония.

Она писала мне добрые письма и, даже выйдя замуж, в Одессу, продолжала мне присылать свои весточки. Именно через неё я был в курсе всех дел одноклассников.

А затем – наша связь как-то истаяла и прекратилась. Знать, выполнила своё назначение и свою роль и более явить жизненно важного, необходимого душе, не могла. И это правильно.

Было ещё несколько встреч, но они такой радости и такого следа у меня не оставили.

Мы стали взрослыми, жизнь научила многому, и уже не хотелось возвращаться в ту дивную сказку, без которой невозможно стать и остаться человеком.

Помню, как мы даже встретились после Афганистана, а говорить, кроме «А помнишь? – стало просто не о чем.

И уже через её подругу, Машу Довгалюк, я узнавал в редкие наезды домой, в отпуск, о её судьбе и радовался тому, что всё у неё, как у людей – муж, семья, своя судьба...

Слава Богу, у неё появились две девочки, дочери. Интересно, похожи ли они на мать?

Сегодня, обращаясь к этим светлым дням юности, я в глубоком поклоне склоняюсь пред этим дивным и святым человеком и молю Господа о Его расположении и милости к ней.

За великую щедрость сердца и чистую душу свою – она заслуживает наибольшего благоприятствования от Господа по дороге жизни.

Маловероятно, что суждено нам увидиться ещё раз, поэтому я и обращаюсь к Творцу – пусть Он её хранит и семью её.

Когда-то ты написала мне, милая Лариса:

Ну, прощай, дай на счастье руку,
Уходи, растворишься во мгле.
Уходи и не трожь мою муку –
Пусть она останется мне.

Ну, прощай, далека дорога,
И у каждого – только своя.
Мы пройдем через всё понемногу,
Не завидуя, не таясь.

Ну, прощай, дай на счастье руку,
Всё дороже улыбка твоя.
Уходи и не трожь мою муку –
Пусть она будет только моя.

Я помню эти строчки, милая Лариса. И уже никогда не забуду их.
Жизнь, действительно, у каждого только своя. И необходимо и в
ней начинать подводить итоги – ради чего жил; что и кого любил; что
сделал достойного внимания и признания людей?

Сколько выстрадано, вымучено, сколько утрат и невосполнимых
потерь осталось – так, что душа порой обугливалась.

Но, если я это вынес, превозмог, преодолел, выжил, то во многом –
благодаря и тебе, милый друг, в том числе и тому, что храню в душе память
о том мгновении, которое было прекрасным.

Невозвратном и святом.

*Само святое в жизни
– принять на свои руки
новую жизнь.*

И. Владиславлев

РОДЫ В АЛУШТЕ

Единственный раз, по молодости, мне неслыханно повезло.

Начмед армии ПВО, что была в Минске, где я был комсомольским работником, до сей поры помню даже, что его звали Валерием Николаевичем Кабановым, встретив меня утром неожиданно предложил:

– Комсомолец, если договоришься с отпуском, у меня есть горящая путёвка в Алушту.

Дело было где-то в мае–июне и я тут же направился к необычайно интересному человеку – Николаю Антоновичу Стрелецкому, заместителю начальника политотдела армии. И он, что было совсем уж против правил, с лёгкостью меня отпустил в отпуск.

На второй день я вылетел в Симферополь.

Не стал даже заезжать к сёстрам, провести их решил на обратном пути и уехал из аэропорта, троллейбусом, в Алушту.

И здесь меня ждали два необычайные события, которые я не могу забыть и до сей поры.

Первую половину отпуска я провёл с командиром полка, помню, что его звали Володей.

Мы жили в двухкомнатном номере, где все удобства – посредине, общие, а комнатки, маленькие, но аккуратные и чистые, были на каждого.

В первый же день, после знакомства, мой насельник пригласил меня прогуляться по набережной.

Набережная в Алуште – удивительная, на мой взгляд – самая красивая и удобная из всех крымских курортов. Тянется она километров на семь–восемь, по моему представлению.

И пока мы дошли до набережной, мой визави – предложил мне отведать крымского портвейна, который продавался на каждом углу.

Отведав стаканчика три–четыре, больше я не мог, так как в ту пору я вообще не пил, а Владимир, помнится, и гораздо больше – мы стали пребывать в столь благостном настроении, что мир вокруг нас стал окрашиваться только в светлые, жизнеутверждающие и радостные тона.

Погуляв по набережной, мы пошли в обратный путь. Дело шло к обеду.

И на обратном пути мой старший товарищ настоял, чтобы мы ещё, в меру сил, обратились к Бахусу.

Я осилил ещё стаканчика два, не больше, и в добром и светлом настроении мы пошли на обед.

К слову, кормили в ту пору очень хорошо, система питания в санатории была заказной и я, как впервые попавший в эту благодать, находился на вершине блаженства.

Но, к несчастью, мой сосед по номеру превратил моё пребывание в санатории в пытку.

Каждое утро, лишь всходило солнце, он тащил меня на набережную, по-моему, мы даже не купались, но зато все подвальчики и даже бочки на всех углах, где торговали портвейном в разлив, и стоил он что-то копеек двенадцать за стакан, мы обошли за эти дни.

Крымский портвейн – это особая история. Это не та «бормотуха», которую пили опустившиеся мужики в центральной России.

А крымский портвейн – это было чудо виноделия, вкусный, густой, ароматный, он даже не так бил в голову, как сковывал движения, ноги становились словно ватными, но рассудок при этом был ясным и светлым.

И радость сердечная, да, да, именно – сердечная, призывала к добру и союзу со светлыми людьми. Вот такой он был, в ту пору, крымский портвейн.

Но, тем не менее, я с великим облегчением встретил весть о том, что Владимир уезжает, его отпуск подходил к концу.

И я проводив его, по-братски обнявшись и выпив на дорожку того же портвейна, залёг спать и проспал почти сутки.

Весь следующий день я не выходил из воды и радовался жизни.

«Слава Богу, – думал я, – наконец-то – отдохну».

Помню, что мне даже какие-то грязи назначили и я, с радостью, стал принимать эти моционны.

Через день-два, придя с пляжа, увидел, что в номере я не один.

Майор, врач-хирург Александр, составил мне компанию по дальнейшему пребыванию в санатории.

Мы очень подружились, он был старше меня на четыре-пять лет и всё время проводили вместе.

Портвейн мы тоже пили, но в значительно меньших объёмах.

И я, поправив пошатнувшееся здоровье, даже стал бегать по утрам по набережной, пробегал до семи-восьми километров утром.

Однажды вечером, прогуливаясь по набережной, иных увеселений мы не искали и счастливо избегали откровенных ухаживаний опытных дам, которые были столь вероломно настойчивы, что во мне это вызывало только брезгливость и возмущение, услышали душераздирающие крики женщины.

Будучи людьми пристойными, мы тут же ринулись на крики.

Я недоумённо остановился – на скамейке каталась женщина, с огромным животом и что-то кричала, как потом выяснилось, на армянском языке.

Александр, доктор, видать, был очень опытный, сразу же определил:

– Роды! Давай, беги к телефону, звони, вызывай «Скорую», а я – здесь...

И я унёсся. Не помню уже, по-моему в каком-то магазине мне дали телефон и я, как мог, с помощью продавщиц, которые уже поняли суть проблемы, объяснил «Скорой» куда надо ехать.

И тут же, бегом, устремился к месту происшествия. Только добежал туда – увидел, что уже зеваки окружили всю скамейку и давали Александру советы, что и как делать.

Он долго терпел, а потом всех шуганул таким матом, что народ, минуту приходя в изумление, затем разразился таким хохотом, что и влюблённые пары повыскакивали из кустов, где разрешали, кто как мог, свои извечные проблемы.

В наступившей тишине Александр добавил:

– Теперь я знаю, почему нельзя полюбить женщину на Красной Площади – много советчиков будет.

Народ, по новой, зашёлся от хохота, у многих из глаз даже полились слёзы.

Зевакам очень понравился этот деловой врач, который со знанием дела принимал роды. Но после его «любезностей» уже никто не давал ему советов и отойдя в сторону – не спешили уходить, а всё ожидали, чем завершится эта история.

Через несколько минут родилась девочка. Мне даже кажется, что сама атмосфера добра и участия облегчили страдания матери и она легко и быстро явила новую жизнь.

У меня младенец на руках Александра вызвал страх и какую-то оторопь

Завидев меня он повелительно крикнул:

– Майку и рубашку – снимай!

Я без раздумий снял майку и хотя она была влажной, я же бежал, и не очень подходила для малышки, но другого у нас ничего не было.

Он завернул девочку в мою майку, а затем – и в рубашку, сел возле измученной, но счастливой матери и что-то стал ей говорить.

Добрая улыбка украсила её лицо и мне показалось оно необыкновенно красивым, этакая мадонна, уже худенькая и молодая, лежала на скамейке и всё норовила как-то прихорошиться и поправить своё мокрое и помятое платье.

А тут и «Скорая» подоспела.

Мой товарищ профессионально объяснился с подъехавшим врачом или фельдшером, не помню, выдал им советы и мы пошли к морю мыть руки.

Но он-то был в какой-то тенниске, я же – шёл голым по пояс, в одних джинсах и чувствовал себя не очень уютно, хотя на Юге никого и ничем, мне думается, уже не удивить.

Мы дошли до санатория, в номере – был повод, распили бутылку коньяку и проговорив до полуночи – уснули сном праведников.

Правда, говорил в основном я и всё восторгался своим приятелем.

Утром мы проснулись от страшного топота в коридоре. И такого гомона, что даже подумали о каком-то стихийном бедствии, а поэтому, едва натянув джинсы, выскочили за дверь.

И тут же попали в крепкие объятия множества армян, их было человек шестьдесят, не меньше.

И все они несли в руках какие-то корзины, коробки, свёртки, ящики.

Тут же, даже не спрашивая нас, в моей комнате они соорудили стол, а вернее – нечто экзотическое и такое невообразимо красивое, что мы с приятелем занемели – там стояло, по меньшей мере, двенадцать-пятнадцать бутылок коньяку, фрукты, какое-то мясо, я и не знал ещё тогда, что это – бастурма, коробки конфет, их множество.

Остальные коробки и сумки, пакеты и ящики, стояли на полу, на моей кровати, на подоконниках.

С этого дня наш отпуск и отдых закончился окончательно.

Мы каждый день приглашались в гости, нас везде принимали, как национальных героев.

К слову – и мать, и девочка чувствовали себя превосходно, никаких осложнений не возникло и через несколько дней мы имели счастье и честь держать этого маленького человечка на руках, к появлению на свет которого имели некоторое отношение.

И мне казалось, что он осмысленно смотрел мне в глаза и что-то, самое главное, понимал из происходящего вокруг.

После этого события, хорошо помню одно, что я впервые, в двадцать шесть лет, почувствовал, что у меня болит сердце, а от одного вида коньяку мне становится дурно.

И долго мне пришлось убеждать молодую и любимую жену, что никаких иных курортных грехов за мной не числилось. Да и не падок я на них.

Знать бы судьбу той девочки сегодня. Что она и как? В какой стране?

Убеждён твёрдо в одном, что даже только наша искренность в тот день не должна позволить ей стать дурным человеком.

Счастья Вам всем, милые люди, кто эту историю помнит.

Мы тогда, в ту пору юности, были единым народом и не делили наше Великое Отечество на национальные анклавы, а где-то – и на националистические, и даже – людоедские.

Что же ты учинил, Господь, с детьми своими? Зачем позволил им с пути братства и добрососедства свернуть – на заросшую тропу эгоизма и кичливости, национальной ограниченности?

И уже ведь – не первая даже кровь пролилась, но она ничему не научила двуличных, корыстных и подлых политиканов.

Отпылал Карабах, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, кровью изошла Чечня, никакого просвета не видно в Ингушетии и Дагестане, настоящая война испепелила Ош, Фергану, дружелюбный Узбекистан, трудолюбивый Таджикистан...

Начали воевать с памятниками освободителям и победителям, а Вио Артмане – выбросили умирать на улицу в Риге.

И наш минкульт, у которого один Пиотровский разворовал Эрмитаж на миллионы, так и не смог ей, Народной артистке СССР, купить в Риге квартиру, чтобы она в ней закончила свои последние дни.

Зато – Собчаку, уничтожив захоронения Святых, в Русской Земле воссиявших, воздвигли целый, в Ленинграде, целый пантеон.

Даже на поминки Мирей Матье выписали, из Франции.

И Солженицына, лютого врага России, вдохновлявшего уже в наше время поход всех зарубежных сил против неё, упокоили рядом с гением Земли Русской Василием Ключевским, который никогда, ни при каких обстоятельствах, не стал бы и стоять рядом с «ВЖК», «вечно живым классиком», по меткому определению фронтовика Владимира Бушина.

Был бы оскорблён запахом серы, как от дьявола, который исходит от этого предателя и труса, навуходоносора и клеветника.

А его нам, в оправдание происходящего в России, вменяют к обязательному изучению в школах и вузах... Даже премии его имени учредили.

А атомные лодки тонут, а людей, как на войне, убивают в уособицах, захватах, на рынках, а старики сгорают, десятками, на пожарищах...

Каждый день горит и взрывается Москва, в которой уютно только двоим – мэру всех времён и народов и его супружнице-миллиардерше...

Разве такое было возможным в ту светлую пору, когда мы сами были почти святыми?

*Первое чувство, первая любовь
всегда остаётся в нашей памяти.*

*И мы, благодаря этой памяти,
делаемся лучше на всю
оставшуюся жизнь.*

И. Владиславлев

ЕРЕНА

Эту молодую женщину со столь странным старинным польским именем он заметил сразу.

Она нисколько не старалась ему понравиться. Она просто знала, что она ослепительна и умна, и среди окружающих его людей остаться незамеченной не могла, если бы этого и очень хотела.

И вела себя в соответствии с этой данностью – была приветлива и ровна со всеми, и с ним тоже.

И только много позже он заметил, что дивным светом её тёмно-карие глаза зажигались только тогда, когда Она встречалась с ним.

Приятеля привычно называли Её Ириной, а ему так нравилось её первозданное имя и он его, как молитву, шептал, оставаясь с собой наедине: «Ерена, Ерена, Ерена...».

Откуда залетела эта веточка, этот листок неведомой ему жизни и истории – он долго не знал.

Но сдержанное благородство в повседневной жизни, высокий такт и умение себя держать в любой обстановке и легко нести своё естество среди множества людей, были у неё природными, воспитанными во многих поколениях и переданными ей от предков.

Это уже потом он узнал, что род Её происходит от древней польской знати, которая, века назад, осела на Брестской земле.

А в пору первых дней, месяцев его знакомства с Нею, он всегда поражался – откуда она впитала в себя эти манеры; эту речь; эту искрящуюся улыбку. К слову, она никогда не смеялась в полный голос, как это делали другие, а лишь мило и тихо улыбалась.

И ничто не могло её заставить вести себя по иному.

Он запомнил миг знакомства с нею на всю жизнь – не он, а она, первой, подошла к нему и представилась:

– Ерена, Ерена Каленикова. Почему Вы сторонитесь всех? Давайте к нам. Мы же все должны быть вместе, как товарищи, как единомышленники.

И если к этому добавить, что этот разговор состоялся на бюро горкома комсомола, куда он был избран, как комсомольский работник корпуса – представление будет наиболее полным.

Он сразу обратил внимание – на её правой руке было обручальное кольцо.

У неё изломались густые чёрные брови при этом. Почему-то её встревожил этот его откровенный взгляд, и она даже руку убрала. Непроизвольно, за спину.

И с этой минуты с ним стали происходить странные вещи: он всё время искал встречи с Нею, а встретившись же с ней, даже случайно – сторонился её, мучительно краснел и отвечал только односложно на все её вопросы, хотя по природе был коллективистом, начитанным и весьма воспитанным молодым офицером.

И уж сущей мукой и пыткой для него стала встреча с её семьёй на дне города.

Она не видела его. И он получил довольно продолжительное время, чтобы рассмотреть её со стороны – нарядную, яркую, очень модно и со вкусом одетую – так в ту пору одевалось очень мало людей.

Красивое, узкое платье выгодно подчёркивало всё совершенство её безупречной фигуры. Сильной, женственной, с развитой грудью женщины, которая уже выносила и выкормила ребёнка.

Точёные ноги в лакированных туфельках на среднем каблукке, делали Её ещё стройнее и выше.

Рядом с ней был молодой мужчина, с богатой шевелюрой, которого портило единственное – какие-то беспокойные руки, которые всё время перебегали с пуговиц костюма – на галстук, с галстука – что-то искали в карманах и вновь расстёгивали-застёгивали пуговицы пиджака.

Один раз капитан даже встретился с ним взглядом, и тот, совершенно не зная его, почему-то недружелюбно и даже зло, выдерживая характер, смотрел в глаза молодому военному, долго не отводя свой взгляд от его лица.

Наконец, не выдержал, как-то часто заморгал и тут же отвёл свои глаза в сторону и даже на пол-оборота отвернулся от незнакомого военного.

И Она это почувствовала. Как-то инстинктивно прижала к себе голову мальчика, лет шести–семи от роду, и стала скользить взглядом по праздничной и шумной толпе.

И когда её взгляд встретился с его глазами, Она вздрогнула и стала густо алеть всем лицом.

Её муж заметил эту неведомую для него раньше перемену в своей жене. Лицо его стало каменным. Даже пот выступил на лбу, который он отёр просто ладонью левой руки.

Было видно по артикуляции его губ, как он спросил: «Ты – чего? Что случилось?»

Её губы донесли до военного – безмолвное, на расстоянии: «Что-то очень устала. Жарко. Пойдём отсюда...».

И уходя – ещё раз опалила светловолосого капитана своим глубоким, словно заглядывала в душу, взглядом.

Так и тлели эти неопределённые отношения весьма длительный период.

Он мучительно осознал, что встреча с этой роковой женщиной поломала все его планы, круто изменила всю жизнь.

Он расстался с милой и тихой девушкой, без объяснения причин, которую ему прочили в жёны, и сам напросился в Афганистан.

Правда, не удержался, и через знакомого офицера, попросил его об этом, передал ей огромный пакет. В нём было множество стихов, которые он написал ей. И после этого запретил себе даже думать о Ней.

Когда один современный дуболом по фамилии Аксёнов, в своих злобных измышлениях о войне заставил своего героя сказать, что война –

это лучшие годы его жизни, он, услышав эти слова, холодел от ярости и бессильной ненависти.

Любая война – это кровь, это жертвы, это потери близких людей. И каким же надо быть негодяем, чтобы сказать, что среди смерти и утрат проходят лучшие годы жизни.

Он был твёрдо убеждён, что так не может думать даже откровенный негодяй.

Поэтому он страшно не любил вспоминать эти годы своей жизни, которые у него забрал Афганистан.

И отмечен был высоко и достойно, полковничьи погоны были уже на плечах, и звезда Героя Советского Союза на мундире свидетельствовала о достойном пути его обладателя, а он не мог – годы и годы – спокойно жить, забыться, создать семью.

И неотрывно думал о Ней, своей несбывшейся мечте, своей Ерене.

Хотя и была с Ней единственная встреча, которой он так высоко дорожил, и которая освещала ему весь жизненный путь. Яркая, красивая и совершенно случайная.

Он уже не помнил, куда ехал на служебном УАЗике, по краю огромного поля ржи.

И по самой его кромке сиял в солнечных блёстках небесно-синий ковёр васильков.

Неведомо какое чувство вело его, но он попросил водителя остановиться на краю этого поля и стал собирать букет васильков.

Увлечённый этим занятием, он не слышал, как возле его УАЗика остановился жигулёнок и из него вышли две женщины.

Одна – чуть постарше, а вторая – молодая, яркая, со гнущими чёрными волосами, собранными сзади в простой «хвост».

И очнулся он только тогда, когда за спиной услышал Её голос:

– Как жаль, что не мне предназначается этот дивный букет.

Он даже вздрогнул от неожиданности, резко повернулся к ней, да так, что рассыпал цветы, и они синей волной упали возле её ног.

Она смутилась:

– Ну, вот, помешала я Вам... Я так долго смотрела за Вами. Такое хорошее лицо было у Вас при этом.

И совсем уж неожиданно вырвалось у Неё, против воли:

– Вы очень красивы...

И Она своей дивной рукой дотронулась до его богатых волос и отвела рассыпавшуюся прядь набок, открывая его высокий и чистый лоб.

При этом рукав её лёгкого платья, так ей идущего, опустился мягкой складкой на плечо, обнажив руку – женственную, столь совершенную, что он даже не к месту подумал: «Жаль, что я не художник. Нарисовать бы эту красоту...».

Глубокий вырез платья открывал верх её груди, которая была столь красивой, налитой и загоревшей, что у него даже закружилась голова от переживаемого волнения.

Она видела его состояние. Сама в чрезвычайном напряжении даже закусилась своими дивными губами, которые просто манили к себе – чувственные, чуть открытые, в правом уголку которых образовалась при этом трогательная ямочка.

И тут же, решившись, со стоном и болью, тихо сказала:

– Господи! И где ты взялся на мою голову? Я так спокойно жила. Всё было определённым и понятным. Никаких метаний, никаких страхований.

Знала, что муж – меня любит, я относилась к нему с уважением, хотя и не любила. Нет, не любила и не люблю. Но многие ли любят взаимно?

А тут – ты... Зачем? Я мерзкая, я гадкая, но я не могу и минуты прожить, чтобы не думать о тебе, не вспоминать эти глаза...

Она даже застонала:

– И если бы не сын, – и при этих словах слёзы полились из её глаз.

Он стоял оглушенный её признанием, в котором она, неведомо для чего, пошла даже дальше:

– Я даже спать стала в комнате с сыном. Нахожу любой предлог, любой повод после встречи с тобой, чтобы не быть... не быть с мужем.

Он меня не понимает. Работаем ведь вместе, и если бы у меня был какой-то роман – он бы всё видел. И, наверное, ему было бы легче.

– А так – непонятно, отчего я так переменялась. Он этого понять не может и от этого страдает.

– Вы зачем мне всё это говорите? – он сказал это тихо. Но ярость сквозила в каждом его слове.

– Вы живёте в нормальной семье и Вам только хочется оставить непоручным свой покой и все свои устои. Вы не знаете совсем, как живу я. Да и живу ли вообще?

Повернулся к ней – глаза его горели. А душевная мука так исказила его лицо, что оно стало бледным, как полотно.

– Я ведь только и живу тем, что предо мной, везде, Ваши глаза. Сейчас, сию же минуту, если я Вам дорог, Вы должны быть со мной. На интрижку, на тайные и ворованные встречи – я никогда не пойду.

Думайте и решайтесь.

Она вся обмякла и слёзы, ручьём, полились у неё из глаз.

– Господи, родной мой, хороший, а я-то думала, что совершенно тебе безразлична, что не нужна тебе. Теперь мне так светло на душе...

И уже не спрашивая его ни о чём и не говоря ему больше ничего – стала иступлённо целовать его в губы, в лоб, в щёки.

Обняла, со стоном оторвалась от него – гибкая, прекрасная и твёрдо сказала:

– Я всё сегодня скажу мужу. Я тоже не хочу ворованного счастья и жизни, прежней, не хочу.

И уехала с подругой, которая всю сцену наблюдала с нескрываемым ужасом на лице, изумлением и какой-то невысказанной болью.

А вечером, в гостиницу, где он проживал, пришла она, её подруга, и принесла ему письмо.

Говорить ничего не стала, а только попросила прочесть письмо в маленьком красивом конверте, от которого явно был слышен запах дорогих духов, только лишь по её ухodu.

Он тупо уставился куда-то в окно и ждал, пока эта женщина уйдёт. Оставит его наедине со своими ставшими в миг горькими мыслями.

Письмо он не прочёл. Он и так знал, что пишут в подобном случае, когда страшатся сами сказать пусть горькую, но честную правду.

Он его сжёг над пепельницей и завтра же, благо, в дивизию пришла разнарядка, напросился в Афганистан.

И вот, после более чем девяти лет, а он упросил руководство армии, и его оставляли в Афганистане, к чьей-то вящей радости, трижды подряд, до самого вывода войск, он возвращался в город, где стояла его дивизия, и куда он был назначен начальником политического отдела.

Но это был и Её город. В нём жила Она, та, которую он не забыл, и которая так и осталась в его сердце. И он знал, что это уже навсегда. Как знал и то, что никогда не простит ей того визита подруги. И того письма, которого он так и не прочитал.

Приняв дела и вступив в должность, через несколько дней он поехал представиться городским и партийным властям.

Секретарь горкома партии, молодая и энергичная, обаятельная Лилия Николаевна Якимчик, приняла его тепло и сердечно.

Тут же заявила, что на партийной конференции будет рекомендовать его в состав бюро горкома.

К слову, они были очень дружны весь последующий период совместной работы. И он всегда восхищался этой умной, яркой и даровитой женщиной, которая так органично и умело совмещала в себе и талантливого партийного работника, и мать троих детей, и тонкого, просвещённого человека.

В один из дней, когда он прибыл по её приглашению в горком партии, она предложила:

– Я сейчас познакомлю Вас с членами бюро горкома. С этим составом, за исключение двух-трёх человек, мы их всех предлагаем на выдвижение, мы намерены выходить и на партконференцию, и на будущие выборы.

И не была бы она женщиной – красиво улыбнувшись и даже заалев, слегка, лицом, заявила:

– Край наш – текстильный. В составе бюро – три четверти – женщины. Вот они мне уже все уши прожужжали: «Лилия Николаевна! Вы бы хоть познакомили нас с Героем. А то мы только слышим, что новым начальником политотдела дивизии назначен Герой, молодой полковник. Да ещё говорят, что он и не женатый».

Всё это она ему выпалила за минуту и тут же кому-то позвонила:

– Нина Григорьевна, приглашайте членов бюро горкома, пусть заходят...

Он считал себя сильным человеком. Но когда дверь в кабинет секретаря горкома открылась и на пороге появилась женщина необычайной красоты – у него закружилась голова и пол качнулся под ногами.

До него донёсся голос Лилии Якимчик:

– Знакомьтесь, Владислав Святославович, это наш секретарь горкома партии по идеологии, Ирина Николаевна Каленикова. К слову, как и Вы – кандидат философских наук...

Больше он ничего не слышал.

Пламя полыхнуло в его голове, сразу стало нестерпимо жарко и он, не объясняя никому и ничего, поспешно вышел из кабинета первого секретаря горкома партии.

Утром следующего дня, ещё только чуть рассвело, к нему в дивизию приехала первый секретарь горкома партии Лилия Якимчик.

Мило побеседовала, несколько минут, с комдивом, прославленным и любимым всеми генералом Лобановым, который куда-то спешил, и осталась с ним, начальником политотдела, наедине.

– Владислав Святославович, Вы простите меня, что я встречаю, наверное, не в свои дела, но Ирина – не только секретарь горкома, она – самая близкая моя подруга. Поэтому быть в стороне от разыгравшейся драмы – я не могу. Хочется, хотя бы немножко, и себя уважать за имя и звание человека.

Остановилась, справилась со своим волнением и продолжила:

– Господи, как же я не догадалась сразу, что это – Вы. Она же мне всё рассказывала о Вас, о вашей встрече с нею в молодости.

Тяжело вздохнула, присела на край стула, как-то виновато попросила у него сигарету, умело затянулась душистым дымом и повела речь дальше:

– И о том поступке подруги, на который она её не уполномочивала.

Посмотрела ему в глаза. Словно решаясь на какое-то важное сообщение, и громче, чем надо было, сказала:

– Она, Владислав Святославович, уже девять лет одна – после Вашей встречи у ржаного поля, с васильками. Она всё честно рассказала мужу и тут же ушла, с сыном, к своей матери.

Необходимо было несколько дней, чтобы придти в себя. Просто собраться с мыслями. Не много я знаю женщин, способных на такой поступок.

На второй же день она собиралась встретиться с Вами. Уже... на всю жизнь и всё Вам объяснить. Представьте, то время и те условия, для комсомольского работника города – шаг более, нежели смелый.

Да, видать, не рассчитала своих сил и слегла в горячке от пережитого. Болела долго и тяжело. А когда встала на ноги – узнала от руководства части, мне при этом не говорила ни слова, что Вы уже убили в Афганистан.

– Господи, что с ней происходило несколько месяцев. Она мне даже сказала на второй день:

«Лиля, если он погибнет – в этом будет моя прямая вина. И я не буду жить ни мгновения, ты это знай. Только сына... тогда досмотри, не отдавай его никому, он ведь вырос с твоими ребятами».

– Владислав Святославович, идите к ней. Она ждёт Вас. Идите! Я знаю, как Вы – оба, выстрадали своё счастье. Идите, сейчас же.

И только он хотел что-то ей сказать, она закрыла его губы своей нежной и вместе с тем – твёрдой рукой, и сказала, глядя ему прямо в глаза:

– Господи! Я-то думала, что так любят только в книгах, да в кино. Как я ей завидую, что ей такая любовь встретилась.

Идите к ней. Иначе – Вы мне больше не друг.

Он, даже не попрощавшись с Лилией Николаевной, быстро вышел из кабинета, почти бегом устремился по ступенькам вниз, без фуражки, сел в свой служебный УАЗик и велел водителю ехать к горкому партии.

Возле рынка увидел девочку, в корзинке которой были туго связанные букетики васильков. Великое множество их. Он не любил таких букетов. Они были фальшивыми и совершенно не похожими на природное буйство этого цветка.

Поэтому, отдав деньги юной продавщице, взял из корзины несколько букетиков, попросил их развязать, и объединив их в синее море, поехал дальше, прижимая к лицу терпко пахнущие васильки.

На ступеньках здания стояло множество людей, видно, в горcome проходило какое-то совещание.

Он ответил на приветствия, с которыми эти люди, не зная, кто он такой, его встретили, и вошёл в здание горкома партии.

Сообразил, что коль Она, его Ерена, секретарь по идеологии, значит, и Её кабинет где-то рядом с кабинетом первого секретаря горкома.

Не спрашивая разрешения у растерянной секретарши, прошёл через приёмную и открыл дверь, на которой на аккуратной табличке, красного цвета, бронзовой краской было написано: «Секретарь горкома партии товарищ Каленикова И. Н.».

Прямо у двери, словно зная, что он появится именно сейчас, стояла Она.

Лицо было измученным, чёрные круги под глазами говорили о бессонной ночи, но глаза, Её глаза, сразу же загорелись дивным светом, и Она вся устремилась навстречу ему.

Он, от неожиданности, рассыпал букет васильков у её ног и, слава Богу, что успел подхватить её в свои крепкие объятия, так как она потеряла сознание и упала бы в обмороке.

Через несколько мгновений она пришла в себя, всем телом прижалась к нему и еле слышно сказала:

– Господи, как же я тебя ждала. Всю жизнь ждала и знала, я знала, что мы непременно встретимся. Иначе было бы страшно несправедливо.

И только в это мгновение он увидел у неё на столе, в строгой маленькой вазе, букет васильков.

Она перехватила его взгляд, уткнулась ему в грудь лицом и прошептала:

– С той далёкой встречи – я только васильки и ставлю на стол. И здесь, и дома.

И они, оба, не размыкая объятий, удивлённо смотрели на многих людей, которые встали из-за стола в её кабинете, где она проводила совещание.

Опомнившись, но не отпуская его от себя, она сказала:

– Товарищи! Это – он! Моё счастье и моя судьба. Мы так долго, целую вечность, шли навстречу друг другу. И целую вечность не виделись.

И люди, ничего не говоря им в ответ, со светлыми улыбками, тихонько стали выходить из её служебного кабинета.

А они так и стояли недвижимо, боясь пошевелиться и потревожить своё запоздалое счастье.

Единственное, что Она сделала, освободив из его объятий одну лишь руку, дотянулась и взяла со своего стола красиво переплетённую книгу и протянула ему.

Открыв, так же одной рукой, не выпуская из другой её дивное тело, которое доверчиво на неё опиралось, первую же страницу этой книги, он задохнулся от волнения и счастья – это были его стихи, которые в далёкие годы он написал и посвятил ей и передал через своего сослуживца, отправляясь в далёкий Афганистан.

Заголовком первого стихотворения были бессмертные и святые слова:

«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЁ»,

написанные его рукой в далёкое и невозвратное время.

«Слава Богу, – подумал он, – что именно этот девиз, эта высшая правда моей любви сбылась».

И он только крепче прижал её к себе.

*Алые паруса мечты, надежды,
веры, любви должны, хотя бы раз
в жизни, появиться на горизонте у каждого.
Без этого – не то, что жить,
но и существовать невозможно.*

И. Владиславлев

АССОЛЬ

Сохрани меня Господь, рассудок ещё не утратил, противопоставлять свои несовершенные заметки Великому Мастеру Александру Грину и предлагать на суд читателей какую-то новую версию его чудесной и светлой сказки – не дерзну и не собираюсь.

Нет, это неприкасаемо и трогать этого нельзя, ни при каких обстоятельствах. То, что явили мастера в своё время – должно таковым и остаться. А сегодня, к несчастью, все снимают и ставят «по мотивам».

Нет, господа хорошие, что видел автор и что гением своим высветил, давайте и постигать. Смотришь, может и приблизимся к совести и правде и не Ксению Собчак во всех рейтингах будем ставить впереди даже Гагарина, а задумаемся о том, для чего приходит человек в этот мир и какой след он должен в нём оставить.

А то мы уже и так запутались в повторах, бесстыдных и низкопробных: «Тихого Дона» – Сергеем Бондарчуком (грешен, каюсь, товарищи и коллеги знают, что и сам, не зная какой вселенский позор за этим стоит, писал письма и в адрес минкульта, и итальянцам, чтобы вернули на Тихий Дон – «Тихий Дон мэтра. Помню, отрезвление наступило лишь в тот миг, когда позвонил лично Скобцовой, и как она меня отчитала, попросила не лезть в эти их семейные и личные проблемы. Но я-то не знал, что они сулят «святому семейству» огромные деньги, как это впоследствии и выяснилось. Да простит меня почтенная актриса, но её мать Григория в этом фильме – самый страшный и чудовищно-нелепый образ. Ну, да это к слову), «12» Михалковым, пьес Захарова (именно так, так как к творчеству великих наших предшественников они никакого отношения не имеют) «по мотивам» Чехова – что становится просто стыдно и противно.

Ну, ладно, ослабели они рассудком, да и денег им немеряно платят за такое, с позволения сказать, «творчество», но мы-то почему ввергаем себя в добровольное сумасшествие и смотрим этот бред?

Не сними мэтр свой «тихий дон», пишу специально с маленькой буквы, и остался бы в нашей памяти автором великой «Войны и мира», «Судьбы человека», исполнителем пристойных ролей в иных фильмах. А так – стыд и бесчестье.

Но разве он один? Множество их, присосков, дитяток, внуков, которые не хотят сеять и пахать, зато вкусно едят и мягко спят – появилось в последнее время на наших просторах.

По-моему, только оборотистым Н. Михалкову, да «крестничку» Путина Фёдору Бондарчуку и открыт государственный карман для съёмок мерзости и всяческих иных низкопробных штучек. Уж так их «утомило солнце», что готовы клеветать на Отечество, их вскормившее, без всякого стыда и совести.

Да и то, хватает не только на свои бесталанные фильмы, но и на корабли, пароходы, жён, любовниц...

Вон, брательник Никиты Михалкова, не может даже упомянуть, сколько раз он был женат-разженат, стал даже новым латифундистом, более того – крепостником, только, правда, его крепостные на вилы поднимут, если он появится в своих «боляринских владениях» за нерадение к людям, презрительное к ним равнодушие, невыплаты зарплат.

Не царское это дело – пектись о смердах, Никита Сергеевич нас наемни просветил, что не Михалковы они, а бояре Михалковы. Знать, значит.

Поэтому – нет, сохрани меня Господь, «улучшать» Грина я совершенно не собираюсь.

Я ведь – совершенно о другом. О своём. Хотя таком далёком, что, казалось бы и забыть уже пора.

Или, по меньшей мере, не тревожить память тех далёких лет. Как знать, будут ли всем приятны и нужны мои воспоминания?

Находясь в Ялте, вечерами я долго бродил по набережной. И в этот день, устав и продрогнув, всё же осень, не июль на дворе, я решил подняться на борт легендарной «Испаньёлы» (или «Испаньолы», не знаю даже, как и написать), где молодой Василий Лановой так хорошо играл капитана, правда, с неживыми волосами, почему-то я это видел всегда, с детства, которого ждала на берегу странная девочка Ассоль, верящая в то, что появится её герой под алыми парусами и увезёт к новой жизни и новому счастью.

И молоденькая Вертинская в этой роли была просто ослепительна, чиста и прекрасна.

Но сегодня кораблик уже давно не на плаву. И, наверное, правильно поступили ушлые дельцы, что хоть для такого дела приспособили – под ресторан, а не уничтожили и не сожгли где-нибудь у причала.

И я, взойдя на крутую корму этого кораблика, сел у иллюминатора и попросил очаровательную молоденькую девушку-официантку, принести мне барабольку, с картошкой и бокал портвейна красного Ливадийского. По преданию, как я уже в этой книге не раз отмечал – именно это вино, находясь в Крыму, любил пить последний император России.

Дождаясь заказ я оглядывал зал. Людей было очень мало. И каждый норовил сесть за столик в одиночестве.

К слову, это очень серьёзный вопрос, что с нами случилось, что мы перестали желать даже общества друг друга. Никто нам не интересен, не хотим мы беседы на серьёзные проблемы, а уж о вечном и высоком – вообще говорить перестали.

У меня есть два наблюдения на этот счёт – попробуйте, умышленно, пройти за кем-нибудь минуту-две. Вас примут сразу за человека с дурными намерениями и постараются от Вас отделаться каким-то образом или даже сдать милиционеру.

И второе – мы совершенно перестали писать письма. И на мой взгляд, оскудение души у человека началось именно с этого.

Предаваясь этим мыслям, я встретился глазами с женщиной почти своего возраста.

Я знал уже с первой секунды, что это она – Оленька Бычкова, которая очень давно, почти сорок лет назад, и была той Ассолью, от которой у меня кружилась голова.

И которой я написал немало восторженных стихов и признаний.

Узнала меня и она. Я, как учтивый человек, поднялся из-за своего столика, поклонился ей, а затем и решительно подошёл к ней.

– Вы позволите?

Она с доброй улыбкой тут же парировала:

– А что, мы на «Вы» с тобой стали?

Секунду выждав и не дождавшись моей оценки своим словам, она продолжила, чуть грустя голосом и играясь со мной:

– Милый мой, ты же всегда, до самого последнего удара моего сердца, будешь только ты, ты, ты.

Сказано это было таким тоном, каким матери говорят с детьми, а ещё – любясь собой, своим великодушием и памятью.

– Или – уже нельзя? – и она скользнула торопливым взглядом по моей Звезде Героя на левой стороне строгого чёрного пиджака, почти у плеча.

– Оля, ну разве это важно? Конечно же – и ты всегда будешь для меня святой и доброй памятью о юности, о той светлой любви молодого офицера, лейтенанта, к необычайно красивой девочке, даже – ещё не девушке.

Она досадливо поморщила нос и сказала:

– Ты сразу выстраиваешь меня, чтобы я, не дай Бог, не заговорила о настоящем. Ты оставляешь возможность обсуждать только прошлое, да?

– Так всё же – я могу присесть возле тебя? – перебил я её своим вопросом.

Она чопорно, но с искрами смеха в милом, но уже забытом голосе ответила:

– Почту за честь! Господи, как же я счастлива, что встретила тебя. Теперь и умирать не страшно...

Я стал внимательно её разглядывать.

Она была ослепительно красивой. Мне кажется, что даже ещё красивее, нежели я знал её молоденькой десятиклассницей, которая и играла роль Ассоль в школьном театре.

И я её первый раз и увидел на сцене. именно в школе. В районном городке Ляховичи, что на Брестчине, в Белоруссии.

Хорошо помню, что я должен был там выступать с приветствием ко дню Советской Армии.

Лишь миг, секунды, я видел её в этой роли, но их хватило, чтобы уже не забыть это необыкновенное чудо никогда...

Тогда я ещё не знал, что жизнь всегда сильнее наших желаний и даже чувств. Или обстоятельств, в которых оказывается человек.

С этой секунды и зародилась эта красивая и чистая любовь, святая. За ней не стояло ни корысти, ни, сохрани Бог, какой-либо вольности, поспешного желания быстрее пробежать все фазы отношений между молодыми людьми.

Мы ведь даже за руки взялись только через месяцы нашего знакомства, а первый, невинный и святой для меня поцелуй, вообще случился через годы.

Я боюсь с позиций сегодняшнего дня и тех отношений, которые существуют между молодыми людьми, даже сказать, что же это было?

Любовь, обожествление, поклонение, преклонение, восхищение, любование?

Наверное, всё вместе. Нас, обоих, эта любовь возвышала и окрыляла, делала лучше и чище, благороднее и искреннее.

И я даже сегодня не могу объяснить, почему она так завершилась.

Нет, не умерла, не ушла из жизни, а истаяла, как мираж, оставив в сердце глубокий и чистый след.

И горечь, и жалость, которые, со временем, превратились в чувство щемящей грусти, но всегда, во все времена – желания добра, да искренние желания добра той, которая вызвала такие сильные чувства в моей душе в юные лета.

Я безмерно благодарен жизни, что мне было дано пережить такое светлое чувство. Оно, мне кажется, сделало меня чище и светлее в жизни и подготовило к тому великому чувству любви, которым жизнь меня вознаградила гораздо позже.

– Милый мой, и я ведь сейчас думаю об этом, – донёсся до меня голос Ольги.

– А ты разве знаешь, о чём я думаю сейчас?

– Знаю и чувствую. Ты думаешь, почему так завершилась наша любовь? Ведь она не умерла ни в твоей, ни в моей душе, мы ведь и до сей поры друг другу не безразличны, я просто боюсь сказать, видишь, лукавлю, что я и сейчас... люблю тебя.

И любила все эти годы.

– Мне думается, – это она уже смеясь своими лучистыми глазами, – мы были... слишком – невинными и идеальными.

А мир, вокруг нас, таким не был. Он, к сожалению, был гораздо более жестоким и именно этот мир и развевал наше чувство.

Знаешь, что мне сказал отец, когда узнал, что мы с тобой встречаемся?

Вечная ему память, но он просто растоптал мою любовь к тебе, такую светлую и чистую. А я была слишком слабой, чтобы этому противостоять.

Он сказал: «Ты брось мне встречаться с этим солдатом. Они все – хамы и примитивы. И я тебя растил не для того, чтобы ты каталась по гарнизонам с одним чемоданом. А ослушаешься – всего лишь. Не получишь ни копейки».

Мать была более лояльной, даже плакала со мной. Но тоже просила меня... хорошенько подумать, принимая решение.

Она надолго замолчала, а потом, собравшись с силами, продолжила:

– И я... слишком долго думала. Помнишь, когда ты узнал об отношении к тебе моих родителей и как ты мне предложил сразу же уйти из дома.

Знаешь, я даже слова твои помню, как ты мне при этом сказал: «Под венец зову, а не для позора. Решайся!».

А я не решилась. И ты годы, и годы ещё ждал, думая, что что-то изменится, а я, домашний ребёнок, истово и самозабвенно любя тебя, боялась презреть волю родителей и не смела их послушаться.

А впереди – когда ты, отчаявшись увлечь меня за собой, напросился в Афганистан – стало нестерпимо больно и страшно. И... даже обидно, что ты от меня всё же отступился.

И я, словно под гипнозом, была выдана замуж за того, кто нравился им, родила двух детей.

Но душа моя умерла. И уже не оживала никогда.

И только тогда, когда твоя мать меня известила, что ты тяжело ранен в Афганистане, а уже из газет узнала, что ты стал Героем, – и она показала глазами на Золотую Звезду, – мне стало понятно, что великое преступление совершила против нашей любви.

– Прости меня, – и она, неожиданно для меня, поцеловала мою руку.

Я похолодел, но руку не убрал, так как она, прижавшись к ней лицом, зашлась в рыданиях.

К нам подошла официантка – Ассоль, в красной юбке и красной косынке, повязанной как галстук на шее и спросила:

– Вашей даме не нужна помощь?

– Нет, деточка, – подняла Ольга мокрые, все в слезах, глаза:

– Нашему горю не поможешь, а случилось оно сорок лет назад.

Я просто убила любовь, свою любовь и любовь ко мне этого замечательного человека, самого лучшего из людей.

Девчушка-официантка в растерянности улыбнулась, а затем сказала:

– Господи, какие же Вы счастливые, если пережили такую любовь и через сорок лет об этом помните. Сегодня так уже не любят. Не научили нас...

Мы же, с Ольгой, больше к печальным страницам наших взаимоотношений не обращались.

И всё реже в нашем разговоре звучало:

– А помнишь?..

Я всё помню, милая Ольга. Всё помню и ничего не забыл. И не хочу забывать. И не скоро смирился с такой роковой и страшной для меня потерей.

И лишь через десять лет, будучи в Афганистане уже второй раз, нашёл свою судьбу и счастье, мать моих детей.

Когда я умирал, будучи тяжело раненым, она мне отдала свою кровь.

И я, только придя в себя, и попросил у неё руки и сердца. Тогда она была фельдшером батальона, гораздо моложе меня.

А в девяностом году она погибла в Баку, спасая от расправы старую армянку. Нож погромщика вошёл ей прямо в сердце...

Я проводил Ольгу к её санаторию и получил приглашение подняться к ней в номер.

И, как в юные лета, этого не сделал.

Назавтра она уехала из Ялты, даже не известив меня об этом.

Наверное, так было самым правильным. В одну реку дважды не входят. И я – даже вослед ей, для себя лишь сказал:

«Нет, Оля, ты ошибаешься. Я не могу тебе сказать сейчас, что люблю тебя, как и прежде. Я люблю память о тебе, но лишь в том времени, в котором мы были молодыми и юными.

Да, болел тобой долго, это правда, но затем – спасибо судьбе и жизни, я нашёл своё счастье и смысл жизни».

И я почувствовал, как она, будучи от меня далеко, вздрогнула и раздался её голос в моём сердце:

«И ты меня больше не любишь?»

«Нет, не люблю, но храню светлую и добрую память о той девочке, которая любила меня почти сорок лет назад. И я её любил.

А потом – на меня смотрят везде, куда бы я ни приехал, Её глаза – с портрета, который я сделал уже в наши дни и я его вывешиваю на стену везде – в гостинице, в любой армейской ночлежке.

И говорю с ней, молодой и красивой, в камуфляже, с сержантскими лычками на погонах и двумя орденами Красной Звезды на груди.

Второй из них, как ни смешно, ей дали за меня, за моё спасение на поле боя.

Как же, важный столичный начальник и она его спасла, за это полагался орден.

И я всегда, уходя и приходя в своё жилище, прикасаюсь к её портрету своей рукой и шепчу: «Спасибо ТЕБЕ. За всё. За то, что был счастлив, за то, что ТЫ меня любила. Без расчёта и выгод, не думая о моём генеральстве и о моей Золотой Звезде.

Просто любила. И шла на край света, не спрашивая, а сколько же лет будешь учиться в четырёх мединститутах, в которые переводилась...

И родила мне прекрасного сына и дочь, которых научила чтить отца и любить своё благословенное Отечество.

Мне очень плохо без ТЕБЯ.

Если бы ТЫ знала, как мне плохо без ТЕБЯ, но я не могу осквернить память о ТЕБЕ, и представить рядом с собой другую женщину, пусть даже она была любима в прошлом.

Другой, такой, как ТЫ, нет в целом мире.

Да я и не искал других. Всегда, узнав ТЕБЯ, был тебе верен и любил только ТЕБЯ, родная моя, счастье моё светлое и такое далёкое, недостижимое сегодня.

Не докричаться и не дозваться ТЕБЯ только. Слишком далека дорога, по которой ТЫ ушла навсегда, безвозвратно.

А я... всё жду ТЕБЯ и думаю о той встрече, которая у нас впереди

Увижу ТЕБЯ и с великим восторгом любящего сердца прокричу на всю Вселенную:

«Да, Святится Имя, Твоё!».

*Перед прошлым не надо
благоговеть и постоянно призывать
его в свидетели сегодняшнего дня.*

*А вот помнить о том, что жизнь
не делится на вчерашнюю и
сегодняшнюю, непременно следует.*

*Она – едина. Ни прервать,
ни вычеркнуть ничего из неё нельзя.*

И. Владиславлев

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Как страшно защемило сердце. Оно всегда у меня начинало болеть в те редкие теперь минуты, когда я приближался к этому месту.

Ровно три года назад, у этого берега, движимый необъяснимым чувством отчаяния и боли, не для облегчения, нет, а для того, чтобы слиться с НЕЮ во Вселенной, во всей Безбрежности, я и бросил в пенные волны моря своё заповедное, то, самое первое, объединяющее с НЕЙ обручальное кольцо.

Мне кажется, ОНА не осудит меня за этот поступок, ибо в той жизни мы ещё встретимся и мне, нет, не ЕЙ, а лишь мне – держать ответ пред НЕЮ за все мои преступления.

Не думаю, что их было много, но и отрицать их наличие – совести не хватает.

Но это когда будет? Только Господу ведомо, а так, мне кажется, и не прерывается моя связь с НЕЮ через водную стихию, которую ОНА так любила и в которой остались атомы ЕЁ тела.

Так было и сегодня. Стараясь унять боль в сердце, я зашёл в прибрежный ресторанчик и устроился за любимым столиком.

Коньяк остудил голову, она наполнилась лёгким теплом и боль уже не столь беспощадно сжимала измаявшееся сердце.

И услышав объявление, что предлагается морская прогулка на теплоходе, со звучным названием «Саманта Смит», я направился к кассе.

Знакомый берег, очертания едва видимых в дымке Ореанды, Ливадии, знаменитых в Советском Союзе домов отдыха и санаториев, дополнялись уродливыми новостройками – роскошными замками «новых украинцев» под красными крышами.

«Точно, как у нас на Рублёвке» – подумал я, – и смотреть на берег при этом мне сразу расхотелось.

Уйдя в свои мысли я даже закрыл глаза. Задремать мешал привычный и равнодушный голос экскурсовода, которая, наверное в тысячный раз, рассказывала о беседке Курчатова, о летней даче императрицы, последней, и об иных прелестях Южного берега Крыма, которых здесь в изобилии.

«Что же я в жизни так тебе задолжал, Господи? Где я сбился с той дороги, что Ты мне заповедал, что ты так жестоко меня наказал?

Ведь Ты не одну жизнь, при этом, самую лучшую и достойную, забрал к себе, Ты ведь и меня лишил самого смысла существования.

Я же так просил Тебя, Господи, заberi мою жизнь, даруй ЕЙ только благополучие и здоровье. И жертву эту я бы принёс без раздумий.

Она имела больше прав на жизнь, так как была СВЯТОЙ и БЕЗГРЕШНОЙ. Служила людям истово, без любого расчёта на их благодарность».

Но не услышал меня Господь. Так и истаяла ОНА, лучшая из людей, а с НЕЙ – и моя душа обуглилась и перестала чувствовать и боль, и счастье.

Не утешило меня и то, что священник заявил в беседе, что «... лучшие самому Господу нужны, вот он им и дарует царство вечное».

Боль одиночества становилась невыносимой. И я чувствовал, что просто схожу с ума, особенно – по долгим вечерам и бессонным ночам.

И странное дело, когда я бросил в море кольцо, мне стало как-то легче.

Может, время стало вершить свою тайную работу и страдания стали отступать, а может – действительно мы так и слились с НЕЙ в единой и любимой среде, и ОНА, из жизни вечной, имела возможность общаться со мной и даже утешать меня.

Под эти мои горестные размышления теплоход повернул на обратный путь.

И я пошёл на корму, где работал бар и, с наслаждением, выпил изрядный бокал коньяку.

На душе сразу потеплело. Голова приятно кружилась и от сердца отступила страшная боль.

И вот – снова набережная. Я не торопился. Да и куда мне было спешить, если я был один на всём белом свете?

Но когда я всё же поднялся, чтобы сойти с теплохода, случайно увидел, под столом, обычное обручальное кольцо маленького диаметра.

Я взял его в руку и в растерянности спустился по трапу.

«И что мне с ним делать? – подумал я, – отдать в кассы, пусть объявят по радио, может и найдётся беспечная хозяйка».

Выйдя на пристань я увидел очень красивую молодую женщину, которая плакала навзрыд и всё показывала молодому мужчине свою правую руку.

До меня донеслось её трагичное, чрез слёзы:

– Оно же только было у меня на пальце. Даже за столом. Где я его потеряла?

Я подошёл к ней. Мне почему-то не понравился её избранник, на лице у него, в минуту её горя, сочувствия не виделось, одно раздражение.

– Милая девушка, не эту вещицу Вы потеряли? – и я протянул ей на ладони только что найденное обручальное кольцо.

– Ой, это оно, оно, честное слово это моё кольцо! Поверьте мне!

И уже не обращая на меня никакого внимания, она торопливо взяла кольцо с моей ладони и, воздев его себе на безымянный палец правой руки, держа её пред собой на весу и счастливым взором разглядывая обрётённую дорогую находку, бегом увлекла за собой своего избранника. Вскоре они слились с толпой на набережной и растворились в ней.

Тихая грусть захватила моё сердце. И я, неспешно идя к гостинице, думал:

«И снова – кольцо. Что же за судьба такая в этом кусочке металла?

И почему его так боятся утратить люди, а матери – даже говорят дочерям на выданье: «Береги кольцо! Сохрани тебя Господь, потерять его. Тогда и жизни не будет. И судьбы».

Мозг не давал мне покоя и дальше:

«Да, обручальное кольцо, от корня – обруч, связь, крепь. Без обруча никогда не сладить бочку. Не удержать в ней ни воды, ни вина.

А на Украине так и говорят – обручка, так называют там кольцо.

Обряд обручения – тоже отсюда. Это присяга на верность. Клятва идти одной дорогой, навсегда, и самое главное – к одной цели...».

Эти мои сентенции прервало видение счастливого лица в толпе зевак.

Молодая женщина лучилась от счастья, изредка поднимала к своим глазам правую руку и увидев кольцо, красиво улыбалась сочными и яркими губами.

Иным было лицо и у её избранника. Он с восхищением смотрел на молодую женщину, правда, его взгляд только несколько портило выражение абсолютного собственника.

Что делать – наверное, мы все так смотрим на своих женщин, на своих избранниц, на всё то, что принадлежит нам, как мы думаем, по праву.

Так ли это на самом деле?

Один миг, один поворот судьбы – и ты нищ, сир и убог, когда из жизни уходит любовь, да не по прихоти – любил-разлюбил, а по самому страшному утратному закону, от которого не отмолиться и не выпросить у Господа милости и возврата былого счастья.

*Не каждый из нас имеет
счастливую возможность
поговорить за жизнь
с незнакомыми людьми,
которые в ходе беседы
становятся роднее
кровного родства.*

И. Владиславлев

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ В ВИННОМ ПОДВАЛЬЧИКЕ

Этот винный подвальчик всегда меня привлекал тем, что публика собиралась здесь особая – интеллигентные, необычайно приятные и красивые балаклавские рыбаки, которые всю жизнь прожили друг с другом рядом, считай, на одном причале.

Вместе праздновали дни рождения детей, вместе гуляли на их свадьбах, вместе же и провожали в последний путь тех, кто довершал свою борозду на ниве жизни и представал пред Господом, чтобы тот определил его судьбу в жизни вечной.

А что её было определять, если каждый здесь жил по совести, и не мог ни лукавить, ни поступить бесчестно, всю жизнь в честном труде и хлопотах.

Поэтому, по мнению рыбаков, их товарищи заслуживали лишь одного – светлых врат рая, где и встретятся, словно и не расставались, со своими многочисленными родственниками, предшественниками и друзьями.

И даже там, в жизни вечной, удивлялись остальные насельники владений Всевышнего, наблюдая за ними, балаклавскими тружениками – вот она праведность и честность, вот она жизнь – в благости и чести, в служении Господу.

Им ни в этой, ни в той жизни не надо ни лукавить, ни быть двуличными.

Они, зная друг о друге всё, часто состоя в близком родстве, всегда обращались друг к другу на «Вы», не повышая голоса и только громко вздыхали, если их товарищ не то, чтобы завирался, а как-то забывал, что событию, о котором он говорил, свидетелей было немало и оно немного было не таким уж и цветастым и значимым, величественным и красивым.

Да и происходило оно не с рассказчиком, а с его отцом, а то – и дедом.

Но это было неважно. Главное, чтобы история эта была интересной и слушалась теми, кто хотя и знал уже наизусть всё, что скажет рассказчик, но внимали своему другу так, словно её рассказывали впервые.

Вторым, большим отрядом этого подвальчика, были армяне.

Чёрные, как грачи, а те, кто постарше – с белыми волосами, большими же носами и всегда детскими наивными очами, они были предупредительными и вежливыми и главным было лишь одно правило в разговоре с ними – не усомниться, что все самые значимые учёные, врачи, писатели – были армянами.

А деревня Баршатлы, что в Нагорном Карабахе, дала державе самых выдающихся полководцев – трёх маршалов, которые и решили исход войны – Баграмяна, Бабаджаняна и флотоводца Исакова (Исакяна).

И только один посетитель здесь всех волновал, ко всем приставал и, как тот петух, вступал с ними в громкие споры, которые, правда, заканчивались неизменным примирением и высокими тостами.

Этим особым человеком был пожилой грузин, который и языка-то грузинского не знал, родился здесь, в Крыму, здесь же родились его отец и дед, но он себя иначе, как грузином не считал и, особенно непримиримо, спорил с армянами, утверждая, что его народ – самый заслуженный среди кавказских народов и доблестей высоких совершил намного больше, чем иные народы.

– А вы скажите, кто был главным героем Бородинского сражения, спасшего Россию от Наполеона?

И уже торжествуя, досаждал армянам до сердца:

– Что-то я не слышал об участии в войне с Наполеоном армян. Где вы были в ту пору? А о князе Петре Багратионе – знает всяк живущий.

Армяне деликатно не вступали в спор по этому, острому для них, вопросу.

И их попытки обратить в свою пользу вклад в Великую Победу над фашистами своих земляков – результатов не приносил.

– А что Ваши Баграмян, Бабаджанян и Исаков, я извиняюсь, они – чьи приказы выполняли?

И конца этим спорам не было. Но в них никогда не нарушалась мера, люди не переступали за тот порог, после которого начинались бы, как у других народов, оскорбления и оговоры.

Пришлось и мне несколько раз вступить в эти споры с репликами.

Особенно болезненно переносил грузин вопросы о сегодняшнем дне, о том умопомрачении, которое случилось у руководства страны и оно повело дело даже к прямому противоборству с Россией.

– Отец, а не народ ли Грузии виновен в том, что происходит сегодня?

Как же он мог избрать к руководству бесноватого Саакашвили?

Забыл и презрел – не кто иной, а именно народ – вековую дружбу с Россией.

Знаешь ли ты, что по Георгиевскому трактату, договору 1732 года, Грузия НАВЕЧНО бралась под защиту и сбережение именно русским народом, к тому же – единоверным?

И в это время ни Абхазия, ни Аджария, ни Южная Осетия не входили в состав Грузии, это были самостоятельные государства.

Грузин приходил в замешательство.

Ответов на эти вопросы он не знал, но и не хотел сдаваться.

И под аплодисменты армян, которых он давно просто достал, наконец находил что сказать:

– Да какой Саакашвили грузин? Не знаю такого грузина и не знаю, как он у власти оказался.

При этом он так картинно выстраивал неподдельное изумление на лице, что зал начинал одобрительно гудеть, забыв о минутной обиде и уже поддерживая его:

– Знаю твёрдо одно, что мой отец воевал за весь народ и вместе со всем народом – и с русскими, и казаками, и украинцами, и с армянами – сокрушил фашизм. Только наше вековое братство и позволило выстоять в таких испытаниях.

При этих его словах, все довольно заговорили:

– Молодец, правильно говорит...

На этом спор исчерпывался и начинались разговоры за жизнь: кто детей женил; какой урожай фруктов был в этом году; как ловится рыба?..

Таких тем было великое множество, и у всех посетителей этого погребка – было что сказать по каждому обсуждаемому вопросу, посоветовать молодёжи, которая тоже здесь присутствовала.

Я не чувствовал себя чужим на этих посиделках. Везде были родные лица, разговор вёлся исключительно на русском языке.

И у всех этих великих тружеников с мозолистыми руками, так же болели души за происходящие на Украине события.

– Как же это так, – недоумевали люди, – президент фашистское охвостье, предателей и изменников приравнял к героям-фронтовикам.

– О каком вступлении в НАТО может идти разговор? Когда нам угрожала Россия? Не она ли и спасала и спасла Украину в стародавние времена, при Хмельницком?

Тут же вскочил грузин и громко, на весь зал, заявил:

– Мы все здесь – русские и что, мы враждебны Украине? Да это же наша земля, мы здесь выросли, здесь могилы наших родителей. Мы ведь и веры единой, а нас кто-то делит, разрывает насильно наше вековое братство и союз наш...

После этих разговоров и выпитого бокала доброго вина, я выходил к морю и всё думал:

«Что же вы делаете, правители-властители с народом?

Ну, устраните из жизни людей всё, что им мешало. Но не трогайте того, что облегчало жизнь людей, что держало их вместе, не давая распасться вековым связям.

Как же жить на Украине моему старшему брату – русскому, женатому на грузинке? Где их Родина? Отечество их где?

К слову, самый сложный вопрос – все мы, от националистов Эстонии, Литвы, Латвии – лишились Отечества. И если государство, пусть несовершенное, хромое, но у каждого всё же имеется, то единого и великого Отечества не стало.

И сколько таких сирот осталось по миру?»

А мысль уже вела дальше и не давала покоя.

Глупость, несусветную, совершил Хрущёв, но будем честными, ему ведь в 1956 году и в дурном сне не снилось, что СССР распадётся, поэтому и «передарил» Крым Украине, который никогда Украина не боронила, не защищала, а всё же – Суворов с Кутузовым бились за вновь обретенные земли русские.

Да, русские, так как в Кюйчук-Кайнаджирском договоре, чёрным по белому было вписано, что Турция передаёт в вечное владение России, вслушайтесь – России, города Дербент и Баку с прилегающими землями, а также полуостров Крым.

Никакой Украине, да её и не было в ту пору, эта земля не передавалась.

Её гетманы, чуть раньше, как падалышки, вместе с поляками, всё терзали русскую землю своими набегами, а их последователи, в лице

Мазепы, даже удостоенного ордена Андрея Первозванного, воздетого на него лично Петром Великим, пошли уже в прямое услужение извечным врагам России, расчистив дорогу Шухевичам и Бандерам, Коновальцам, а ещё чуть раньше – Петлюрам и Винниченко, Скоропадским, от которых везде – только кровь, слёзы и пожарища, и смерть безвинных людей.

Это же мы только говорим, что фашисты в Бабьем Яру расстреливали и евреев, и украинцев, и пленных красноармейцев, и цыган.

Нет, мои дорогие, немцы в этом почти не повинны. Расстреливали как раз – недобитки мазеп и петлюр, новоявленные палачи из Украины.

И Крещатик славу свою вековую страшно уронил и испоганил тем, что хлеб-соль фашистам на нём подносили. И после этого – Киев город-герой?

Он и стал городом-героем в результате жульничества Хрущёва и его веры в то, что никто не будет противиться его воле.

Город, к сожалению, никаким героем не был, ибо по удельному весу фашистских прихвостней оставил далеко позади даже татарский Крым, Чечню и Ингушетию, Калмыкию. О которых мы стыдимся сегодня говорить правду.

Вот о насильственной депортации – сколько угодно, а о том, почему она случилась и как было поступить власти за массовое сотрудничество с фашистами – никто не говорит ни слова.

Поэтому – память вечная генералу Кирпоносу, его воинству, которое погибло с честью в 41-ом году, приближая нашу Великую Победу в 45-ом.

Но, не забудем, что более миллиона украинцев, вдумайтесь в эту цифру, служило фашистам в полиции, состояло в националистических боёвках.

И на их руках – столько праведной крови, что ни о каком прощении и речи быть не может.

И это – герои? Это борцы с «тоталитарным режимом», за суверенность Украины?

Да никто тогда и не думал о независимости Украины от России, а народ – и подавно.

Поэтому, всё же больше честных людей боролось с фашизмом, воевало на фронтах, нежели прислуживало захватчикам, холуйствовало при них на крови своего народа. Так давайте волю этого большинства и защищать от имени власти.

В здравом ли уме находятся те правители Украины, Грузии, которые говорят, что им ближе страны НАТО, нежели Россия?

Ведь среди масс народа, никаких противоречий между Россией и Украиной, Россией и Грузией не существует.

Мы вместе поднимали братский бокал за благополучие всех и счастье своих детей.

И вот, после сказанного, у меня главный вопрос, я его задавал и в подвальчике моим нечаянным собеседникам:

«Так что же за такая сила – народ, если ему в Конституции, как в России, так и на Украине, принадлежит вся полнота власти, но его, как за верёвочку, ведут против воли во вражье логово, человеконенавистническое, сеющее по всему миру кровь и разорение.

Мало Югославии, Ирака, Афганистана, так нате вам – ракетные удары по Пакистану, Сирии, в результате которых гибнут мирные люди, дети и женщины.

А народ, к несчастью, и на Украине, и в России – безмолвствует и не спросит со своих вождей: «А куда ведёте? И хотим ли мы туда, где вы утверждаете – рай на земле создан».

Для Чумаченко, да и наших матвиенок, нарусовых, безусловно, он создан, для тысяч других, живущих и преуспевающих за счёт ограбления масс народа, да по тому праву лишь, что ты являешься женой мера всех времён и народов, но народ-то, в многомиллионной массе своей – погибает.

Одна лишь цифра – молодёжи в последний год советской власти было 27 млн, а через несколько лишь лет – не стало из этого огромного отряда 13!!! млн.

Данные вполне официальные, да и сколько об этом Гуров, Яковлев говорили, уж они-то знают в этой области гораздо больше, нежели мы с вами, дорогие друзья.

Поэтому и служит истово СВОЕЙ родине, которая за океаном, супружница президента Украины, (слава тебе, Господи, слава, Создатель, что в результате народного волеизъявления этот отступник от веры и истории нашей общей был низвергнут с престола за грехи великие и тяжкие, сотворённые им вольно, по умыслу и злокозненной воле) Клэр Чумаченко, которая, вдруг, стала Катериной Ющенко. И она, штатный сотрудник разведывательных органов США, а не бесталанный супруг её, реально «фулила» Украиной. Только вот куда «зарулила»? И как долго выбираться будем из этого состояния, утратив братскую поддержку и веру друга?

А из Храма, что виден прямо из окна гостиницы, видать, Великдень какой-то настал, раздался торжественный звон колоколов.

Пока ещё – Русской Православной Церкви. А завтра – какой и чьей она станет?

Сказал же патриарх Ридигер, что никоим образом не примет под свою руку ни Абхазию, ни Южную Осетию, заботясь о единстве и нерушимости грузинской автокефальной церкви.

И что ему – кровь и смерть сотен невинных, единоверных людей?

Свой-то стул важнее и чтобы он стоял прочно, по крайней мере весь его век, и оторнул он сырых и убогих, не взял под защиту и не печалует за них.

А государи русские – не боялись брать на себя ответственность за судьбу новообращённых народов. И поддерживали их. И бились за братушек; зачем-то Суворова в итальянский поход посылал император; а Корфу Ушаков республикой объявил...

Да мало ли чего ещё было?

Это же только тогда боялись властители бесчестия и делали всё для того, чтобы потомки не стыдились за деяния отцов, а сегодня – в чести иные ценности и имя им предательство, измена, отступничество от братства и вековой общности, от истории и славы предков.

И нет на таких правителей Тараса Бульбы или Георгия Саакадзе, Богдана Хмельницкого или царя Давида, которые никогда не забывали о Величии и Славе родной земли и потомкам своим, знать, верили в них – заповедали беречь единство народа, его совесть и достоинство. И высокую честь.

Жаль только, что вспоминаем об этом только в дни праздников, да визитов вождей.

А в повседневной жизни – унизили и обесценили эти святые понятия.

А тут и весть подоспела – памятник Екатерине II в Севастополе, Её волей взлелеянном и защищённом, зачалили «щирі украинские хлопці» тросом, да и хотели сдёрнуть с постамента.

Неужели никто этого не видел? И нельзя найти виновных?

Вопрос очень интересный, вот и я хочу задать его власти крымской.

Неужели – так обезверились и так пали низко, что стали грудь своей кормилице кусать? Лишь оттого, что зубы прорезались, как говорил великий А. С. Пушкин?

Правда, нам не привыкать, давно начали войну с памятниками. И Россия пример тому показала – под улюлюкание «демшизы», во главе с Новодворской, да бывшим партийным глашатаем, в журнале «Коммунист» вскормленным Гайдаром, начали сдёргивать с постаментов Дзержинского и думали, что жить станем лучше?

Полагаю, что этим они никогда не были обеспокоены. Свой бы интерес соблюсти. А народ – да Бог с ним, народом этим. Не созрел он для жизни в «демократическом режиме».

А поэтому – его и не жалко, как говорил Чубайс, и исходит он безверием и слабее.

Силу преобразователя и воина имеет народ беспредельно верящий в своё Отечество, в совесть и правду, а где ж вы найдёте таких сегодня?

*В высокой искренности
человек наиболее прекрасен.
А искренним можно быть
не рассчитывая ни на какую
выгоду и пользу.*
И. Владиславлев

ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР

Рынок бурлил. Мне всегда очень нравилось здесь бывать.

Честнее и благороднее людей я не видел. Они не норовили тебя, как у нас в России, обмануть. Нет, тебе вручался полиэтиленовый пакет – и выбирай сам всё, что душа пожелает, всё, что лежит на прилавке или в ящиках.

Продавщицы – степенные, очень ухоженные, красивые, вели при этом неспешный и нескончаемый разговор.

И я стал невольным свидетелем его.

Яркая, золотоволосая торговка фруктами, а из-под полы – продающая и коньяк, и не самопал мерзкий, а достойный напиток, не хуже магазинного, только наполовину дешевле того, встретила меня улыбкой, да не дежурной, как постоянного покупателя, а той, что сразу выявляет истинное чувство к тебе, и, притворно вздыхая, с недоумением посматривала на мою Золотую Звезду Героя – день был прохладный и я был в пиджаке.

– Это – Вы? – обожгла она чёрными глазами меня всего.

– Я, я, милая хозяйюшка, – уже смеясь, не отводя своего взгляда от её лица, ответил я.

Ох, зря я так был беспечен, уже через минуту почувствовал, что и голова закружилась.

Красавица – вожаденно и просто смотрела на меня и тут же призналась, как я ей понравился, с первого раза.

– Оставайтесь в Крыму, мы с Вами такой парой будем, что все завидовать будут.

Я – совершенно смутился и, чтобы скрыть это, обратился, чуть развязнее, чем обычно, с просьбой:

– Хозяйюшка! А теперь – с гранатом, грамм... сто пятьдесят, Вашего чудодейственного напитка.

Она – красивыми, смуглыми руками разломала гранат, где пламенели рубиновые ягоды, как-то ловко их вылущила на тарелку и налила мне полный стакан коньяку.

Видя мой недоумённый взгляд, тихо, заговорщицки, произнесла:

– А пятьдесят грамм – от меня. Вам не повредит. Это – не коньяк, а божья роса. Поверьте мне.

Не знаю, чем я руководствовался, но в этот раз её попросил:

– Пригубите, капельку, а я, с того места, где касались Ваши губы – допью. Так все Ваши мысли прочитаю.

Она, уже без шутки, серьёзно, произнесла:

– Ох, генерал, встревожил ты меня. И мысли мои все о тебе, все эти дни.

Отчего ты мне не встретился раньше? Не ушёл бы к другой, а сейчас – старая уже стала, – не без кокетства, произнесла она.

И тут же, молча, отпила изрядный глоток коньяку, не говоря мне ни слова, долила стакан доверху и протянула его мне опять.

Я с наслаждением, в один присест, выпил стакан коньяку, закусил этот божественный напиток зрелым гранатом, протянул деньги, чтобы расплатиться с хозяйкой, но она отвела мою руку и сказала:

– Не надо сегодня денег. Прошу Вас. Пусть и у меня праздник будет.

Я, с чувством, прильнул к её руке, а она её и не убирала, только положила свою левую кисть мне на голову и поглаживала мои седые уже совсем, но ещё богатые волосы.

– Спасибо тебе, – просто, как мать сыну, сказала она, – а то я думала, что и не живая уже.

– Дай и я тебя поцелую, генерал. Ни разу не целовалась с генералом-то.

– А откуда Вы знаете, что я – генерал?

– Я всё о тебе знаю, дорогой мой. Это ведь ты меня не признал, а я – как увидела, сразу тебя узнала. Ты был молодым, когда мы у твоей сестры встретились, в Симферополе. Помнишь?

Я густо покраснел, думал, что уже давно утратил эту способность, а тут – стало нестерпимо жарко и... стыдно.

Я действительно теперь вспомнил тот свой приезд в Крым и вспомнил эту яркую женщину, которая, в тот вечер неотрывно смотрела на меня, так и не сказав ни единого слова.

– Так позволишь тебя поцеловать, генерал? – донеслось до меня и я сразу почувствовал тепло необычайно ароматных и таких свежих губ в уголку, правом, своих сомкнутых губ и только хотел ответить на этот невинный поцелуй, как она, еле слышно, прошептала:

– Не надо, тяжело мне и так будет тебя забывать. Судьба, дети...

Я ещё раз прикоснулся к её руке, уже под возгласы её подруг и быстро пошёл на так любимую мной набережную.

Настроение было прекрасным, только отчего-то стучало в висках и сердце ныло тупой болью. Слегка туманилась голова, но всё тело было лёгким, грех и сказать-то в мои уже годы – просто юношеским.

Я сел на излюбленную скамейку, под живым зонтиком – беседка вся была оплетена какими-то замысловатыми растениями, и принялся читать местные и центральные газеты.

О произошедшем на рынке я старался не думать. Да и к чему? Зачем тревожить душу доброго человека? И свою?

Через несколько минут, не прислушиваясь даже, я стал внимать разговору двух женщин за моей спиной.

Одна, с явным украинским акцентом, торопливо выстреливала:

– И шо, кума, мы будем робыть, если русских выдворят отсюда?

Вы же посмотрите, я за лето заработала сто двадцать тысяч гривен. Этим и живём затем, год. И детям надо послать, и в дом что-то надо.

И всё ведь только со своего труда, с рынка. Яков мой скоро уже упадёт. Сколько сил тратит и на виноградник, и на сад, и на бахчу. А откуда всё это взять?

И шо, кума, наши покупают это? Да ни в жисть! Покупают русские. У них деньги лёгкие. На отдых приезжают и, как наши, за гроши не торгуются.

С горечью в голосе, продолжила:

– А останемся сами – кому мы будем нужны? Санатории многие не работают, дома отдыха – позакрывали.

Нет, кума, только от русских и спасение.

Я уже не хотел упускать ни слова из разговора этих милых женщин, поэтому отложил в сторону газету и весь сосредоточился на этой беседе:

– Позавчера, знаете, подошёл ко мне немец, чую по разговору. Вот падлюка, так падлюка. Он же за копейку удавиться был готов.

Всё сам на весы укладывал, на каком-то счётчике всё подсчитывал, и Вы знаете, кума, так ровно всё, копейка в копейку, и вручил мне за мой виноград. А Вы знаете, что во всём Крыму лучше моего винограда нету. Не сыскать такого.

И в конце, не знаю я их мовы, к своей рохле, килограммов под сто, – обращается и так нехорошо на меня поглядывая, говорит:

«Швайне, руссише швайне...»

– И когда я спросила соседку, что бы это значило, как кипятком меня ошпарило, когда она сказала, что он – меня русской свиньёй назвал.

Даже голос её задрожал, от обиды, громко когда повторила ещё раз:

– Это я, значит, русская свинья.

А вчера – вновь припёрся. И я, кума, руки в боки, да и говорю ему: «А ты, немецкая свинья, больше ко мне не ходи. Нету для тебя товару. Вон, отсюда, фашист проклятый!»

Всё понял, кума. Вмиг усакал, да так, что его рохля еле за ним поспевала.

Её собеседница, которая до сих пор всё молчала, наконец, подала голос и на хорошем русском языке ответила:

– Вы правы, Анастасия. Я всё это вижу через детей. Знаете ведь, что уже тридцать лет учительствую.

И вот, уже в это время, появилась новая порода барчуков, которых и в школу привозят на таких машинах, что я и не видела. И забирают со школы в сопровождении охранников.

Где же это было видано такое? И мои детишки, из обычных семей, стервенеют просто и сжимают свои кулачки, глядя на этих новоявленных господ.

А вчера, сохрани Господь не видеть бы этого, один такой богатенький, не стыдясь, протягивает сто гривен хорошему светлому мальчику, чтобы тот его портфель в класс занёс.

Святое дитя, не польстился. Не взял. Запламенел алой краской и только глухо произнёс: «Не всё покупается, пан Ярошук. А следующий раз – получишь по морде».

– И Вы знаете, кума, что тут началось? Меня к директору гимназии вызвали, а там – битюг, отец этого мерзавца, потрясая у моего лица пальцами с перстнями, орал: «Закончилось вам москальское время. Ещё немного – и мы везде сверху будем. И ты мне сапоги лизать будешь, а не русский язык и литературу преподавать. Выучи ридну мову, москальская подстилка, а то мы запретим ведь вообще к нашим детям подходить даже, а не то, что преподавать. С голоду ведь подохнешь».

– Ой, кума, лышенько нам, яки времена грядуть, – ответила ей торговка.

– Да, кума, на своей земле, политой кровью и потом нашим, отцов наших – а мы уже не хозяева, – ответила ей учительница.

– И директор, как слизняк себя повёл, всё принуждал меня извиниться, не знаю только, за что. Поднялась я и ушла, к Вам, не знаю даже, чем ещё завершится эта история.

Торговка, после минутной паузы, не зная, чем утешить свою родственницу, вдруг громко, звонко и как-то весело перескочила на тему, которой я никак не ожидал здесь услышать:

– Знаете, кума, уже раза три–четыре, на той неделе, фрукты у меня покупал русский. Видный, статный, седой только весь. А тут пропал и я думала, что он уехал, по завершению отпуска.

А сегодня вижу – батюшки мои, его одного и он руки целует Любе Гуценко, помните, всегда рядом со мной торгует, красивая такая. И на пиджаке его – звезда та, геройская. Уже и забыли, что такая была. Уж не знаю, за что Любке такая честь, но дурного не скажу, хороший человек, только почему-то сегодня один был.

А так – всегда рядом с ним – жена, небольшенькая, ладненькая. Видать, душа в душу живут, глаз с него не сводит и его руки, из своей, не выпускает.

Рыженькая такая, крашенная в вишню. Тоже в летах уже. Вот где душа моя отдыхает, кума.

Тяжело вздохнула и продолжила:

– И ничего необычного вроде, а души родные. Понравился ему коньяк мой, а Вы знаете, кума, мне аж на душе светлее, как побудут они у меня.словно с родней встречусь. Если, Любка, змея, не отобьёт такого клиента. Вишь, мне руки не целовал, а ей, вражине.

И тут же, противореча себе самой, опровергла предыдущее утверждение:

– Не, кума, это я просто так, от ревности к Любке, Так она баба хорошая, только счастья Бог не даёт. И красивая, и добрая, а судьбы нет и нет. Так и промучилась всю жизнь со своим. Уже десять лет одна. На ночь желающих много, а вот на жизнь – не встретит. А уж красавица, я Вам скажу, первая, во всей Ялте.

И тут же продолжила:

– Я уж ему, кума, всегда норовила долить свои пятьдесят грамм в стакан. Обходимый человек. Никогда не ушёл, чтобы десять гривен, сверху не положить.

И всё к ней, жене своей: «Галочка, не кори меня, но такого коньяку я не пивал никогда в жизни».

– И она, голубка ясная, пригубит, самую капельку из его рук, да и скажет: «Да, коньяк чудесный».

– Так вот и скажите, кума, что за жизнь начнётся, когда не будет этих людей? Жить-то с чего будем?

– Но даже не это главное, – перебила её собеседница, – с уходом, исходом России из Крыма, чувствую, начнутся лихие времена.

Видите, как разыгрывается Киевом татарская карта? Как татары голову поднимают – наша, де, земля, всё здесь – наше, а вы, пришлые, убирайтесь в свою Россию.

Её нетерпеливая собеседница, громко и певуче, продолжила:

– И не говорите, кума. Не дай Бог, как до резни дойдёт. А до неё, с такой властью, дойдёт. Вы же видите, что в Белогорске происходит, Бахчисарае. Наши – и на рынок туда ездить перестали. Страшно.

Я, как смотрю ту Чечню, то всё думаю, чтобы и у нас такую Чечню не учинили. Моя там одноклассница жила, вышла замуж в Грозном, за чеченца, трое деток было, а где сейчас – и родители не знают.

Так и у нас может быть. Сохрани нас Господь и заступи.

Знаю одно, кума, покуда жива Россия – и мы побудем. А там – не знаю, кума, куда и деваться... Кому мы нужны в этом мире?

И, когда их разговор перешёл на чисто бытовые темы, я тихонечко поднялся и, стараясь быть незамеченным, ушёл от этих искренних и светлых людей.

Шёл по дороге и всё шептал, не будучи уж таким истово верующим:

«Господи! Сохрани, люди Твоя! Не допусти неправды великой! Не дай пролиться крови православной и праведной.

Единый ведь народ, светлый и добрый, и только по милости властителей ввергается в пучину злобы, прерывания родственных связей, даже Веры единой, и связующих нас нитей.

А там – и до крови совсем близко. И не надо её желать. Она, мне кажется, и так прольётся. Прольётся, по вине безответственных политиков, которые в самом слове «Россия» - видят врага, недруга, которые только для того, чтобы оправдать своё существование перед подлинными их хозяевами, все свои силы направляют не на устройство судьбы своего народа, который они завели в дебри непонимания и подозрительности, и, будучи не способными к созидательной деятельности – всё сильнее раздувают огонь взаимной вражды, необоснованных претензий и упреков.

Сохрани, Господи, Россию, в величии и славе, ибо ослабнет она – и тогда уже не сдержать дурных сил, некому будет.

Не позволь пролиться праведной крови».

А на заборе, по дороге к гостинице, где я проживал, красовалась огромная вывеска: «Историческая драма. МАЗЕПА. Правда истории».

И подумалось мне, какую правду уготовили, своим очумелым гражданам, ярые националисты. Откуда они и взялись в Крыму?

Тут уж, уверен, Пётр I предстанет исчадием ада, а Мазепа – святым, пред лицом изверга и каина, станет искать новых господ и покровителей, спасая Украину от мерзких москалей.

Правда, не скажут авторы, убеждён, о том, что перед этим получил этот гетман из рук Государя Руси Великой орден Андрея Первозванного за номером два «За великие заслуги в деле укрепления государства Российского».

Слава Господу, велик он и вездесущ – задохнулся изменник, от сердечного недуга на чужбине, буквально через несколько месяцев после своего святотатства великого и не осталось от него даже и следа в истории. А если он и есть, то только в воспалённом сознании «Виктора Окаянного», как мне назвала правящего демиурга сегодняшней Украины, старая казачка из Запорожья.

Именно по его воле новая власть на Украине вернула Мазепу народу на своих деньгах, а то бы и не знали люди, что такой и был в их истории.

Может – и новоявленных отступников ждёт такая же участь?

Дай-то Бог!

Р. S. Спасибо тебе, Господи, что внял нашим всем и моим просьбам, и не позволил царствовать «Виктору Окаянному» дальше. Народ Украины на выборах 7 февраля 2010 года, не только отказал в доверии В. Ющенко, а с позором изгнал его с державного престола.

Может, вразумятся наши и украинские властители, да и почнём встречное движение, навстречу друг другу. А там – и обнимемся в братском единении, на котором и настаивал Великий сын украинской земли Б. Хмельницкий, понимая, что спасение Украины – в вечном союзе с Россией.

А сегодня и Россия, не в меньшей мере, нуждается в этом союзе и братской поддержке.

Уходит ресурс, содеянный Великим Единым Отечеством, слабнут силы и возможности уже совершенно не те, что были в пору братства.

Россия, Украина и Белоруссия – воссоединяйтесь!

*Самое искреннее впечатление -
всегда то, что явилось сразу,
без мучительных переживаний и анализа.
Явилось оно и озарило тебя
своим светом и своей истиной,
которая и является той повседневностью,
светлой и содержательной,
без которой невозможно жить.*

И. Владиславлев

КРЫМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ (ПУТЕВЫЕ ЗАРИСОВКИ)

ДОРОГИ КРЫМА

Нигде я не видел столь торжественных и красивых дорог, нежели в Крыму.

Поражают при этом два обстоятельства: труд, который затратили наши предшественники, чтобы пробить эти дороги – от Ялты до Севастополя; от Ялты до Евпатории, с Симферополя до Алушты и Ялты; а второе – сам Господь сотворил неземную красоту вдоль дорог и когда едешь в Севастополь – не перестаёшь любоваться террасами, на которых высажены, и прижились, вопреки всему, сосны Дьяченко, барбарис, кизил, клёны...

Как же они полыхают осенью – такая щемящая грусть сдавливает сердце, словно ты прощаешься с тем, что уже никогда не вернётся в твою жизнь и с тем, что стало таким дорогим при этом.

Вдоль дорог, на той стороне, что к морю – сотни ресторанчиков, кафе...

И все они такие милые, ухоженные, что одно удовольствие посидеть там, снять усталость добрым глотком крымского вина.

Ухоженность этих ресторанчиков объясняется очень просто – за работу каждый держится. Она здесь – возможность не просто

существовать, а жить достойно, прилично, по сравнению с большинством населения благословенного Крыма.

Уже то, что человек может пообедать на работе – значит очень много. Да и с собой что-то прихватить и 5–10 гривен «чаевых» получить от клиента – прибавка очень существенная к мизерным окладам.

И когда едешь по этим дивным дорогам лишь одно сжимает сердце – это сады.

Когда-то, я это хорошо помню, они были ухоженными и просто буйствовали. Сегодня же – очень многие запущены, а с самозаселением татар, самозахватом земель, многие сады и защитные полосы оказались выжженными, дров-то в Крыму нет, поэтому татары, таким образом, добывают себе топливо на зиму.

И совсем иное – дороги в степной зоне Крыма. Они сильно разбиты, скудная растительность не даёт отдохнуть глазу. Выживают здесь, на безводье, лишь акации. А это зрелище довольно унылое, резко диссонирующее с дорогами Южного берега Крыма.

Узенькие, латанные-перелатанные, без обочин – эти дороги с советских времён не ремонтировались и не обновлялись.

И всё же, проезжая по ним, вспомнилась байка, рассказанная мужем моей младшей сестры: «Жизнь человеку даётся лишь один раз и прожить её надо в Крыму».

А мне, проезжая в направлении Керчи, всё время лезет в голову одно – 1942 год, крах Крымского фронта и всё лишь потому, что фронтом командовал безумец, а «оком государевым» у него, а вернее – над ним, был Мехлис, который, будучи невеждой в военном деле, лишь карал людей, не будучи способным им чем-нибудь помочь.

Что творилось на этих дорогах в ту пору? Они все были в крови.

Может, поэтому и зацветают весной буйные маки кровавой пеленой до горизонта.

Это пролитая кровь отцов наших вызывает к нам: «НЕ допустите повторения! Мы ведь и гибли за то, чтобы в этом раю, на крымской земле, вам жилось счастливо».

Да, видать, забыты эти заветы и сегодня уже по крымским дорогам грохочут гусеницы американских танков, а священную землю попирают колёса их автомобилей. Правители играют в какие-то антитеррористические учения и высаживают американские силы быстрого реагирования то в Феодосии, то в Севастополе, несмотря на протесты народа...

Запомнилось в связи с этим и то, с какой гордостью принимала медаль Флоренс Найтигаль русская дива – министр здравоохранения ельцинского лихого времени Дмитриева.

И невдомёк ей, что медсестра Флоренс была в составе английского экспедиционного корпуса при первой обороне Севастополя, лучше всех описанной Л. Толстым в его «Севастопольских рассказах».

Времена изменились и нравы, нравы рухнули давно – и сегодня русский министр гордится медалью, носящей имя захватчика, посягавшего на русскую землю в недалёком прошлом.

НЕДОСТРОЙ

На фоне всё разрастающихся огромных поселений, сияющих красными крышами особняков «новых украинцев», которые заполонили весь Южный берег Крыма, взгорки и поляны окрестных лесов, все пристойные уголки у моря, даже Никитский Ботанический сад, Массандру – словно подлинники покойники встают недостроенные здания.

Заложенные с большим размахом в пору существования единой Великой державы – СССР, они сегодня так не гармонируют с окружающим миром, дивной природой Крыма.

Ржавая арматура выступает из балок, плит перекрытия, полов, сгнившие деревянные подпорки, словно забытые на посту солдаты, в давно истлевших мундирах, достают свои последние часы, пока их не сожгут бомжи и пацаны на прибрежных кострищах в холодные ночи начальной осени.

Таких объектов множество, но более всего меня поразил недостроенный дом актёра.

Понятно, что такая громада строилась под СССР, где братии артистической было во много раз больше, нежели на Украине, а теперь так и стоит этот бетонный парусник, открытый всем ветрам.

А место – красивейшее. Удивляюсь, как это не купили богатенькие до сей поры и не построили очередное злачное место.

И есть недострой иной, иного рода – на глазах, день за днём, прибавляет часовня на набережной, в честь того, что «изуверы-большевики уничтожили десятки тысяч офицеров, юнкеров и священнослужителей в Крыму».

Множество иных, спешно достраиваемых объектов, которые всё укоряют нас, что и жили не так, и не к тем целям стремились, и что народ мы не единый, и Крым – исконно украинский, и что Россия – только и норовила, то голодомор какой-то устроить, прочие непристойности создавать для украинского народа...

Господи, как же вам не стыдно, святые отцы, как не боитесь Бога?

А что – белые гладили по головке?

Озверели две стороны – до такой степени, что брат шёл на брата, отец – на сына, а друг – на друга.

И когда мы уже на гражданскую войну будем смотреть не одними глазами Михалкова, а честными глазами беспристрастного историка?

Недостроен скоро станет и то, что построено 40–50 лет назад Советским Союзом. Всё уже начинает рушиться, приходить в негодность, а мер, упредительных, никаких нет.

Контрасты в этой области поражают – в ста метрах от «Бристоля» – фешенебельной гостиницы и ресторана, сараюха завалившийся, разбомбленный и грязный, так не гармонирующий с красотой.

А место – очень хорошее и почему его не прибрали к рукам – не знаю.

Ни одного километра дороги, ни одного моста, ни галереи, ничего, кроме доходной и уродливой стекляшки на набережной, не построено новой властью.

А всё, что строится – частные владения, гостиницы, рестораны, приносящие живые деньги новым хозяевам Крыма.

Страсти рассказывают о строительстве жилья для простого народа. Не учитывается ни сейсмоопасность, ни просто здравый рассудок, сдаётся лишь коробка и всё. Да и та почти из песка.

За что ты её будешь до ума доводить – это никого не интересует.

И тут же – дворцы, мама моя родная! Не верится даже, что человеку это необходимо, что ему столько надо.

В этой связи ещё две заметки: дворец Юсупова и музей Пушкина стали уже частной собственностью. Выше этого – распутство ещё не поднималось.

Всенародное достояние перешло в руки загребущие и захотят ли они нас пустить – просто посмотреть музей и дворец – зависит от их воли и каприза.

А дальше – больше: ретивые депутаты Рады предлагают продать тридцать из шестидесяти санаториев, так как на их содержание нет средств. Вот вам и всенародная здравница.

Ничего не учтено, никакой ревизии, контроля – поэтому, кто что хочет, то и творит. По полномочиям и возможностям – если близко к власти притулился, то больше достанется, как Медведчуку, который и Масандру застраивает очередным новым замком для новой молодой жены и отпрыска ею рождённого.

А Крым всё больше и больше зарастает грязью. По крайней мере – на городском пляже находиться уже нельзя, в Ялте. Смрад, вонь такая, что хочется бежать отсюда.

А есть деньги – всё можно купить. Всё, хоть пол-Крыма. И всё будет законно.

В связи с недостроен – не могу не сказать двух слов об Александровском парке.

Если Никитский – ещё худо-бедно держится, то Александровский представляет зрелище более, нежели грустное.

* Всё запаскужено, всё, что в былые лета было ухоженным, красивым – пришло в крайнюю степень запустения.

Везде кучи мусора, следы пьянок-гулянок...

Грустно и больно, сколько же труда положено на то, чтобы эту красоту вырастить, дать ей жизнь.

Зато шумит ресторан героя Украины Софии Михайловны Ротару, (не с одной же «Червоной рути» ей кормиться), куда заходить с нашими деньгами – просто нельзя. Не про нашу честь построен... Для шляхетного паньства новой Украины, да зарубежных гостей...

А мы – русские, из России, какое же это зарубежье? Это даже не Западная Украина...

КУКУРУЗА

Как же остро повеяло знакомым запахом. И я даже ещё не поняв, что так встревожило меня, ускорил шаги в направлении этого, до боли знакомого, запаха.

Кукуруза! Да, варёные початки кукурузы, прямо кружили мне голову. Я уже тысячу лет не чувствовал ничего подобного.

И ассоциации, вызванные этим запахом, имели для меня, я это точно знал, как радостный, так и трагический смысл.

Последний меня и тревожил всегда так, с тех памятных дней Афганистана.

На краю кукурузного поля в Джелалабаде, маленького, в несколько квадратных метров, меня и настигла автоматная очередь, которая крест-накрест пересекала моё тело.

Не знаю, как выжил. Кто выходил. Но был на краю бездны, из которой выбирался более полугода.

С той поры – меня болезненно тревожит сухой шелест кукурузных листьев и я, зная даже, что нахожусь у матушки, в родном Крыму, не любил этот шелест и с радостью вырезал все стебли – мать велела, которые она, затем, размолота на специальном барабане и скормила свинье.

Но сегодня эти воспоминания лишь мелькнули в моём сознании, да и погасли.

А вспомнилось босоное детство и то, как бабушка, в выходной день, варила нам, пятерым внукам, целый чугунок золотых початков; в плошке ставила на стол конопляное масло и соль; да наливала по большой кружке холодного молока. И больше ничего для полного счастья не надо было.

Это был настоящий пир.

Кукуруза – горячая, сочная, быстро поддавалась молодым зубам, а молоко так с ней сочеталось, что очень скоро наступала блаженная и желанная сытость.

Оставшиеся початки в чугушке, которые мы не съедали за столом, бабушка ставила с краю прогретой печи, так как знала, что уже через минуту – мы вбежим в хату и будем вновь просить по варёному, с солью, початку.

Как она умудрялась, не знаю, наверное, считала, но всегда, каждый раз, початков было всем поровну.

И вот я, услышав этот запах на набережной в Ялте, заспешил на него, будто воротился в детство.

Подойдя ближе – увидел красивую, но уже давно отцветшую женщину, очень аккуратную, вежливую, с прекрасной и чистой русской речью и милым голосом:

– Кукурузу хотите? Вспомнилось детство? – и она посмотрела мне в глаза уже не голубыми, а выцветшими, красивыми в былом, очами.

– Да, если можно, парочку, с солью.

Она, не касаясь початков руками, была в специальных полиэтиленовых перчатках, вручила мне два початка в мешочке и два крохотных пакетика соли:

– Ешьте, на здоровье. Только не покупайте, если захотите ещё кукурузы, у цыган. Она кормовая, с полей воруют, а поэтому – очень невкусная, да к тому же – и не безопасно это, химии много.

– А эта – со своего поля. Сама растила. Храни Вас Господь, – густо покраснев, проговорила она, когда я отказался от сдачи. Там её-то и было три гривны, но она выразила сердечную благодарность и даже перекрестила меня на дорогу, трогательно, по-матерински.

Вкус этой необыкновенной кукурузы я чувствую на своих губах до сей поры.

«ЧЁРНАЯ КАРАКАТИЦА» и «СВЯТАЯ МАРИЯ»

Два, буквально, штриха, навеянные названиями этих шхун.

Трутся они у причала дено и нощно. И настоящий, по облику, пират, приглашает вас совершить прогулку на «Чёрной каракатице».

И оформлена она соответствующим образом – чёрный рождер на мачте, с черепом и костями, на столике – ром и карты, ятаганы, пушчонка, пусть и бутфорская, на носу корабля.

И вспомнился мне «Пятнадцатилетний капитан», которым в детстве, зачитывался.

Да мало что-то желающих было на такие прогулки – дорого.

А очень бы и мне хотелось выйти в море на этом красивом кораблике и представить себя в то время весёлое – давнее и кровавое, когда такие ловцы удачи бороздили моря.

А вот со «Святой Марией» – сложнее.

Надо же этому случиться – в гостинице мы встретили Бориса Токарева, актёра, сыгравшего так хорошо в «Двух капитанах».

И я, встретившись с ним у лифта, даже что-то сказал: «Почту за честь, подняться с легендарным капитаном. Всегда Вас чту и благодарю, как человек военный, за тот образ, который Вы столь блистательно сыграли.

Он был очень актуален для того времени.

И мы, на этом образе, воспитывали целые поколения защитников Родины».

Было видно, что ему было очень приятно слышать эти слова. А его жена, видно, по привычке прослушав моё представление, в котором я и сказал, что являюсь военным, без его ведома, даже не глядя на него, заключила:

«Боря, так говорить могут только военные. Вы – военный?».

И когда я заявил, что имею честь быть советским генералом, она просто засияла.

И вот, после этого разговора, вижу у причала «Святую Марию» и память о двух капитанах встревожила мою душу.

В разное время эти капитаны: один – на шхуне, второй – лётчик, служили Великой России и были готовы на любой подвиг во имя Отечества.

И подлость, страшная, обоим им мешала.

И в первом случае – с Николаем Татаринцевым, стоила ему и его экипажу жизни.

Но люди шли на эти суровые испытания, не думая о личном благополучии, а лишь о том, чтобы в жизни был смысл, смысл служения Отечеству и людям, смысл открытия, защиты правды, отстаивания чести и достоинства.

А ещё – великой любви.

Только она и окрыляет человека и делает ему по силам любые испытания.

Любимые – бессмертны, а любящие – святы вовек.

И очень хорошо, когда и любимые и любящие – предстают в одних лицах.

Помнить бы это всем и всегда.

Смотришь и зла на земле и неправды – намного прибавилось бы.

ВОДИТЕЛИ ЯЛТЫ

Невозможно вынести полное суждение о Ялте, не сказав доброго слова о её водителях.

Всё понимаю, сама обстановка, с учётом узостей улочек, не позволяет лихачить, но наши, московские, на головы друг другу лезли бы, сигналили, а эти – нет.

Машин и не слышно. Ни единого сигнала и даже зазевавшегося прохожего если и поторопят, чуть-чуть, то лишь прогазовкой двигателя на бойких и многолюдных всегда перекрёстках.

Боже упаси – пред людьми проехать, рукой вежливо и спокойно укажут – проходите, уважаемый, и только потом, медленно, тронутся, чтобы пробираться по серпантинам, да взгоркам.

А как осторожны и внимательны они у рынков, где концентрация людей наибольшая.

До миллиметров выкручивают колёса, но никого не заденут и не помешают никому.

Тайно завидую – таких бы водителей, да на маршрутки, в Москву.

Приехали с женой в Никитский сад, уехать назад – невозможно, людей очень много, так водитель – сам, только нас двоих, привёз на конечную остановку маршрутки, остановил проходящую, пересадил на неё и только тогда уехал по своему маршруту.

Примечательно, что на каждом углу вас поджидают полчища автомобилей. Неизменно вежливые и воспитанные водители, понимаю, что это их заработок и хлеб, но, тем не менее – поражает их воспитанность и такт – отвезут и привезут в любую точку Крыма за весьма умеренную плату.

Спасибо Вам, славное племя водительское любимой Ялты.

Кланяюсь Вам с огромной благодарностью и любовью.

Спасибо!

Спаси – Бог – Вас!

ВИННЫЕ МАГАЗИНЫ ЯЛТЫ

Кто не обошёл винные магазины Ялты – тот и не был на Юге, в Крыму.

Каждый из них – особенный. Имеет своё индивидуальное лицо.

И вроде вина и коньяки продают одинаковые, и по цене одной, и с одной бочки разлитые – ан, нет, и вкус у них особый, и каждому магазину только присущий.

Страшно не понравился только один из них – по дороге в гостиницу «Ялта», справа, почти на выходе из узенькой улочки.

Не понравился формальным отношением к посетителям изрядно затяжелевшей, лишними, к её росту, килограммами, эдак не менее пятидесяти-шестидесяти, молодой продавщицы.

На мой вопрос:

– Почему Вы столь неучтивы? – она тут же, лениво и привычно ответила:

– А я устала...

А вот магазинчик слева, перед этим неприветливым, «Масандровские вина» очень нам понравился.

Милое очаровательное дитя, не просто продало нам бутылочку вина, но и поведало, что «Портвейн Ливадийский красный» – был любимым вином последнего русского императора Николая II, который всегда его пивал, пребывая в Крыму на отдохновении.

Она же предложила нам бутылку вина, которое любила императрица Александра Фёдоровна. Пусть даже лукавит, но, как же приятно чувствовать себя в центре Вселенной.

Особый, чопорный магазин на набережной, перед входом, справа от мостика.

Здесь немногословная продавщица, мастер своего дела, не пускается в долгие объяснения, но предложит вам всё, что вы просите.

К слову, именно здесь мы купили самый лучший, из доступных по цене, коньяк.

Очень ароматный, настоящий и он долго нам напоминал о Ялте, о лете, о море и какой-то щемящей тоской наполнил сердце, уже в Москве, подчёркивая, что и это время минуло.

И больше оно никогда не повторится. И не вернётся к нам.

Так и жизнь проходит.

Оглянешься – а времени на слова уже нет, осталось только на молитву.

Грустно очень...

МИТРИДАТ

Мне вспомнилось это необычное и таинственно-красивое место по двум обстоятельствам:

Первое – самая чистая юношеская любовь, Люся Гнесина. Миниатюрная, маленькая девочка, кукла, ангел – не знаю, с кем ещё сравнить.

Оправдывая фамилию – неплохо играла, на мой взгляд на рояле, но были очень маленькие руки и она не могла достать нужную клавишу своим изящным, почти детским мизинцем.

Чего только она не делала, но больше всего мне запомнилось, как между большим пальцем и мизинцем – норовила вставить еловую шишку, чтобы растянуть мышцы и хотя бы на несколько миллиметров расширить захват пальцами нужных клавиш.

Было трогательно и жалко смотреть на это милое божество, у которого при этом из глаз текли слёзы, ручьём. Ей было просто больно.

Я писал ей трогательные стихи-признания и норовил, каждый день, их передавать через приятелей.

И, о, женское коварство, узнал, что ей симпатичен другой мальчик, забыл уже его фамилию, цыганковатый, с искривлённым носом, даже рот как-то был у него перекошен и непропорционален и звали его Владимиром.

Но у сердца свои законы и я даже не знаю – за что я был отвергнут, хотя мои стихи ею принимались и не возвращались обратно.

Помню, как страдал и переживал. А она, продолжая какую-то странную игру со мной – и не бросала окончательно, и не приближала меня к себе. Единственный раз мы даже целовались, она была опытнее меня и искушённое, я же – и подумать не мог о таком счастье.

Не знаю, где она и что с ней с той поры. Но помню хорошо, как она на КВН, где я был капитаном команды, мне аккомпанировала, а я пел песню о том, что «...самое синее в мире – Чёрное море моё».

И поднимаясь сегодня по священным ступеням Митридата, я с тихой грустью вспоминаю эту девочку, побудившую в моём сердце первое детско-юношеское чувство, ходил ведь уже в восьмой класс в ту пору и желаю ей только добра.

А второе воспоминание, которое у меня побудил Митридат, уже просто анекдотическое.

Я – курсант третьего курса военного училища, на стажировке в Керченском батальоне.

Обстановка – самая прекрасная. Доверие к нам, с Витей Катренко, моим сокурсником было самое высокое со стороны офицеров батальона, его командира-фронтовика подполковника Романова.

Мудрый был человек. Опытный, душевный, но и до предела странный.

Каждое утро, с булкой хлеба под мышкой, в семейных трусах, со щепотью соли, с пистолетом «ТТ» и патронами к нему, шёл он на грядку с помидорами. А их там росло просто море.

Он съедал эту булку хлеба с помидорами, которые густо присоливал и стрелял по камням и банкам.

Выполнив ритуал – возвращался домой – и на службу. И так – каждый день.

Так вот, он приставил нас, с Виктором Катренко, старшими над командами бойцов, которые помогали археологам в раскопках на горе Митридат. Там вечно что-нибудь рыли.

И после этих раскопок в казарме стало происходить невероятное – все команды, участвующие в раскопках, были пьяными.

В первую очередь досталось нам – мы, де, плохо смотрим за бойцами, и они пьют на раскопках. Мы это отвергли. Помню, что я даже кипятился по этому поводу и всё требовал от комбата, чтобы нам доверяли, а сами – усилили контроль за солдатами в иных местах.

Но это ничего не меняло, пьяные бойцы продолжали появляться в казарме.

И самое главное – только после ужина.

Романов сам стал контролировать ход ужина. Ничего предосудительного и он не заметил. Ели эти команды как все, в столовой, пили чай, контроль со стороны дежурного и нас, исполнявших обязанности: командира взвода – Виктора, и меня – бери выше, решением Романова я был назначен ротным, так как штатный командир роты был в отпуске, – был просто тотальный, муха не пролетит, а бойцы выходили со столовой пьяными. И долго никто не мог понять – что за напасть?

Загадка разрешилась самым неожиданным образом – в батальон приехал археолог и умолял ребят отдать ему амфоры с вином, которое, от времени, за тысячелетия, превратилось в повидло. Его-то и ели бойцы и оно открыто лежало в тарелках, на каждом столе «копателей», как их потом стали звать.

Слава Богу, к радости археологов, несколько амфор, которые бойцы заныкали, удалось им возвратить, не успели наши «отличники» ещё съесть это «варенье» – желеобразное вино.

Историю эту хорошо помню и вглядываясь в крутые склоны Митридата, господствующего над Керчью, я и в этот раз восхищался находчивостью русского солдата.

Всё он мог. И не побоялись ведь. А вдруг – это была уже несъедобная отравка?

Нет, ничего, никто даже не заболел. А шуму было – очень много после этих раскопок.

Рядом – каменоломни Аджимушкая, где бились до последнего с фашистами, наши бойцы и матросы, разорванного танками Манштейна Крымского фронта.

Бились до 42 года, пока фашисты не закачали хлорный газ в каменоломни. Тогда и погибли все защитники.

Вечная Вам память, дорогие соотечественники! Отчизны верные сыны. И никто в ту пору не делил вас ни на русских, ни на украинцев, не было здесь ни татар, ни узбеков...

Все были советскими людьми, советскими солдатами и боролись за нашу общую землю и нашу общую свободу.

А как мы распорядились Вашим подвигом – делается просто страшно.

Всё растащили по норам национализма и эгоизма, всё растоптали, к несчастью, и предали. И не только на Украине, да в Прибалтике. И наших «иванов, не помнящих родства» не меньше. Начали воевать с памятниками, да добрались и до людей.

И кровь та, праведная, была пролита, оказывается, зря.

Ныне иные стяги реют над Митридатом. Не красные, с серпом и молотом, а те, под которыми ОУНовцы шли на союз с фашистскими захватчиками.

И сколько крови они при этом пролили – одному Богу известно.

Да он молчит. И не судит своим судом этих отступников и не воздаёт должное их каиновым усилиям и потугам.

Впрочем, как и подвигу героев. Безмолствует Господь и даже не знаешь, а на чьей он стороне всё же... Хотя бы в конечном счёте... Кого судит, а кого милует?

Ведь не низверг же он в бездну тех, кто прах палачей русского народа – Деникина и Каппеля перевёз за наш с Вами, дорогие друзья, кошт в Донскую церковь, да и приказал по ним печаловаться и отдавать почести. Да и видели там премьера России, голову склонял в поклоне и приказал всё оборудовать по высочайшему классу, опять же – не за свои кровные...

А вот генералу Яшину, фронтовику, друзья собирали деньги, скидывались, чтобы могилу зимой, в лютые морозы вырыли...

А героям – вечная память и слава. От меня, моей жены, от иных добрых людей, которых мы встретили во множестве в этот день.

АПАРТАМЕНТЫ В НАЁМ

Это совершенно отдельная тема – сдача жилья для отдыхающих.

Я не видел нигде такого вдохновения на лицах людей, которые – из обычной сараюшки, в своих красочных рассказах, а скорее – у себя в голове сотворяли апартаменты класса заведомо высокого и зазывали всех поселиться именно у них.

И не важно, что сараюшке было сто лет, главное, что выходил он одним-единственным оконцем на море, которое с утра до ночи шумело и шумело прямо в изголовье.

Но подход и цена за эти апартаменты были совершенно божеские – 250 гривен за сутки, в самую курортную пору. (Для сравнения, в гостинице,

где мы жили, спасибо сердечное сестре, наш номер в сутки обходился в 1750 гривен. Правда, питание и пляж, бассейн при этом).

Могут кормить тебя и в сдаваемых апартаментах прилично, к слову, все продукты – прямо с рынка, но всё будет упираться в оплату.

Плати больше – и тебе – хоть клубнику из Франции будут подавать к завтраку.

Но, что меня поражало больше всего, это то, что никакой видимой конкуренции у бабуть не было. Они, наперебой, расхваливали жильё друг друга и поражали меня всегда одной фразой при этом:

«Во всей Ялте не сыскать Вам лучших условий, ни за что».

Казалось бы, так о конкурентах не говорят, но в Ялте именно так служат друг другу эти честные контрабандисты, эти святые люди.

Свои отношения они выясняют потом, наедине, но при людях – «нет лучше условий, нежели у Марь Ивановны, Анны Петровны, Зинаиды Сергеевны...» – и всё тут.

И это говорят те, кто и сам очень хотел бы сдать жильё, так как в этом – источник благополучия и возможность существовать год, до следующего сезона.

Поклон вам, милые люди! Вы так красивы в этой святой лжи, отсутствии корысти, так возвышенны и искренни.

Дай Бог Вам постояльцев учтивых и денежных.

ГАЗЕТЫ КРЫМА

От их обилия просто рябит в глазах.

Но, как только начинаешь взыскательно изучать прилавков – разочарование наступает сразу.

Адаптированные к Украине, воле власти, её видению мировых, а если конкретнее – соседских проблем ещё в большей степени – куцые «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда».

Обилие клубнички, голых девок – сколько угодно, а вся аналитика, серьёзные статьи, особенно, если в них затрагиваются российско-украинские отношения – пропадают из этих газет напрочь.

Всё остальное – киевско-крымское. Одинаковое и похожее друг на друга, как близнецы.

Правда, надо отдать должное, что достаётся в газетах всем: и Ющенко, и «девушке с косой», и Януковичу – тут уж не щадят и не выбирают слов приличия друг для друга.

Много статей, посвящённых безудержному распутству отпрысков сильных украинского мира. Особенно, старшего сына президента. Не одна рука потянется к топору, после прочтения этих статей.

Вороньё накинлось на Украину и клюёт её неустанно – сыновья, братья, друзья юности, однокашники...

Как-то, в одночасье, самым чудесным образом, в их руках оказались и сталь, и уголь, и нефть, и перекачка газа из России, и банковское дело.

Ни одного народного деятеля среди них нет. Богема. Круг их очень узок и в него они не впустят никого чужого. Ни за что и никогда.

Впрочем, как и у нас, в России.

Но, уж, никому не посвящено такого множества статей, как представителям славной Рады, то есть, по нашему говоря – украинской Государственной Думы.

Куда там Владимиру Вольфовичу. Он – паинька, хороший мальчик по сравнению с теми, кто сегодня царствует на верховном Олимпе власти в Украине.

Как депутат – так миллионер, а то и ещё хуже – лихоимец и вор.

Поразило – милая и юная вторая жена, на 20 лет моложе Медведчука, с которой он в тайной связи пребывал целых пять лет, не расставаясь с первой супружницей и детьми, да тут уж, и вне брака, выродил маленького медведчука от новой пассии.

И вот эта, с позволения сказать, глупая барышня, чего уж тут миндальничать – дура набитая пишет, что из всех прожитых ими совместно лет – десяти, не было ни одного дня!, чтобы Медведчук не прислал ей или не вручил лично семь!, именно – семь, не знаю, что в этом за смысл, багровых роз.

Русская нехитрая математика: 7 умножаем на 90 рублей, получается 630 рублей ежедневно.

То есть, за десять лет пан Медведчук своей кралечке, как говорил легендарный Борисов в фильме «За двумя зайцами», подарил роз на 2 миллиона 299 тысяч 500 рублей.

Потрачена ли эта сумма хотя бы на одного старика, дитя, лишённое отчего дома – думаю, что нет.

Это не говоря уже о моральных нормах у этого деятеля, а вернее – об их полном отсутствии. О лжи. И этот человек – у власти?!

И тут же, в «Крымской правде», статья, о том, как Медведчук непосредственно в Масандровском парке отхватил 3–4 гектара земли и строит очередное «светлое будущее», как я называю эти замки.

Поэтому – печати поклон! А то и не знали бы: ни истории Ялтинского зоопарка и борьбы вокруг него за кусок райской земли; не знали бы и о том, что сегодняшний самозахват земли в районе Бахчисарая давно превзошёл по площади сам районный центр; не знали бы о миллионах Лазаренко, которые он, со всей Украины, вытянул за рубеж и живёт там сыто и довольно. Не без помощи и ныне властвующих персонажей, пребывающих на первых ролях в самостийной и незалежной Украине. Да ещё и такой гарной дивчины з косою.

Мне кажется, что никогда в своей истории Украина не была СТОЛЬ зависима и не самостийна.

Поэтому – кланяюсь Вам, дорогие друзья. За слово правды, за искренность, за то, что не все ещё из вашей братии «вложили мечи в ножны».

Конечно, среди пишущей братии большинство тех, кто ловит момент и рубит «бабло», прогибаясь под режим – и всё избочивают нас, русских, великих и ужасных. Да и не великих, а так, по Ющенко, замшелых ретроградов, за которых мифические укры – намного величественнее и древнее.

И тут на ум приходят слова Александра Ивановича Куприна, который так любил Крым. И который писал, что самые истеричные люди – околотовный и газетчик.

Оба ищут только свою выгоду в ремесле, совершенно отступаясь и забывая о правде, истине, совести.

А один раз сказал и круче незабвенный Александр Иванович.

Обозвал творческую интеллигенцию «проститутами от искусства».

Вот и хотелось бы знать, кто в этом отряде сегодня, кто служит не Украине, Отечеству, не союзу нашему бывшему и братству единоверному и единокровному, а временщикам, понимая ведь отчётливо, что их деятельность – богомерзка и богопротивна.

Но... слаб человек.

И хочется сегодня несправедные иудины сребреники «срубить», а что там до совести, был или не был этот голодомор – никого, на самом деле, не интересует вовсе.

Ну, почему, братья по перу, не скажете, что голодомор, как вы его называете, был содеян самым крестьянином? Не со зла, разумеется, а по недомыслию.

Вырезали, накануне, и в годы коллективизации волов, а на Украине, на Кубани, на Дону – только волом и можно взять целину. Лошади не по силам эта земля.

Вот и сократился пахотный клин почти втрое.

А вы – Сталина в людоеды. Не был он таким, да и какая же нужда у него была ослаблять государство своё?

Чушь, стыд и срам видеть козни там, где их не было и в помине.

Но об этом никто не говорит ни слова.

Посмотрите отчёты волостные, из уездов тех лет, они же доступны, насколько сократился «парк», так сказать, воловий.

Что, от доброй жизни, коровёнку в плуг впрягали? Да что она вспашет-то?

Вот и рвали жилы бабы, на себе пахали, бабушкины рассказы помню хорошо.

И страдали больше всего от голода, простите меня, люди добрые, но надо же правду говорить – семьи, где женщины в одиночку поднимали детей, да пьяни горькой.

И это ведь правда. Пусть даже горькая. И об этом говорить надо.

Сколько и помню себя – напротив хорошего, добротного дома деда – был дом пьяниц и забубённых гуляк.

Так он всю жизнь был без изгороди даже, облупленный весь, без огорода, там чертополох рос, целый настоящий лес.

Зато, как случилась коллективизация, этот задрыга, который и от фронта скрылся по «слабости здоровья», но наган на верёвку повязал, именно – на верёвку и к деду-фронтовику ввалился в дом:

«Вот теперь, Фёдор Ефимович и мы сметаны поимом».

Это дед мне рассказывал тысячу раз. И в тот миг, когда пред ним предстал это «револющёнер», так дед называл этого предводителя комбеда, дед с бабушкой именно и ели сметану с блинами. Вернее, блины со сметаной.

И происходило всё это действо... на Украине, в Черниговской губернии.

Дед, с лычками старшего урядника, с двумя Георгиевскими крестами, четырьмя медалями, с двумя лошадьми – своей, строевой и изпод зарубленного им австрийского офицера пришёл с войны, а этот злыдень, пробавлявшийся воровством и попрошайничеством, стал наган ему под нос тыкать.

Так какой тут Сталин повинен? И какой он террор организовал по всей Украине?

К слову, у деда всегда было 2–3 гектара земли и никто её у него никогда не отбирал, не обрезал.

Может потому, что на этой земле рос огромный и прекрасный сад, а на земле трудилась вся семья – четверо детей, наравне со взрослыми.

Один – мой дядюшка Иван, погиб в первые дни войны, второй – до Кёнисберга дошёл, майором стал, а земля всех кормила, даже тогда, когда деда, уже в преклонные годы, в армию призвали фашистов воевать.

Вот бы об этом написать Вам, уважаемые и досточтимые коллеги.

А Вы – о каких-то химерах.

Какая-то устойчивая тяга у вас к гробокопательству, трупоедству, тризнах-похоронах.

И извлекаете, с того света – то мазеп, то коновальцев, то сагайдачных, то бандер с петлюрами всевозможными, а вот о достойных людях, прославивших Отчизну, Украину – нет у вас ни слова. А о героях иного берега – вообще не говорите никогда.

Всё о Ринате Ахметове. Как же, он ваш главный хозяин и кредитор. Вот вы и отработываете эти сребреники...

Вы же тщитесь вырядиться, всегда, в тогу таких набожных и святых – так вспомните, хотя бы – Библейское:

«Вначале было слово. И слово это было Бог».

А Господь – он ведь всё видит. И за неправду, за разжигание розни, за осиновый кол, который Вы вбиваете в наше вековое братство – призовёт к ответу.

Хотя бы – в конечном счёте...

УКРАИНСКИЕ ДЕНЬГИ

Поразило вселенское ликование во всей украинской печати – гривны признаны самой красивой, прочной и защищённой валютой в мире.

Деяние, как бы очень достойное, если отбросить некоторые «но». А их немало.

И самое главное, в кругу этих проблем – если бы и жизнь была у граждан столь достойной, как красота денег.

Получается, к несчастью, всё наоборот, как у того коня на свадьбе – морда в цветах, а ж... в мыле.

Безусловно, не вызывает сомнения ценность и знаковость портретов на деньгах Шевченко, Сковороды, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого и Владимира-крестителя Руси.

Не знаю, правда, почему последних отнесли к заслуженным украинцам, это ведь наши общие предки – россичи, руссичи, основатели и защитники Единой Земли Русской.

Ну, да ладно и за это спасибо, что славите и, думаю, только по недомыслию власти, поместили их на своей гривне.

А вот многие иные герои – вызывают большое недоумение и возмущение.

Среди всех гетманов, помещённых на деньгах, только и можно поклониться Богдану–Зиновию Хмельницкому.

Вот уж кто радел за единство с Россией. Не думаю, что сразу, с юношеских лет. Нет! Всё же тщился выбиться в шляхту, и, «пся крев», стать господарем над крепостными и бесправными.

Но в этом и гений Богдана, когда понял, в какое противоречие приходит его ничтожное «Я» с судьбой Отечества, Окраины земли русской.

Именно на этих началах родился гражданин и патриот.

И уже дороги назад для него не было. Судьба была только в единстве с Россией и под её защитой.

Поэтому и не мил гетман нынешним правителям. Как же, запродался России, пошёл под руку белого царя.

Лучше бы – Вишневецкого. И чтобы была Речь Посполитая «от можа до можа».

Остальные – сагайдачные, мазепы, орлики – отщепенцы и предатели.

Сагайдачного с поляками, ополченцы Минина и Пожарского взяли в вилы, да и изгнали из Москвы.

И не смогло его войско, в восемнадцать тысяч, с пушками, одолеть братию Троице-Сергиевой лавры, под стенами которой они простояли более полутора лет. Задумайтесь!

Да так и не взяли этот форпост православия и воинской славы.

О Мазепе и говорить не приходится. Отступник, предатель и мерзавец, получив от Петра Великого высшие отличия Российского государства, перебежал с продажной старшиной к шведам на службу, да и сгинул на чужбине после великой победы русского воинства под Полтавой. Даже не наслаждался плодами своего предательства.

А вот уже и новые герои, по воле бывшего председателя национального банка Украины подоспели и на монете, будучи в помрачении рассудка, выбрали мерзкое обличье Шухевича.

Действительно – мерзкое. Никакой красоты, никакой стати. Злобное, остроносое, страшное, а в глазах-пустышках – ненависть.

Это тот Шухевич, чьи руки по локоть в крови, да что там руки – по колено ходил в крови народа, унеся на тот свет, по заявлению его присного – недобитка бендеровского, более 320 тысяч!, вслушайтесь только – 320 тысяч!!! безвинных жертв.

И ему, президент Украины, параноидально больной националистической химерой, присваивает звание Героя Украины.

Как же не дрогнуло сердце при этом генерала армии Герасимова, Софии Ротару, Ады Роговцевой и как они не сорвали это окаянное отличие со своей груди, да и не бросили его к ногам президента-отступника?

Так что портреты на деньгах могут многое рассказать любому обывателю.

И он, предъявляя монету с портретом палача и изувера Шухевича, словно чуму распространяет на всю Украину.

С такими героями страна существовать и жить достойно не может. Они гасят все, даже благие порывы и обращают всё в тлен, в прах, пепел и пожарища.

Ибо невинная кровь вопиёт!

Две строчки хроники в пояснение:

«Всю семью председателя колхоза ОУНовцы казнили изуверски. Женщин, включая малолетних девочек, изнасиловали, затем, вспоров им животы, набили их зерном.

И всё это делали на глазах в миг поседевшего отца, которого, затем, сожгли живём».

Мало этих страстей, дорогие граждане, братья-малоросы?

Так знайте, что Вы берёте в руки монету с обликом того, кто приказал:

«Прикордонников – на пилораму!».

И пилили наших пограничников надвое, пропуская циркулярку между ног, не торопясь, чтобы подольше мучались.

И что, Господь, этого не видит? И допускает в Храм этих современных, да ещё и таких набожных?! отступников и изуверов, которые оправдывают зверство лютое, вершившееся их предшественниками.

Наверное, и им самим грезится подобное, и они бы не прочь, собственноручно, подвергнуть таким пыткам и мучениям всех тех, кто выступает за укрепление дружбы и братства народов Украины и России.

До какой же степени надо утратить всё человеческое, всё совестливое и праведное, чтобы присваивать звания героев таким нелюдям. Поэтому – такова и цена этих героев.

Не герои они Украины, а вурдулаки того потаённого и страшного мира, живущего в сердце нынешних запродавцев, утративших и Бога, и Веру, и Совесть, да и просто здравый смысл.

Думаю, очистительный вихрь пронесётся и над Украиной в следующем году, при выборах президента. Верю в это, потому, что так, действительно, жить нельзя. Не по-божески это и не по-людски.

И иные герои будут на деньгах, на портретах, в музеях и на страницах газет.

Таков необратимый ход истории.

И никто ещё не смог повернуть её вспять.

P S. Спасибо, создатель, сподобилось дожить и услышать, что яркого националиста и пособника бандеровцев, отверг украинский народ и не только не избрал на повторный срок, но даже шанса не дал уйти достойно, ибо позорные 5% голосов, которые он набрал на выборах свидетельствуют о том, что народ, везде, – шельму всегда метит и видит.

СВЯТЫЕ МОГИЛЫ

Эту дорогу я не проезжаю, а прохожу своим сердцем в каждый свой приезд в Крым.

Дорога, к святым могилам родителей, которые навечно остались на берегу Азовского моря, в селе Калиновка.

Так было и в этот раз. Спасибо, милой сестре, её супругу, которые всё это обставили очень достойно и красиво и нам, с женой моей Галиной Ивановой, был предоставлен роскошный лимузин, на котором мы и выехали, рано утром, в благословенный отчий край.

Крым изменился до неузнаваемости, особенно – вдоль центральной дороги Симферополь – Феодосия – Керчь.

Всё, особенно у берега моря, застроено такими особняками, что и оторопь берёт.

А рядом – лачуги. Но стоимость земли под ними – просто зашкаливает, вот и ждут своего часа люди, чтобы продать божье творение – землю, новым украинцам, как можно дороже.

Мечты, мечты...

Говорю Галине Ивановне:

– Нам бы такой дом у берега моря. Жить, творить. Иметь условия для того, чтобы собрать родство к себе на лето, любимых внуков...

Неприятно поразил посёлок Ленино. Зачумленный како-то, неряшливый, а ведь был очень красивым, белоснежным в пору моей давно минувшей юности.

И вот – Калиновка...

Что поразило – у самого кладбища стояла целая толпа татар. В моё время их не было и в помине, во всём районе – ни одного, а тут – среди бела дня просто манифестация какая-то.

Молодые, сильные. Очень аккуратные. Все – в тюбетейках, белых рубашках. Приветливые, если не знать подлинной сути их настроений.

Сегодня – они хозяева на этой земле, а мы – лишь временные гости.

Сколько ещё осталось, хотя бы приезжать в этот благословенный край в результате проводимой политики власть предержащих, которые используют всё, в том числе – и татарскую карту для укрепления своего влияния в Крыму и уничтожения даже памяти у русских людей о том, что Крым – русский, в соответствии с Кюйчук-Кайнаджирским договором между Россией и Турцией, которая уступала Крым «на вечное владение России». Об Украине не было и речи.

И кто знает, а не вспомнит ли Турция свой старинный договор и не потребует «Алясочку взад», как поёт Николай Расторгуев?

Эти мысли закончились у ворот кладбища.

Вот оно – последнее пристанище всех, кто отошёл в мир иной в Калиновке.

Как же оно разрослось, Боже мой. Тут уже несколько Калиновок лежит.

Прямо, под дома людей подошло кладбище. Даже оторопь какая-то берёт. Неприятно и жутко, всё же человек, выходя из дому, не должен упираться в кладбище. А здесь – куда ни кинь взглядом – могилы и надгробия.

И вот, от ворот кладбищенских – налево, мои дорогие.

Как же жизнь должна была выстроиться, по каким законам, чтобы они упокоились всё же друг напротив друга.

Хорошо помню, как говорил отцу по кончине матери, что и ему, рядом с ней, зарезервирую место, а он, не знаю почему, отказался.

– Нет, сынок, не хочу, чтобы оно меня заранее ждало. Не станет меня – тогда, где хотите, там и упокойте. Где придётся. А заранее – не хочу почему-то.

Но пришёл срок его на этой земле и не отпустила матушка от себя, так и похоронен пред материнской могилой, напротив.

Спасибо сёстрам и особенно мужу младшей сестры, очень чистенько убрано у них, покрашены, голубой краской, оградки.

Мне осталось только выдернуть немного бурьяна и вытереть памятники. Да возложить цветы памяти и скорби.

Застыл у дорогих могил, преклонив колено, а мысли, мысли в голове всё не давали покоя:

«А для чего мы вообще приходим на эту землю? Что приносим с собой в этот мир?

За родителей мне не стыдно. Уж хлеба, который вырастил и убрал отец, хватит, чтоб целый мир накормить. Вдоволь!

Всю жизнь на земле, в поле, а надо было – за Отечество воевал. После войны снова вернулся к хлебопашеству.

И святой, и грешный. Всё, как в реальной жизни.

А святой потому, что годы и годы смотрел, причём образцово, тяжело больную мать, практически неподвижную.

Пережил её лишь на год.

И умер – дай Бог каждому такой последний миг жизни встретить – дошёл до дома, из магазина, сел на скамейку с булкой хлеба под мышкой – и всё. Отлетела к Господу душа.

Никого не обременил, никого не утрудил.

Матушка – великая труженица была. Растила нас, пятерых детей, всю жизнь провела на огороде. Самым ухоженным был он у неё».

И когда мы с Галиной Ивановной, свершив печальную тризну памяти, подъехали к дому, где прошла моя юность – защемило сердце.

Всё стало каким-то запущенным, в ржавом железе, которого никогда там не было.

Был воздух, был свет. Было море цветов, которые так любила мать.

А сейчас – только буйство айвы, посаженной матерью, которая вошла в силу напоминало о былом.

Из какой-то потаённой калитки, я и не увидел – откуда, вышла какая-то древняя бабуля, которой я не знал, не знала меня и она, не знала даже родителей.

То есть, дом поменял нескольких владельцев за эти годы, как не стало моих дорогих отца с матерью.

И я попросил у этой бабули единственное – сорвать одну айву как память о прошедшей – давно, юности, о родителях моих.

Эту айву я оставил у сестры в Симферополе, на лоджии.

И когда мы уезжали домой – она, уже дозрев, распространяла по всей лоджии пьянящий запах утраченного и ушедшего навсегда.

И был он до такой степени знакомым и дорогим, что у меня даже выступили слёзы, когда я перешагнул порог лоджии.

Сподобится ли ещё раз объявиться в родных краях?

Правда, родных – некогда, а сегодня, с учётом происходящего – трудно даже представить и сказать – позволят ли проведать власть предрежащие – отческие гробы, как писал поэт, не знаю.

ПОЕЗДКА В ФОРОС

Сколько бы раз я ни был в этом благословенном краю – не оставляет изумление, восторг светлый и тихое спокойствие, щемящая грусть на душе и состояние праздника, и прощания, и встречи. Разлук невозвратных и снова – встреч...

Форос... Откуда уцелело это греческое название? Ведь какие бури и грозы пронесли над этими краями, сколько режимов и времён сменилось, а «Форос» – звучит таинственно и так древне, что даже не верится, что через века мы слышим и в сегодняшнем дне эту певучую загадку.

Вот и сегодня – родная рука в моей руке и мы едем, с женой Галиной Ивановной, в это священное и благословенное место.

Казалось бы, история тривиальная – экзальтированный купец, прослышав о чудодейственном спасении государя Александра III в железнодорожной катастрофе и его семьи, вознамерился церковь построить.

Почему он избрал это место? Чем оно ему приглянулось – трудно сказать.

Но представьте только одно – завезти, почти на 500 метров над уровнем моря, строительные материалы – а это тысячи и тысячи тонн, задача не простая. Особенно в то время.

Дороги не было. И та, первая, лишь угадывается с высоты птичьего полёта – сколько труда, сколько пота пролилось, пока Храм воспарил над окрестностями, явив Божью милость трудам великим.

И вот он, уже почти двести лет, радует окрестности своей красотой неповторимой.

Только светлый человек мог содейть такой Храм, только душе ангельской покорились эти древние вершины.

Сегодня хорошая дорога петляет среди гор. Всего лишь несколько минут – и от центрального шоссе, на Севастополь, мы – возле Форосской церкви.

Очень горько и это первым кидается в глаза, что не может человечество, люди не могут, каждый из нас не может в этом благословенном месте оставаться человеком – надписей, битого стекла, пластиковых бутылок – страшно даже представить, что может хомо сапиенс дойти и до этого.

Сама же церковь – потрясает. Такого благолепия и красоты – я не видел ни в одном Храме.

Поразило, хотя я и купил Галине Ивановне белую шаль, что даже платочки, у входа слева, лежат для тех женщин, кто появился в Храме с непокрытой головой.

Много детей на обряд крещения привезли родители – красивых, белоснежных.

Несколько пар, дожидаясь своей очереди, представляли пред Господом для освящения своего союза.

Дай Вам Бог, уважаемые люди. Пусть Господь хранит Ваш союз и Ваше благополучие.

Историю о священнике, которого убили отморозки, чтобы похитить редкую икону, здесь знают все.

Но молодой священнослужитель, в непривычно серой, а не чёрной рясе, не испытывает ни страха, ни смущения и на мой откровенный вопрос отвечает:

– Всё в воле Божией! Я просто служу и верю, что Господь сохранит мою ничтожную жизнь для того, чтобы служить ему, Вседержителю.

И как-то хорошо улыбаясь мне, продолжил:

– Кроме того, с той поры – организована охрана милицией. Так что мы совершенно спокойны. И мои мысли направлены лишь на то, чтобы служить Господу. Истово и всю жизнь.

– Отче, – перестав его пытаться, – благословите мой союз с этой дивной женщиной. Не по распутству вступаю в него, нет. Не стало той, что была смыслом жизни, и я, долгие годы переболев душой, встретил такую же судьбу, утратную.

Мы ведь никого не обездолили, не сделали несчастными. Не воровски, тайком, зарождалось наше чувство в такой осенний период в жизни, закатный...

– Сохрани и помилуй Вас, сын мой, – перебил он меня.

– В Вашем союзе нет греха. Напротив, великая благодать свершилась, Господь Вас к ней привёл.

И, как отец – сыну, хотя уж мне почти годился в сыновья по возрасту сам, добавил:

– Нельзя предаваться скорби безутешной. И если Вы можете быть счастливыми со своей избранницей – будьте ими.

Союз Ваш свят и светел. И я, от имени Господа нашего, благословляю Вас.

Защемило сердце, гулко ударила в виски кровь.

Я понимал, что не одни мы у этого священника, много людей было на очереди, поэтому и удалился в дальний притвор Храма, где поставил свечи и за здоровье всех, и за упокой ушедших в мир иной.

Пусть хранит Вас Господь, мои дорогие. И наша память. Пока мы помним вас – Вы живы. Вы – с нами.

И мы никогда не забываем Вас, пока живы.

Хотелось бы, чтобы и дети наши помнили о нас, когда мы отойдём в Ваш мир.

Остановились, метрах в двухстах, отъехав от Храма. Большой красоты не видел. Словно святой корабль плыл Храм в осенних низких тучах.

И золотая листва деревьев так гармонировала с золотыми куполами, что я даже задохнулся. Величественная картина, необыкновенная красота, наполняющая не только мою душу светом и добром.

Это была та минута, когда хотелось обнять весь мир и признаться ему в любви. И воспарить над ним...

РЫНОК В ЯЛТЕ

Кто не был на южных рынках, тот не видел вообще ничего.

Но рынки Крыма – это особое слово. Это не хитрость и коварство восточных рынков, а напротив – громогласная открытость, предельная учтивость, искренность, когда тебя не уговаривают купить свой товар, а просто говорят:

– Ой, да вы – шо, найдёте лучше товар – покупайте. А нет – вертайтесь ко мне. Я знаю, что лучше винограда вы не найдёте по всему рынку.

И не давая мне опомниться, торговка частила дальше:

– Не на вид его даже смотрите, это не главное. Я налью под него воды в пору созревания – и он будет крупный, сочный, но... пустой.

А мой – выдержанный. Месяц только на солнышке доходил, без полива. На совесть. Поэтому и слаще мёда. Да и польза опять же – нектар, суший нектар. Попробуйте.

Именно из такого винограда вино делают. Тогда оно душу радует, а не в дурь идёт...

Только отойдёшь от этой милой торговли – за руку хватает иная:

– Нет, такому красивому мужчине надо креветки мои попробовать. На всём побережье таких не сыщешь. В специальных специях, со старым укропом прошлого года, варила. А в свежем нет того духу, который должен быть...

Соседка, с нею рядом, заговорщицки мне, как старинному знакомому, подмигивает:

– А может – коньячку? Нет, нет, Вы не бойтесь. Мы, отродясь гадости не делаем. Нет такого и в магазинах. На совесть сработан.

И, действительно, коньяк был божественным. Он так растекался по жилам и так обогревал изнутри, оставляя ясной и трезвой голову, что на душе становилось легко и безмятежно.

Но больше всего меня на рынке поражали честные бандиты. Как они знали, что тебе надо поменять деньги – я так и не смог догадаться. Но они неожиданно вырастали на твоей дороге и просто, как закадычному другу, предлагали:

– Выгоднее курса не найдёте. По двадцать пять гривен на каждую тысячу Вашу – сверху.

И это было действительно так. А если ты менял пятитысячную купюру, они, не говоря ни слова, не проверяя её, тут же добавляли к курсу сто гривен и растворялись в муравейнике рынка.

Больше всего поразило настоящее действо, спектакль, когда мы приобретали обновки супруге.

Сходились торговки соседних киосков, побросав, без досмотра свои товары и в полный голос обсуждали то, что примеряла их коллега моей супруге.

– Не, Галю, та ты шо! Такой женщине не идёт это. Посмотри, вон ту кофточку. Не прячь, не жидься, чего ты её ховаешь?

– Во, во, вот это – по ней.

– И юбку, юбку принеси ту, что вчера поступила. С люрексом.

И, когда наконец, обнова была, по их взыскательным оценкам, в самый раз, они удовлетворённо гудели и провожали, толпой, до выхода с рынка.

Будьте благословенны, дорогие люди! Нам действительно было среди Вас комфортно и мы чувствовали, что попали в родную стихию и к родным людям.

А уж благодарных глаз дитя, у которого мы купили за сущие копейки сапоги, я не забуду никогда.

ХРАМЫ В КРЫМУ

Это особая и совершенно отдельная страница, наверное, для каждого, при прочтении вечной книги под названием Крым.

Храмы здесь, в основном, молодые. Это надо понимать. Во времена владычества Порты, то есть, Османской империи и правления Гиреев, ни о каких православных Храмах в Крыму речи быть не могло.

Существовало несколько, катакомбных церквей, в пещерах, но они, я полагаю, сильного влияния на население оказать не могли, так как были гонимы и слабосильны.

А те, древнегреческие, византийские, которым минуло тысячи лет – о них что сегодня говорить, они были в своё время значимыми и величественными, да время, войны не пощадили их. Об этой поре осталась память лишь в Херсонесе и если это правда, что и нынешний Храм, красивый, яркий, величественный, построен на месте древнего – тогда это впечатляет.

Словно большой корабль парит он над остатками руин некогда богатого и знатного Херсонеса, древней столицы могущественного царства.

Но и тут жизнь, сегодняшняя, вторгается в историю и оставляет на её страницах свои греховные, конъюнктурные пятна.

Ещё вчера, прямо в Храме, висела красочная фотография Кучмы Л. М., второго президента Украины, и было написано, что сей Храм возрождён благодаря его высокому личному участию.

Сегодня этой фотографии уже нет. Как нет и памяти о том, что огромный колокол, который был отлит из турецких пушек, знаменует собой русские победы над Турцией в екатерининское время.

Не упоминают об этом более экскурсоводы. И не говорят ни слова о том, что только благодаря победам русского оружия Крым и обрёл нынешнее лицо, то есть, стал русским краем, русской землёй, которая по нерадивому недосмотру Ельцина, а до него – Хрущёва, была подарена Украине и возможностей по пересмотру этой вопиющей несправедливости сегодня просто не существует.

Воображение потрясает часовня в посёлке Ласпи. Красота от неё исходит такая, что словно воздуха набираешь полную грудь и куда-то летишь над морем.

Ялта сияет позолотою куполов с любой точки, откуда бы ты ни смотрел, особенно – в сторону дивной набережной.

Но это всё Храмы – новodelы, за исключением собора Александра Невского.

Да жаль только, что у него соседство не очень радует глаз и душу. Эта синяя стекляшка, в стиле нашего Газпрома, застилает и подавляет Храм и он кажется, каким-то приземлённым и маленьким. Будучи зажатым людными улицами, а вернее – запруженным, задавленными машинами, он потерялся и даже сама аура вокруг него сменилась не в лучшую сторону.

Раньше хотелось вздохнуть полной грудью и опустить мелочь в руку попрошаек, сегодня же – дорогу бы перебежать перед несущимися машинами, гарь и копоть от которых обесцветили Храм и он стал каким-то серым.

И только внутреннее убранство его – торжественное и дивное, радует душу и наполняет её таким восторгом, что все слова не способны передать то состояние, в которое ты впадаешь, находясь в этих красивых и величественных залах.

Севастопольские Храмы – отдельный рассказ. Все они, практически, были усыпальницами моряков в первую оборону этого славного русского города воинской славы.

Собор так и зовут в народе не Владимирским, а собором адмиралов – Лазарева, Корнилова, Истомина, Нахимова...

Поражают следы пуль, выбоины от них на этих мраморных досках.

Я думаю, что это уже с этой войны. Бои шли лютые и никто, я думаю, не щадил даже святынь. Главное было – доконать врага.

Сама территория Храма – запущена. Песок. Мелкий щебень. Не таким бы быть этому первому по святости месту.

Заглянуть бы сюда вездесущему мэру Москвы, да и упорядочить всё, обустроить. Да и владыкам Русской Православной Церкви почаще бывать.

Просится море цветов, а их нет вообще.

И в Храме – пусто. Один смотритель. А в правом уголку, за оградой, народ, притомившись, поправляет здоровье. Чинно, тихо, но всё же...

Более всех меня потряс Храм Николая на месте огромного воинского кладбища, оставшегося от первой обороны Севастополя.

Я не видел такой архитектуры в Русском Православном Храмостроении.

Храм построен в виде огромного погребального кургана.

И это правильно. На плитах – тысячи и тысячи жертв героической обороны Севастополя в ту первую, описанную Л. Н. Толстым, битву против нашествия Англии, Франции, Турции... Кого там ещё только не было. Даже поляки были в рядах интервентов...

Внутри Храма – мраморные доски, на которых увековечены имена русских офицеров-моряков, погибших за Отечество.

Характерная деталь – фамилии лишь русские, старинные, да немецкие, обрусевших немцев, в петровские ещё времена нанявшихся на службу Великой России.

У меня была уже отдельная страница посвящена Форосу, Форосской церкви, но не сказать об этом чуде света и здесь – просто нельзя.

Парит над бездной памятник рукотворный русскому гению, русскому духу. Более красивой церкви и на таком ещё месте – мне видеть не приходилось.

И пришло в голову крамольное – не царю, не Александру III воздвигнут этот Храм, а русскому человеку, мастеру, который смог такую красоту после себя оставить. На века.

Правда, оскверняет душу соседство поганое – это форосский рай на земле, содеянный триклятым Горбачёвым.

Ну, да ладно, об этой «Заре», как её называли КГБшники, забудут, а вот церковь в Форосе знают во всём мире: и младенцев крестят, и венчают счастливые пары здесь со всей земли, со всей России.

Идёт неторопливая духовная жизнь, пока ещё – под эгидой русского патриарха.

Чует мой сердце, с уходом митрополита Владимира, который держится Москвы, раскол с братьями-малоросами – неизбежен, если уцелеет пан Ющенко на престоле президента.

Не случайно Варфоломея, патриарха Константинопольского, пригласили на торжества по случаю 1020 годовщины со дня крещения Руси.

У этого патриарха-то – всего 3 тысячи!!! прихожан в стране, а он, в пику Алексею, главенствовал на торжествах. А уж плакаты с его парсуной – пестрели везде, по всей Украине. И нигде я не видел Алексея.

Поразило, что даже в родной моей Калиновке, появилась церквушка.

И благое, как бы дело, но два обстоятельства сильно огорчают и отягощают мою душу:

Первое – напротив этой церкви так и ушёл в солончак и разрушился памятник в честь Героев Великой Отечественной войны, да облезший Дом культуры, как бельмо в глазу, стоит, в котором давно умолкла жизнь, веселье молодёжи.

А ведь был дворец-красавец. И как было весело и интересно молодёжи там. И кружки, и музыкальные инструменты, помню, как я даже выиграл приз в курсантские годы – за исполнение вальса.

И второе – построена она председателем колхоза, бывшим, в память о гибели двух его сыновей в автокатастрофе. То есть, не по зову души, а в знак личной беды, личной трагедии.

Это принижает его звучание и значимость.

Наряду с этими же ассоциациями – часовня в Ялте. Рядом – банк и ресторан. И музыка, и деловито снующая часть публики в сторону банка – унижает суть духовной святыни.

Так и вспоминается Христос, изгнавший торговцев из Храма. Да где он сегодня?

Не торопится, Господь, а изгонять многих бы надо – всех тех, кто со свечами, толпиной в руку, стоят с благостным видом посреди Храмов, будучи давно людьми неверующими и немилосердными, преступившими все Господни наставления и не проявляющими милости к сирым и убогим.

Очень мало людей, единицы, в Храмах. Попробуй, доберись, до собора Святого Николая. Это и машиной не просто, а так – и не пытайся. Очень далеко, а транспорт плохо ходит. И так ко многим святым местам в Крыму.

К той же церковке, в Ливадии. Красота. Жемчужина. Прелесть, но стоит очень далеко от дороги и не каждый рискнёт туда добраться. Только лишь отдыхающие. Да и то из тех, кто посостоятельней...

До наших окон, в гостинице «Ялта», доносится перезвон колоколов.

Знать, наступил какой-то Великдень, праздник церковный.

И хотя мы не знаем, к сожалению, какой, но возносим свои молитвы за ушедшее, навсегда, родство, царство ему небесное и просим Господа, о благополучии детей, внуков дорогих.

Будьте счастливы, родные мои! И благополучны, здоровы.

А когда не станет нас – вспомните, хотя бы в святой день. Мы Вам всегда желали добра и молились за Ваше счастье.

СЕВАСТОПОЛЬ

Каждое пребывание в городе русской морской славы вызывает во мне особые чувства – и восторга, и священной памяти, и трепетной благодарности к тем, кто пролил кровь за Отечество, и простого человеческого удовлетворения от того, что я вижу такую красоту, синь неба, близких людей, неспешные, все в зелени, улочки, слышу подвывание турбин кораблей на рейде...

Севастополь, в любую пору года – уютный, чистый, словно его, ежедневно, в ночь, драят, с песочком, да полируют с мелком, как корабельные поручни.

Севастополь населяют какие-то особые люди – красивые, хранящие достоинство и совесть.

Вспомнилось, как мы курсантами, Боже мой, когда это было, на морском вокзале пили пиво с огромным количеством рыбы. Вите Катренко, из Саратова, прислали целый чемодан. Мы не смаковали её, а просто ели и к нам подошёл старый моряк, сам представился, что он – капитан I ранга, не помню уже фамилии и сказал:

– Молодые люди, так пиво не пьют. Это издевательство над присутствующими.

И когда мы, движимые юношеским запалом, преподнесли морякам огромного леща, вяленого, килограмма на три-четыре, их благодарности не было границ.

А один из них, со множеством орденских колодок, сказал, обращаясь к присутствующим боевым товарищам:

– Нет, друзья мои, хорошую мы смену вырастили. И умирать не страшно, коль такие ребята на смену нам пришли.

И повернувшись к нам, подняв бокал с пивом, поклонился молча, гордо склонив голову пред пацанами, торжественно и красиво.

Сегодня очень горько видеть над всеми «ратушами», то есть, госучреждениями, развивающиеся жовто-блакитные флаги.

Наших, русских, не видать что-то. Стало их, до жалкого, мало.

Народ живёт в растерянности. 2017 год – вот он уже, через девять лет. И что тогда?

Как жить русскому человеку в Севастополе? Власть, если она сохранится, она обид не прощает и не забудет тяги и приверженности севастопольцев к далёкой, к несчастью, России.

Впрочем, власть – она всегда мстительна и злопамятна. И у нас не лучше.

Уже памятник Екатерине II – и где, в Севастополе, порушить хотели. Даже тросом обвязали, да машинёшка слабовата оказалась. Завтра – мощную найдут и довершат своё каиново дело. И это – при том, что здесь националистов – единицы, все пришлые, своих, я всё же думаю, нет.

Ведь что бы там ни говорили, а кровь хохлацкая за Севастополь не лилась, а на Крым славные запорожцы набегали лишь грабить, но никогда не боронили его, никогда не отстаивали от супостатов. Только грабили, в ответ на набеги турок и татар.

А сегодня – всё, что полито русской кровью, уже не наше.

И Никита Хрущёв, сукин сын конечно же, хотя и не думал, что Советский Союз развалится, но подарил ведь Крым Украине, а безмозглый Ельцин, свершая злодейство великое в Вискулях, с Кравчуком и Шушкевичем, даже и не заикнулся о возврате Крыма.

А Кравчук, в мемуарах, пишет, что он бы пошёл на возврат Крыма России, в обмен на независимость Украины.

Вот и весь сказ!

Как-то потускнел, выбелился, побледнел, наверное, от такой жизни, от неуверенности в завтрашнем дне и офицер Черноморского флота.

Я даже не о курице, лапами вверх, в полиэтиленовом пакете, которую спокойно несёт капитан II ранга домой. В мою пору такого не было.

Я – о другом. Сколько перебежчиков поспешили трезубцем украсить флотскую фуражку. А ведь присягали же СССР! И где эта верность?

Правда и у нас, в той начальной ельцинской России, не меньше таких перебежчиков, а гораздо больше, особенно, среди русского генералитета.

Уж одни Герасимов с Радецким, да Кузьмуком, Шариковым, нашими отступниками-птенцами гнезда ельцинского, чего стоят

А сейчас беглецов будет больше. Жить-то людям надо, а Россия за них не заступится.

Флота нет. Так, два-три корабля из тридцати пяти, ещё живы, только и хватит, чтоб грузин стращать, а вот с Турцией – уже не потягаться.

А что будет завтра?

Одной дизельной лодкой, которая ещё на ходу, Чёрное море не сберечь и никаких своих интересов не защитить.

И горько будет, когда хам-националист, станет осквернять, после нашего исхода, а мы уйдём, это уже точно из Севастополя, глумиться над русскими могилами, рушить памятники Нахимову и Корнилову, матросу Кошке, героям Великой Отечественной.

Увидел в Ялте «Гетьмана Скоропадського» – так теперь названа одна старая-престарая «калоша».

Стыдно смотреть. Это ведь корабль позавчерашнего даже дня. И это флот «Незалежной»?

Не лучше он и у нас. Один ракетный крейсер остался, а мы полны гордости, что он утопил катерок грузинский в прошедшую свару с Южной Осетией и Абхазией.

Стыдно просто выдавать это за доблесть.

Это ведь всё равно, что миноносец Колчака, по фильму, бьётся и побеждает кайзеровский линкор. Стыдоба.

В глазах русских моряков увидел растерянность и печаль страшную. А это плохой знак. Это свидетельствует об их неуверенности. А опыт реформаций в России – огромный и все знают, что нигде и никто их не ждёт. И квартиру не дадут.

Так было всегда в России за время перетрясок, обозванных реформами, все последние двадцать окаянных лет.

Началось всё с 6 гвардейской танковой дивизии, народ этого уже и не помнит, которую по воле Горбачёва вывели в поле, на Фолюш, под Гродно.

Сколько судеб закатилось там, сколько семей распалось, офицеров не состоялось? Одному Богу ведомо. Больше никому.

Так ведь и здесь будет. Поэтому и пожух народ. Опустился.

Жалкая судьба флота России, некогда славного. И если с него, в Главкомы флота идут командующие – это конец всему.

Какой там опыт командования, какая стратегия и тактика?

У стенки комфлота Масорин простоял, не вывел ни разу весь флот в море, быстренько, после этого, всем флотом России, уничтоженным Куроедовым, поручил – и ни за что не ответив – ушёл. А флот гибнет. Гибнет неотвратимо.

А Севастополь – прекрасен всегда, в любую пору года, в любую погоду.

Так и вспоминается:

«На Малахов курган,

опустился туман...»

Идёшь по набережной, видишь рavelины, которые не раз сражались с врагом, отстаивая родную землю и тяжёлые мысли одолевают мою всё ещё мятущуюся душу:

«Почему же мы докатились до такого позора? Почему всё так плохо, за что ни берутся эти горе-реформаторы? Всё гибнет под их рукой».

Хотя бы какой-то прецедент затеяли, суд какой-то по возврату Севастополя и Крыма.

Ведь Севастополь никогда не был городом крымского подчинения и даже украинского.

Даже передав Крым Украине, Севастополь, безмозглый Хрущёв, всё же оставил в ведении СССР».

Но новая власть России никаких движений в этой области не предпринимает. Нет активности и наступательности, нет воли и истового желания хоть что-то изменить, исправить допущенные, по слабости ума, ошибки и прегрешения.

Уезжали из Севастополя в подавленном настроении. Эти тревожные мысли не давали покоя.

«Севастополь, Севастополь, город русских моряков» – пели матросы, идущие строем.

А им навстречу, умышленно, 20–30 бандеровцев, с жовто-блакитными флагами, кричали оскорбления и своё мерзкое «Геть!».

И никто этому охвостью не ответил.

Прошли русские моряки мимо, как-то по воровски, словно не на родной земле, понурились головы...

В строю...

Разве такие защитят в час опасности?

УКРАИНИЗАЦИЯ

Она ощущается повсюду, проводится грубо, безоглядно, не учитывая ни истории, ни менталитета местного населения Крыма.

Телевидение – практически всё на украинском языке. До ярости и остервенения доводит реклама. От неё спасу нет и в России, но здесь она гораздо более страшная, назойливая, бесцеремонная, вульгарная и показушная.

Какой-то придуманный «новояз», это не украинский – певучий язык и красивый, а страшная мешанина – западного, с заёмным вообще.

Вся реклама – с русских каналов, страшной громкости, превышающей тон основной передачи вдвое-втрое, да ещё переведённая на

неузнаваемый и убогий язык, ничего общего не имеющий с подлинным украинским – звучит страшно фальшиво и страшно неестественно.

А время – до 15–20 минут длится рекламная вставка, после 8–10 минут фильма.

И показывают на рекламных страницах всех таких благополучных и сытых, что возникает вопрос: «А в какой стране это снималось? И на кого всё это убожество сориентировано?»

Где же есть такой «дядько-бацько», который будущего зятя за такой стол усаживает, что там и полк накормить можно.

И всё, оказывается, ради «Мизима» – вот чудо, так чудо. Все проблемы разрешает, не возникает даже изжоги от политической всеядности потомков Бандеры и всяческих там петлюр.

Катком тяжёлым прошла украинизация по школам, принуждением, силой грубой заставляют детей учить «ридну мову».

Объявления, указатели – все на украинском языке. Нет, нет, простите, люди добрые, на страшном и убогом новоязе.

Ну, убейте меня, я так и не понял, что за слово такое «узбіччя».

Всё же речь шла, оказывается, о чистоте придорожных полос.

Особенно поразила речь священника-приспособленца, который, на вымученном украинском языке, обращался к детям, проводя с ними беседы о значимости закона Божьего.

Вот уж казуистика. Не поймёшь даже, о чём он говорит и что главного было в его речи.

Самое интересное, что газеты на украинском языке, по моим почти месячным наблюдениям, никто не берёт, никто не покупает в киосках по продаже информационных изданий.

Может где-то, в другом месте, по иному, но в Крыму это именно так.

И всё давит и давит на сердце тяжёлый и неразрешимый сегодня вопрос:

«Что же Вы, братья-малоросы, а вернее – правители Ваши, забыли о единстве наших народов? О едином корне? Об общей истории? И крови пролитой, общей, в защиту родной земли?»

Всё же, я думаю, тех, кто шёл за Бандерой, было ничтожно мало, остальные – верные сыны нашей общей Родины: и жили вместе, и умирали вместе, да и видели пред собой лишь одно Знамя, под которым было достойно жить и умереть честному человеку.

Фильмы – русские, иноземные теперь, идут только в переводе на украинский язык. И когда Григорий Мелехов «фрозмовляе» на украинской мове – делается невыразимо смешно и даже противно.

Ну, не везде же уместны никому не ведомые обороты, не везде.

И поэтому фильмы обретают гротесковый, большинству людей просто непонятный характер.

Ведь, чтобы честно играть на экране, надо всё это и честно прожить. Только тогда будет вера в то, что видим: в страдания, в счастье, в боль и обиды, в кровь и пот.

Противно, у нас в России, и о перхоти слышать постоянно, и о том, что у матери, оказывается, простите люди добрые – недержание мочи, проблемы с менструацией, но когда это в переводе звучит просто невыносимо мерзко – лупа какая-то и прочие прелести, хочется бежать, сломя голову, от такого «рая».

Забыли те, кто принуждает нас и мыслить на этом искусственном и мёртвом языке, ещё раз повторяю – совершенно не украинском, тот – мелодичный, песенный (мне кажется, послушай украинцы Кубанский казачий хор – напроць бы отказались от своего вымороченного и неестественного языка, который Украине – просто навязали новые господа, новые хозяева), о том, что нашим единым народом, живущим в России и на её Окрайне, немеряно крови и пота пролито за общую судьбу, за единство и братство.

И не делились мы, не мерялись, чьей больше и какого она цвета, если враг был общим, против единой веры шёл.

А сегодня – что?

Гоголя изувечили и уже Тарас Бульба не к России обращается, не к русскому брату за защитой, а к какой-то химере, которой в ту пору и не существовало.

Не зря говорили древние – разрушь язык и враг падёт далее сам.

Так вот, язык нашей общности и единства – Великий русский язык разрушается, уничтожается без всяких надежд на возрождение. Какая, в таком случае, дружба и общая судьба может быть у наших народов?

Думаю, что дело нескольких, в лучшем случае – лет и как только не станет Владимира, митрополита Киевского, автокефальной станет и украинская церковь, или, чего доброго – к Варфоломею перебежит, вместе с денисенковцами.

Не удержит Патриарх Московский своей власти над ней.

Своих проблем предостаточно, а поездку в Ровно патриарха Кирилла мы помним, чуть ли не спецоперация была проведена, чтобы встретиться с сотней-другой прихожан.

Да их уже после этой встречи, знает ли об этом его преосвященство, просто задавили и предупредили, что будет с ними, если они москальского попа будут привечать.

А далее, с уходом Русской Православной Церкви со своей канонической территории, преград уже не будет по уничтожению русского духа и русского дома, самой памяти о России.

И лезет настырно в голову мне вопрос:

«А что Россия предпринимает, чтобы не допустить такого положения дел?».

Ни-че-го!!!

И посол наш – уже годы и годы сидит там, Черномырдин, но – ни одного шага не сделано навстречу друг другу, к единению и братству. Только и «пилили», с Юлией, газовую трубу без устали, а всё остальное, что и составляет суть народной жизни, предавалось поруганию и забвению.

А тут и суперлихоимцем заменили его, Зурабовым. И что, мы верим, что эти люди укрепят положение России на Украине? Добавят ей так нерасчётливо растраченного авторитета и величия?

Не с такими убеждениями решают эти жизненно важные проблемы, а вернее – при полном их отсутствии у этих людей разве разрешить те огромные напластования окаянных лет?

Вот распилить миллионы – тут Зурабов незаменим, а умирать за Россию, за её интересы, как Грибоедов, он никогда не станет.

Чужая для него эта страна. Он к ней, именно как к чужой и относился на всех своих постах – вспомните аптечные страсти, пенсионные, а везде ведь – Зурабов. И рады бы от него спрятаться, да некуда.

А потом – почему я решил, что Зурабова назначили быть послом именно в целях укрепления векового союза, а если – наоборот?

Разве нет у нас чубайсов, гайдаров (этого уже нет, прибрал Господь, прости мою душу грешную) и прочих дьяченок, которым ненавистна сама идея существования ВЕЛИКОЙ ЕДИНОЙ И НЕДЕЛИМОЙ РОССИИ?

Не сегодня ведь эта скверна началась, её исповедовали все вожди белого движения, которые понимали, что никакой Великой и Единой им отстроить никто не позволит.

А ведь уже сегодня Украину, которую весь народ единого Отечества поднимал из руин и восстанавливал после войны, тянут, как турки, татары полонянку – за волосы в НАТО.

И поводыри выращены для этих целей упорные, хищные, изворотливые, недаром они с КЛЭР – в Катерину переродились, да на время – удостоверение сотрудника госдепартамента США за образа спрятали, да косу приладили, да в плахту оделись.

Многих нынешних деятелей современной Украины не молоком, во младенчестве, мать поила, а националистической отравой, поэтому для них Украина – не своя, не своё Отечество, они давно не воспринимают её так, а лишь колония, которую можно терзать, грабить, неволивать, решая, таким образом, свои, далеко идущие задачи, утоляя жажду чрезмерного тщеславия и амбиций.

А Россия им вообще чужда, поэтому и не приемлют они ничего русского, общего, общенародного, святого, по единой вере признанного и избранного.

Ну, где, скажите, вчерашний бухгалтер районного узла связи, мог и подумать о том, что он будет вершить судьбы такого государства, как Украина?

И мы хотим, чтобы он добровольно отказался от своей каиновой роли?

А разве он один такой? А пан Медведчук? А Лазаренко? А Кравчук? Сколько же этого воронья сегодня слетелось и клюет оно тело прекрасной Украины, не давая ей ни распрямиться, ни сбросить с себя оковы национал-предателей и современных иуд.

А народ, тот, что посовестливее, прекратил борьбу с ними, увидев, как гнут батька Лукашенко нынешние владыки России. Тут уж срабатывает принцип, не нами открытый: мы знаем, что он – мерзавец, но мерзавец ведь наш, а придут московские власти, Бог их знает, что они сотворят. Может, как и Белоруссию, ведь было уже, предложат в состав России по областям зачислить?

А ведь это не просто игрушки, дорогие друзья. С уходом русского языка – целый пласт культуры, общей, единой, падает в преисподнюю и уже никогда он не возродится, и никогда не предстанет пред людьми в существующей многогранности, чистоте и совести.

Что, после этого, у нас впереди, братья-малоросы? И Россия ведь от этого утраты, невосполнимые, понесёт, и её силы иссякнут, и обездолеет она, и осиротеет.

Как же мы забыли, что украинец Ковпак воевал за нашу общую Победу, за неё же сложил свою голову русские Руднев, Николай Кузнецов.

Рядом с ними, на украинской земле, шёл грузин Бакрадзе, думая о величии нашей общей Родины, нашего единого Отечества.

А сегодня – иные герои у нынешних властителей Украины. И звёзды героев они дают тем, кто реки крови народной пролил, украинской в том числе, и даже – больше именно её, так как за Россией пошли народы послевоенной Украины, Западной, не хотели жить в яре национализма, фашистского охвостья.

И разве такие звёзды греют душу Ротару, Аде Роговцевой, генералу Герасимову? Как же им-то не стыдно?

Поймём ли все мы это? Пагубность и ограниченность таких подходов?

Всё же, я думаю, ющенки приходят и уходят, а народ остаётся всегда. И хоть срубили сегодня на Днепровских кручах, на той памятной стеле, святые слова о том, что отныне – с Россией, на вечные времена, верю, явится новый Богдан Хмельницкий, да и призовет свой народ вернуться к истокам ЕДИНОВЕРИЯ, ЕДИНОБОЖИЯ, СУДЬБЫ И ПАМЯТИ ЕДИНОЙ, СЛАВЫ И ЧЕСТИ ОБЩЕЙ ДЛЯ НАШИХ НАРОДОВ.

Поймём ли это? Образумимся ли скоро – не знаю. Но в то, что образумимся – верую истово. Но не ор Лужкова решить вопросы эти должен, а волеизъявление народа.

А Лужков, что ж, мы ведь помним, как он захлёбывался в раже и по другому поводу и его «Ельцин! Свобода! Демократия!» – не только у меня в ушах до сих пор стоит.

Поэтому на Лужкова мы не будем ориентироваться. Он много раз кричал то, что ему выгодно было, а там – хоть не рассветай. Ему-то ничего не угрожает. Ему есть где укрыться, тот же властитель Черкизовского рынка приютит, а с миллиардами мадам Батуриной доживёт свой век безбедно, где угодно.

А вот народу Крыма? России? Всем простым людям – как быть?

А тем, где семьи смешанные, а таких на Украине – большинство.

Не хотелось бы дожить до той поры, когда и к родителям, на их могилы, не приедешь.

Вот куда жизнь заворачивает и речь не просто о языке, как таковом, а о судьбе.

И почему Господь этого не видит и не покарает отступников и насильников над нашей памятью, над нашим прошлым.

Думал, всё же, что дерзнёт патриарх, да скажет Ющенко – проклян, предам анафеме, ежели будешь вести себя подобным образом, но – нет, не хватило у Его Святейшества духу на это. Нет, не хватило.

Подумать бы всем нам и о том, что память о великом прошлом, преданная и униженная, оскорблённая – есть отцеубийство.

Разве думали отцы наши, что неразумные дети растеряют всё добытое трудом тяжким и кровью омытое? Праведной. Общей.

А её хотят разделить сегодня на москальскую – проклятую и чёрную, и хохлацкую – святую.

Разве не одного она цвета, да что, цвета – не от одной ли матери нам досталась?

И в землю, одну, общую, ушла. Нашу. Единую. Русскую. Как же разделить-то теперь?

И как заставить Гоголя писать по-украински? И Шевченко не выкупать из неволи русским людям?

И Ватутину памятник переносить от Дома офицеров в Киеве – как же – москалю украинский народ кланяется. Так ведь и написано, помню, «Генералу Ватутіну від українського народу» на граните.

А, может, по-другому поступим, достопочтенные братья-малоросы?

Может, лучше – тех, кто норовит привить нам вражду и память нашу подневолить, чтоб мы не помнили общей судьбы и общей доли – хорошей метлой, да на свалку истории?

Мне кажется, что новый президент Украины, кем бы он ни был (верю в то, что махинатора с диоксином, всё же, дни закачиваются), отменит все указы своего предшественника – по части героизации убийц и насильников, вот будет святое дело, сразу войдёт в историю наших народов и стяжает славу великую и память на все времена.

А там, смотришь, и поразумеемся, и к общей судьбе придём.
Делить-то нечего, одна судьба у нас. И народ мы единый. И
Отчизна одна, Единоверным Господом дадена нам на века.

О ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ

*Еврей Фульд избран в парламент.
Я очень рад этому; значит,
равноправие евреев вполне осуществилось.
Прежде только гениальный еврей
мог пробиться в парламент;
но если уж такая посредственность,
как Фульд, пробивается, – значит,
нет больше различий между
евреями и не евреями.*

Г. Гейне

Эта статья написана давно и я бы не помещал её в эту книгу, если бы не одно «но» – на Кировоградщине, по воле уходящего, слава тебе Господи, президента Украины, развёрнуты работы по увековечиванию памяти знаменитого и именитого земляка Льва Давыдовича Бронштейна, которого весь мир больше знает по звучному имени Троцкий, который лично повинен в реках крови на русской земле, которую источали из русского крестьянства, казачества, офицеров-героев Великой войны дети парикмахеров и сапожников, закованные в чёрную кожу, с тяжёлыми маузерами на боку (не автора последние слова, сам Лев Давыдович сказал, что от страшных и кровавых дел его гвардии, детей вчерашних цирюльников и сапожников - содрогнётся Россия – И. К.).

Увековечивают Вам, дорогие братья-малоросы, к тому же – за Ваш счёт, того, неведомого для большинства народа Троцкого, который ещё в 1916 году заключил союз о сотрудничестве с Америкой и был лично принят её президентом В. Вильсоном, к слову, почти в один день с Колчаком. Этим святотатцам, честолубивым политическим коммивояжёрам и были выданы от США гарантии по упрочению их личной власти в России, поддержке их силой оружия и вооружениями, за что они приносили её на закланье и отдавали в полное распоряжение самой хищной и самой беспринципной стране, уничтожившей более 16 млн. душ своего коренного народа – индейцев.

Именно участь бесправной колонии ждала бы нас, не порушь народ эти планы и не победи иностранную интервенцию и белогвардейщину на своей земле.

Но, более всего меня поразило в этой верховной воле украинского президента то обстоятельство, что выдуманной химере, голодомору, который, якобы, организовал кровожадный Сталин, он уделяет неслыханно много времени, средств народных и сил, а вот истинному человеконенавистнику, который всё грозился «задрать матушке-России подол» - такие почести. Отчего это?

Разгадка данных поступков политического неудачника, потерпевшего сокрушительное поражение на прошедших в январе 2010 года выборах президента Украины от собственного народа, который изгнал его ненасытное родство и его самого с политического Олимпа, лежит на поверхности – Ющенко ведёт себя так лишь от того, что Троцкий – образец для него, которому он хочет подражать, так как тот истово, до конца, боролся с Россией, она ему была чужда, он её ненавидел и предпринимал всё возможное, чтобы ослабить её силы, волно и славу, могущество и лишить всех возможностей к развитию.

То есть, «иудушка Троцкий», как его называл Ленин, не будем, правда, лукавить – не в начале революции, а позже, после срыва Брестского мира, и есть пример для подражания крайнего националиста, человека крайне незрелого, мало образованного, приспособленца и вероотступника Ющенко. И с памятником Троцкому, как до этого всяческим мазепам-петлюрам-бандерам-шухевичам, он застарался лишь потому, что они люто ненавидели Россию, но всегда, как и «пан» Ющенко, жировали за её счёт и беззастенчиво грабили и разоряли её.

И ещё – какое удивительное совпадение: Троцкий служил Америке, и Ющенко ей же истово служит, даже жёнушку ему присмотрел американский Госдеп, где Клэр Чумаченко и была штатным сотрудником.

Поэтому, я полагаю, что эта статья имеет право быть в этом сборнике, навеянном встречей с Крымом, Родиной, отчим краем.

Упаси нас Боже от обвинений в антисемитизме. Не грешен, не болею.

Для нас главным и основополагающим вопросом является: «Не кто ты? (по национальности), а «Какой ты?». Какие ценности, в первую очередь духовно-нравственные, несёшь в душе своей и представляешь окружающим тебя людям?

И горд от того, что главным в жизни всегда считал то, как каждый из нас вносит посильный вклад в упрочение силы и славы, возрождение Отечества, преодоление тех завалов и разрушений, которые в наследство остались нам ещё от горбачёвского правления и его последователей.

Немало знаю и евреев, которые, быть может, больше, чем некоторые русские, скорбят по утраченной силе и величии Отчизны, вносят свой посильный вклад в её сбережение и возрождение.

Учёные и экономисты, общественные деятели-евреи по национальности, немало сделали в это очень немилосердное к простому человеку время по проблемам национальной безопасности, альтернативной экономической политике и военной реформе.

С какой же тогда стати мы ставим на повестку дня вопрос о еврействе в сегодняшней России? Этот вопрос задать вправе каждый, и мы не уходим от ответа на него.

И продиктован он единственной проблемой, возникшей в последнее время из-за навязчивой идеи некоторых сил о выносе тела Ленина из Мавзолея. Здесь есть такая глубинная подоплека, которая заставляет нас определить свою позицию в этом непростом вопросе.

Если уж быть исторически последовательным и искренним, то именно евреи инициировали вопрос об увековечивании памяти В.И. Ленина и добились его разрешения своеобразным способом – мумифицировали тело вождя и выставили его на всеобщее обозрение. Не будем сегодня лукавить и скажем прямо, что странным было бы иное решение: ведь в ленинском Совнаркоме был один православный, и тот грузин, да и для самого В.И. Ульянова (Ленина) еврейский вопрос стоял весьма остро в самой семье – фамилия матери всё же была Бланк.

Все ключевые посты в партии и государстве, даже армии, занимали в ту пору представители этого, безусловно, талантливой, но уж очень безжалостного к России народа. Большинство их было и в карательных органах (ВЧК), годовщину которой мы отмечаем совсем недавно.

И в последнее своё пристанище – Мавзолей, сначала временный, а затем – капитальный, тело вождя революции несли тоже евреи, за исключением того же православного Джугашвили и русского крестьянина во власти Калинина.

Почему же сегодня евреи Б. Немцов, А. Чубайс, Г. Явлинский, В. Новодворская, Э. Радзинский и другие выступают за вынос тела Ленина из Мавзолея?

Мы не относимся к числу тех, кому бы доставляло удовольствие зреть мумифицированный труп, и не видим в этом особого сакрального знака для современной России.

Наверное, было бы справедливым и праведным в ту пору – выполнить волю Н. К. Крупской, родственников В. И. Ленина, да и его личное пожелание, и упокоить его душу рядом с матерью, в Санкт-Петербурге.

Но, что произошло, то произошло. И уже 86 лет прах В. Ленина покоится в усыпальнице. И до недавнего времени, а мы полагаем, это время ограничивается ельцинским правлением, такой порядок всех устраивал. Даже в качестве крамолы. О нём не могли говорить ни А. Яковлев, ни А. Вознесенский, который, помните, писал: «Уберите Ленина с денег». Но там смысл был иной. Так скажем, патриотический, дабы не браться жирными пальцами, в селёдке, за «светлый лик вождя».

И сегодня, инициировать одному человеку, группе суетливых и шумных людей, и даже общественному объединению, идею выноса тела Ленина из Мавзолея – негоже.

Это должно вызреть в обществе, должно явиться желанием всего общества, народа России. И очень бы хотелось, чтобы это проходило уважительно и достойно, как естественное волеизъявление, приуроченное к знаковой годовщине жизни В.И. Ленина.

Мы бы поняли, если бы это пожелание высказали пусть дальние, но ещё живущие, потомки Ленина, наконец, Православная Церковь, освободившаяся от однобокого освещения советского периода в жизни России и сама не предавшая последнего государя. Увы, увы, большой грех и на ней за это святотатство и за печалование по всяческим деникиным-каппелям-колчакам-корниловым-рузским-ренненкампфам, которые и свергли царя с престола, отступились от него, предали, а церковь их – в национальные герои возводит, молитвы творит в их честь.

Ведь в подобном саркофаге и Мавзолее покоится тело великого учёного России Н. Пирогова, (да ещё и на Украине) и никому пока (Слава Богу!) – не пришлось в голову изменить существующий порядок.

Мы уже не говорим о том, что подобная практика существует и во всём мире.

И этот мир – как откровенную, ритуальную «пляску на могилах» воспринял варварское уничтожение Мавзолея Г. Димитрова в Болгарии. Изменил, зная, нашим братушкам здравый рассудок и миролюбивое христианское отношение к усопшим.

Забыли они, будучи опьянёнными кажущимся освобождением от коммунистического засилья, при котором-то и прожили достойно, о том, что православным тревожить прах усопших грешно, что есть демонический опыт у человечества в этой области.

Все, кто тревожил усыпальницу Тимура, навлекали на себя беды и войны, лихолетья и разруху, уничтожение сотен тысяч, миллионов жизней и обрели, в ответ на это, лишь пепелища. Да разве его одного?

Сегодня инициатива русских евреев, о которых мы упоминали, не столь наивна и безобидна. Это им кажется, что их потаённых замыслов народ не понимает и не видит.

Затеять сегодня вынос тела Ленина из Мавзолея – значит стравить русских людей с русскими, расколоть их сегодняшнее, такое неустойчивое единство, ещё раз продемонстрировать, от имени еврейства, что русский народ в своей стране, где он составляет более 82 %, ничего не решает и ничего не значит.

Так и хочется вспомнить шолоховское: жили казаки хутора Татарский и всё у них было как у людей – в меру гулеванили; в меру пили; хлеб растили, да детей, во множестве, рожали; воевали, за «Веру, царя и Отечество», правда, без меры, так как угроза безопасности Отечеству была велика, и тут уже – не до живота своего, надо было Россию оборонить;

Аксинью слегка поколачивали за супружескую неверность, а вот – появился на хуторе Осип Давыдович – и всё пошло кувырком, до братоубийства дошли.

Ладно бы, отметил он, этот пришлый еврей, мужество и подвиг великий братьев Мелеховых – как же, в офицеры вышли за своё геройство, крестов – на двоих-то – сколько, а он – трусоватого и ленивого (посмотрите на курень), Мишку Кошевого приветил, знал, что тот рвать всех будет за то, чтобы и самому не за труд, не за кровь и мужество великое, а лишь с помощью нагана – до сытой жизни добраться.

В результате этого и возникла смута великая. И так ведь по всей России, где вчерашние односумы, единовѣрцы – лютыми врагами стали, шашки друг на друга подняли, на братоубийство решились.

И сегодня происходит то же самое.

Остановитесь и опомнитесь, пока не поздно, господа Б. Немцов, Г. Явлинский, В. Новодворская, К. Боровой и другие.

Не жидьтесь! Образумьтесь! Это не наши слова, это обращѐнное к вам Вашего единокровного соратника Тополя. Вы это знаете лучше нас, поэтому лукаво и промолчали.

Здесь есть и ещё другая подоплека.

Навязывая государству это несправедливое решение; Б. Немцов и его приспешники, ставят определённую цель – подорвать у народа веру в руководство страны, стремятся отодвинуть решение действительно актуальных и насущных вопросов по возрождению России, подменив их второстепенными и не актуальными.

Мы переименовываем улицы и обнаруживаем, что хлеба при этом стало меньше. Перекраиваем названия станций метро, – и люди, в давке, забывают не только названия станций, но и проклинают землю, на которой родились. Мы низвергаем памятники и вновь энергия разрушения не позволяет России подняться с колен. Она чёрным крылом закрыла лучи созидания, творения добра и достойной судьбы.

Мы забываем, что в той же Франции, мирно уживаются памятники и могилы как Людовика, так и Робеспьера, который послал его на гильотину.

А надпись над аркой кладбища какая? Знаете?

«Франция – великим людям». И не делают их ни на красных, ни на белых, так как они, независимо от берега веры, были великими людьми и сыновьями единого отечества.

Мы забыли и о таком факте, что только стоило А.И. Солженицыну опубликовать в своих произведениях фотографии и имена бывших начальников Гулагов в той сталинской России, которую он так ненавидел, и перенёс, не заметил, своё отношение на Россию вообще – как он немедленно был признан персоной нежелательной для пребывания на территории США. Не задумывается, почему? Только потому, что из 32 человек – все они, за исключением одного, были евреями.

Сегодня у всех на слуху имена В. Гусинского и Б. Березовского. Но мы, русские люди, отрицательно относимся к ним не потому, что они евреи, а лишь потому, что они не только не желают добра своему Отечеству, но даже напротив – бесстыдно и вероломно его уничтожают, обкрадывают, присваивают себе общенародное достояние, поддерживают силы реакции и разбоя, разрушения и вседозволенности.

Уж если русский режиссёр, по благословию автора-казака М. Шолохова, избрал для роли Аксиньи – Элину Авраамовну Быстрицкую и чтит её безмерно за талантливое воплощение этой судьбы на экране, а русский дворянин и советский актёр Пётр Глебов, рядом с ней явил изумлённому миру не игру, а жизнь и любовь, страдания и величие, добро и ненависть, неизбывную память об отчей земле, – как в такой ситуации можно нас, русских людей, обвинять в антисемитизме?!

Мы не знаем, какой русский певец внёс больший вклад в развитие русской патриотической песни, русского романа, классики, нежели это сделал еврей И. Кобзон.

Поэтому главное, ещё раз подчёркиваю, – не кто мы, а какие мы? Что мы делаем по возрождению Отечества, по исцелению наших израненных душ, по учреждению добросердия и человеколюбия.

В. Жириновский предложил амнистировать всех воров, иных преступников, чья деятельность не угрожает безопасности государства и граждан.

Мы, в свою очередь, предлагаем простить все прегрешения, злодеяния, сотворённые представителями еврейства на нашей земле, в России. Не преследовать их, и не мстить им. Быть может, это милосердие, сегодня, явится тем спасительным шагом, который позволит нам сплотиться воедино и преодолеть чудовищные последствия разрухи, как в наших душах и сердцах, так и во всей России, между её народами.

Может быть, этот шаг позволит нам призреть бездомных и облегчить участь маленьких бродяг, лишённых материнской ласки. А, в конечном счёте – поднимет Россию с колен, послужит её возвеличению и восстановлению в первоизданном виде Чести и Достоинства, Величия и Веры, духовно-нравственной крепости и могущества и, как в итоге – установлению миролюбия и спокойствия, справедливости на нашей земле.

«В России нет еврейского вопроса, – так писал Ф.М. Достоевский, – а в России есть русский вопрос». И суть этого вопроса в том, что мы слишком мало чтим и уважаем собственную историю, собственные качества создателя, собирателя и охранителя всех земель и народов, их истории и культуры, духовности и нравственности.

Осознаём это, тогда и соберёмся в единой семье народов, населяющих нашу безбрежную Россию. Дела хватит всем, так как велика та пропасть, в которую мы пали, и в одиночку выбраться из неё не сможет ни один народ. Только вместе. Только в единодушии и единоустремлении возможно спасение и возрождение к новой жизни.

Не допустим нашу жизнь до того состояния, о котором столь образно писал А. Эйнштейн: «Если теория относительности подтвердится, то немцы скажут, что я немец, а французы – что я гражданин мира; но если мою теорию опровергнут, французы объявят меня немцем, а немцы – евреем».

Еврей Д. Драгунский, дважды Герой Советского Союза, воевал за нашу Советскую Родину, и благодарная Россия всегда будет чтить и помнить его. Уместно будет отметить, что более 100 человек – евреев стали Героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Это, по отношению к численности евреев, проживающих в СССР, самое ведущее место среди других народов.

Разве можно заподозрить этих Героев, что они воевали за возрождение сионизма, за его проникновение и торжество на русской земле? Они воевали и гибли, стяжая Победу, за нашу общую Великую Родину, за СССР, за достойную будущую жизнь, за светлое завтра своих детей.

И все они были сыновьями нашей Родины, оплаканными у братских могил русскими матерями, и возвеличенными Великим Русским народом за общий подвиг во имя жизни на земле.

Не забудем мы и славные фронтовые подвиги старшего лейтенанта М. Даяна, ставшего одним из национальных лидеров еврейства. Он также отдавал свою жизнь за победу над фашизмом и меньше всего думал о том, что ему мешает в борьбе с врагами нашего Отечества, фашизмом, находящийся в Мавзолее прах В. И. Ленина.

Мы уже не говорим о том, что национальной гордостью советского народа стал трижды Герой Социалистического труда академик А. Сахаров, предотвративший, вместе со своими коллегами, среди которых тоже немало было евреев, ядерное порабощение Отечества в послевоенной истории.

Безусловно, мы помним и то, КЕМ он стал в недавнее и постыдное «демократическое» прошлое, чью волю исполнял и под чьим «дирижированием» вершил уже несправедливую, разрушительную работу.

Безусловно, помним мы и то, что премьера Великой Русской Империи П. А. Столыпина в Киевском оперном театре лишил жизни еврей М. Бодров. Но он не олицетворял собой волю еврейского народа, не был её выразителем и карающим мечом. Это был безродный, не имеющий национальности человек, посягнувший на жизнь одного из достойнейших сынов России. И мы не виним за это еврейский народ.

Но не забудем сегодня при этом и о том, что представители других народов не имеют двойного гражданства, то есть, той потаённой лазейки, в которой можно укрыться, совершив прегрешения и даже преступления пред русской землей и народом.

Пройдут годы. Утихнут страсти.

И мы поймем, наконец, что родиться русским, евреем, калмыком – не доблесть и не заслуга. Главное в том, как ты чтить отчужденную землю и её народ, желаешь ли ты им добра и процветания, честен ли ты перед ними.

Сегодня Президент страны В. В. Путин проводит небывалую по размаху и немыслимую в узкоэгоистических националистических и даже национальных представлениях работу: как соединить, воедино, разобщенную страну, её народы, как примирить страсти, уйти от разрушения – к созиданию, от сотворения идолов – к поиску святынь. К добротворению и добрососедству.

Объединим в этом русле наши скромные силы, тогда поможем России, а значит и себе, роду своему, своим детям.

А где быть Ленину, пусть рассудит время и действительно народная воля,

Сегодня Б. Немцов гордится тем, что он был председателем правительственной комиссии по захоронению останков царской семьи.

Никаких оснований для этого нет. По той лишь причине, что еврей Юровский истребил царскую семью, а еврей Б. Немцов, без покаяния перед русским народом за деяния своих единоверцев, (а нас при этом призывают каяться за всё, что совершено в годы Советской власти) – захоронил останки – да царские ли только?

А если царские – то почему по частям, оставив фрагменты костей для дальнейших исследований, да и в гробах не православных, а каких-то маломерках. Да и воздвиг в загробной жизни царствующий прах на прах простолюдинов, как бы придавив грузом их ошибок и прегрешений саму Россию.

При унылом молчании церкви при этом - не по-христиански это, не по Православному.

И последнее. Если бы это захоронение не было сомнительным, оно было бы освящено присутствием высших иерархов Русской Православной Церкви, которая мудро от этого дистанцировалась.

(Сегодня все больше и больше доказательств, что «царь-то – не настоящий», если вспомнить славного «Ивана Васильевича» - И. К.).

Мы бы склонили головы и покались за злодеяния юровских, но при одном условии, если бы от их рук пал безвинный император России. Нам бесконечно жаль семью гражданина Н. Романова, безгрешные детские души, но не можем скорбеть по государю, так как такого в России на тот момент давно уже не было.

Только слабость, отсутствие воли у Николая II, выразившееся в самовольном отречении от престола, быть может и явилось причиной будущих смут, потрясений и войн, это с одной стороны, а с другой – сколько же бед и горя людского свершено этим человеком, сколько праведной крови пролито во всех проигранных войнах?

Кто покается перед их родством и семьями за ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО самого Романова? Кто попросит прощения у

русских людей, загубленных деникиными, колчаками, корниловыми, марковыми, капелями, унгернами, семёновыми?

Да и не сам ли Романов повинен в таком страшном финале своей жизни и жизни своей семьи? Кем окружил себя, что не оказалось ни одного верного человека рядом, а всё – корниловы, да деникины, которых и чинами жаловал, и орденами грудь увешивал, а они не смерть приняли за государя, а предали его, то есть, предали помазанника божьего.

Что же тогда Вера, что тогда Бог? Почему не покарал неверных? И почему о предателях государя так печалуется Михалков, вдруг уверовавший Путин? Даже памятники им, за наш с Вами счёт, люди добрые, ставят...

Да и церковь, с такой лёгкостью отступившаяся от помазанника божьего и уже 9 марта 1917 года присягнувшая на верность Временному правительству, быть может, покаяние начнёт с себя.

Как Вы, святые отцы, оцениваете преступления своих предшественников?

Никто сегодня, из демократической тусовки, не осуждает убийц Павла I, даже внук-правнук генерала Бенигсена, но нас-то он судит за убийство Николая II и требует покаяния.

В этом и весь вопрос. Вчерашние цареубийцы – сегодня судят весь русский народ, который никакого отношения к убийству последнего государя России не имел, никакого отношения, совершенно.

Пусть, тогда и в синагогах проклянут цареубийц, так как Голощёков и Юровский, всё же принадлежали к известному народу, который был так немилосерден и немилостив к России.

И на нём не только царская кровь, а вопиёт об отмщении и невинная детская.

Взять лишь один Крым, где Дора Моисеевна Залкинд и венгерский еврей Бела Кун, в нарушение приказа М. Фрунзе и вопреки его честному слову – не карать тех, кто добровольно сложит оружие, залили кровью юнкеров все балки.

А на Севере страны отличилось ещё одно «святое семейство» Кедровых, уничтожив тысячи русских людей лишь потому, что они были русскими.

Фельдшер Ревека Мейзель (Кедрова), лично расстреляла 87 офицеров, 33 местных жителей, а 500 беженцев по её приказу было утоплено в барже в море...

И таких воспоминаний мы можем привести немало...

Поэтому не будем судить усопших с обеих сторон.

Пусть обретут покой и мир их души – и В. Ленина и Н. Романова, тех, кто погиб, отстаивая новые ценности, будучи доведённым до края разлагающейся царской властью, и тех, кто за неё истово бился, будучи верным той, былой присяге и человеческому долгу.

Все они неподсудны, но лишь при одном условии – если не выродились в палачей и карателей, иродов и каинов.

Нельзя не уважать Рощина, да ещё столь блистательно сыгранного М. Ножкиным, в прекрасном фильме: здесь – счастливейший случай, он колоритнее и правдивее даже авторской подачи, и как мы, военные люди, в молодости, подражали именно Рощину, увиденному на экране в сериале.

Но нельзя без омерзения оценивать Митьку Коршунова, которого блистательно сыграл талантливейший Новиков.

Вроде, служил ведь тому режиму, о котором без придыхания и не говорит Н. Михалков, но палач и каратель, не переживал за судьбу России, Отечества своего, не обременял себя страданием и состраданием, а ремесло палача использовал для удовлетворения лишь низменных и садистских качеств и устремлений.

Но таким грехи их отпускает, с большой лёгкостью, церковь, а вот ту сторону, что за красными пошла от невыносимой жизни – судит и проклинает. Разве же это по-божески?

А что касается судеб и Ленина, и Николая Романова – не мы им судьи.

А уж, тем более, не господа немцовой, чубайсы, новодворские и боровые.

Не поджигайте, устанавливающееся в обществе, с огромным трудом, спокойствие и веру, не разоряйте хрупкий, но такой необходимый для всех живущих, мир. И не убивайте надежду.

Только в этом случае мы можем рассчитывать на возрождение, на восстановление порушенных святынь, на прощение, и, если, не на процветание, то хотя бы на то, что наступит завтрашний день.

С ЛЮБОВЬЮ К БРАТЬЯМ–МАЛОРОССАМ

Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином.

Обе природы слишком щедро одобрены Богом и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую.

Для этого самые истории их прошедшего быта даны им не похожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слились воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве.

Н.В. Гоголь.

Эту статью, помню, я писал к 347 годовщине воссоединения Украины и России. Минуло много лет с той поры, но, мне кажется,

ситуация не изменилась. Все эти проблемы кровоточат, а в наше возможное единство - вбивается, ежедневно, осиновый кол вражды и неприятия друг друга. Когда уже преодолеем это?

За валом полуновостей, полуморали, полуправды и полуйскренности, за замутнёнными окнами в замерзающем Приморье, за ссудными каиновыми десятками, а то и сотнями тысяч долларов, полученными в оплату за роль иудину работниками НТВ, за неприкрытым и циничным воровством последних народных копеек Ю. Тимошенко и чадающим угаром от сожжения соломенных чучел на Крещатике, да «бородинскими стенаниями» (Простите, Великие Герои 1812 года, не о Вас речь, я о П. П. Бородине, верном наперснике Ельцина, которого даже за рубежами арестовывают и доказывают, что очень большие сомнения у их Фемиды есть в отношении его нестяжательства и чистоты рук – И.К.), незаметно отошла в историю 347 годовщина Воссоединения Украины с Россией.

Безусловно, юбилей не круглый, дата уж больно не цветастая, но разве в этом суть? Разве последние 9 чёрных лет, с Беловежья, могут застить солнце нашего единства? Знать, более значимы эти печальные страницы для нашей общности, что о них лишь взхлёб и говорили, но – ни одно информационное агентство, ни Кисилев, ни Познер, ни Сорокина, ни даже Государственная Дума России и Верховная Рада Украины, постарались не заметить того, произошедшего 347 лет назад, важнейшего события для нашего единоговерного и единокровного народа.

А необходимость в том, чтобы вспомнить эту славную дату, само событие эпохального значения – Воссоединение Украины с Россией, в результате чего было гарантировано выживание и сохранение братского народа, сегодня существует очень острая.

Великий сын славянской земли Богдан Хмельницкий на Переяславской Раде, состоявшейся 21 января 1654 года, обращаясь к войску и всем православным христианам, говорил: «Ведомо то вам всем, как нас Бог освободил из рук врагов, гонящих церковь божию и озлобляющих все христианство нашего православия восточного, что уже шесть лет живём мы без пана в нашей земле, в беспрестанных бранях и в кровопролитии с гонителями и врагами нашими, хотящими искоренити церковь божию, дабы и имя русское не помянулось в земле нашей, что уж вельми нам всем докучило, и видим, что нельзя нам жити более без царя... православный христианский великий царь восточный есть с нами единого благочестия, греческого закона единого вероисповедания, едино есми тело церкви с православием великия России, главному имуще Иисуса Христа. Той-то великий царь христианский, сжалившийся над нестерпимым озлоблением православныя церкви в нашей Малой России, шестилетних наших молений беспрестанных не презревши, теперь милостивое свое царское сердце к нам склонивши, своих великих ближних людей к нам с царскою милостию свое

прислать изволил, которого естли со усердием возлюбил, кроме его царския высокия руки, благишнейшаго пристанища не обрящем».

Забыли, растратили и растеряли мы эти непреходящие, вечные и святые истины и свершив предательство и позор в Беловежской Пуше, отрелись от векового славянского братства и единства.

Да ещё и душу дьяволу продали, забыв не только о тех неисчислимых жертвах, которые принесли наши народы во имя своей свободы и самой жизни, но и о том, что жили достойно в братской семье, да не заметили этого и растратили, походя, высшие ценности – променяли на западные и националистические обмылки, с которыми никогда не уживутся совесть и честь, простая человеческая пристойность и любовь к ближнему.

Не поднимал бы эту тему, не болела бы душа за растратенное и утерянное, если бы хоть один народ после этого разрыва, катастрофы, содеянной в пьяную ночь, вопреки воле людской Б. Ельциным, Л. Кравчуком, С. Шушкевичем стал жить лучше, достойнее и обеспеченнее, если бы на земле нашей воцарился мир и порядок, благополучие и совесть.

Так нет же! Нищим духом и телом, бессильным, не могущим свести концы с концами стал и русский, и малоросс, и белорус.

И только потому, что была порушена логическая связь их развития, интеграция экономик и духовно-нравственных ресурсов, общность великой народной семьи.

Не поучаем Вас, братья-малороссы, как жить, сами оказались за такой чертой передела, что выжить бы только, да отчую землю сохранить, да руки загребушие не допустить к самому святому, что у нас осталось – духовности нашей, вере и правде, культуре и предзнаменованию Божьему на общую судьбу, взаимовыручку, братское плечо в лихую годину испытаний. Или и на это уже нельзя рассчитывать сегодня?

Но и не сказать о том, что роднит нас сегодня общая беда, после падения народовластия и утверждения разгула заёмных, диких нравов – нельзя.

Гибельный курс ельцинских времён, мы верим в это, остановлен в России на последней меже, на том рубеже, переступив который уже не возродиться, не сохранить национальные святыни, дух и волю нации, её культуру и веру. Остановлен неисчислимыми страданиями и бедами, волей всего оставшегося честного и здорового на Русской земле.

На последнем ресурсе души верим, что это осознаёт Президент нашей страны В. В. Путин и прилагает все возможные усилия, чтобы не скатиться в невозвратную пропасть.

Ситуация в Украине, к сожалению, иная. Не появилась ещё даже вера в возможность возрождения, не сделан самый трудный первый шаг в направлении нашего единения, возрождения общей судьбы и общего дома.

Хутор Михайловский, как чёрный передел, разъединяет наши страны, нашу веру и нашу историю на потребу и потеху тем, кто жирует на народном горе, наживает свои тридцать сребренников за отступничество,

предательство и служение интересам, как Запада, так и своих ярых «самостийников».

С болью в сердце восприняли весть, что к политым нашей кровью украинским чернозёмам уже дорвались новые хозяева-немцы, американцы, французы; что за девять «чёрных лет» в 3,5 раза снизился ВВП Украины и занимает она сегодня лишь 151 место по его производству на душу населения из 209 существующих.

Не буйным колосом, а чертополохом заросла украинская хлебная нива, что привело к снижению добычи зерна в 2 раза (а это уровень 1913 года!); не стало сала и колбас, которыми славилась Украина; в семь раз снизились реальные доходы населения; действительная элита нации – учёные и специалисты покидают родную землю и ищут пристанища на Западе.

Радует наши души и сердца лишь то, что всё в большей мере это осознаётся народом, опьянение от «незалежности» прошло и сегодня уже более 77 процентов граждан Украины заявляет решительное «Нет!» проводимому курсу, требуют у руководства страны возврата к обществу социальной справедливости и братства, совести и духовного единения.

Безусловно, дорогие друзья, мы никоим образом не вмешиваемся в Ваши внутренние дела, не навязываем Вам своей воли и своего выбора. Это только Ваше право и Ваша судьба.

Но и забыть о нашем вековом братстве, о том, что только за освобождение Украины от фашистских захватчиков более 1500 лучших сынов нашей общей Родины были удостоены высшего отличия – звания Героя Советского Союза – не вправе никто.

А уж сколько в землю легло – этого никто не посчитает и не скажет нам.

С учётом всех этих обстоятельств, никогда, ни при каких режимах и правителях не можем смириться с тем, что недобитки Бандеры, вытаскивая из сундуков пронафталиненные мундиры, унижают нашу общую борьбу за торжество жизни на земле, упиваются вседозволенностью и попустительством, оскверняя наши общие жертвы, нашу память, нашу боль и совесть.

Сегодня, когда откровенно преследуется и ограничивается русский язык в Украине, не можем не напомнить и о том, что это язык и Тараса Шевченко, и Николая Гоголя, которые никогда не состоялись бы как явление украинской культуры без духовного союза с Н. Чернышевским, Н. Добролюбовым, К. Брюлловым и З. Сираковским.

А уж действительно знаменитые украинцы Ю. Гуляев и М. Гнатюк, С. Ротару и Н. Майборода, М. Коцюбинский и С. Олейник, Б. Патон – это не только малоросские, но наши общие, славянские духовно-нравственные ориентиры, сформировавшиеся под общим воздействием наших великих культур.

Сотни тысяч работников Югмаша создавали нашу ракетно-космическую отрасль, которая служила на благо всем народам Советского Союза, защищала их суверенитет и независимость.

Энергетическая система, животворные газовые нити связывали наш единый народно-хозяйственный комплекс воедино, и не было нужды воровать их, так как хватало на всех и газа, и электроэнергии.

Мы не делили на Вашу и нашу общую Чернобыльскую боль и только существовавший союз всех народов позволил снизить все фатальные последствия от этой беды для цветущего края, народов как России, так и Украины, Белоруссии.

Пройдут годы. Отшумят недоброй памяти вчерашние и сегодняшние события и скандалы, приведшие нас к такому, столь недостойному и постыдному состоянию.

И мы верим, что потомки спросят у нас – как же мы могли допустить верховенство мракобесов, разорвавших вековую связь единокровного и единоверного народа; как мы могли не увидеть каинову печать на тех, кто резал по живому народному сердцу чёрной межой разобщённости, отчуждения, воздвигая границы и таможенные ограничения; как допустили униатскую ересь на канонической территории Русской Православной Церкви...

Более того, сегодня идёт речь о том, а можем ли мы сохранить славянскую цивилизацию вообще, которая не только спасала мир от порабощения всевозможными захватчиками, но и явила ему такой сплав духовности, культуры, народной морали, которые не превзойдены ни одной другой цивилизацией.

Сегодня нам угрожает один враг – бездуховный и жестокий, объединивший все ресурсы для борьбы со славянством – это Запад и доморощенные «перестройщики и самостийники».

Так неужели отдадим им на поругание эти наши вековые приобретения, непреходящие ценности? Неужели пример Югославии, отступления европейских славянских государств в сторону Запада – не горький пример нам и предупреждение, причём – роковое?

Многое будет спрошено и со многих.

Поэтому и видим свою задачу в том, чтобы шаг за шагом продвигаться к объединению наших народов, нашей судьбы, нашего будущего, разорванных искусственно.

Сегодня нет никаких объективных препятствий к включению Украины в строительство Союза славянских государств, от чего выиграют все – и Россия, и Украина, и Белоруссия.

Нужна только Воля народа, политическая зрелость руководства наших стран, да ещё верность пережитому и оплаченному столь щедро праведной кровью нашего единого народа.

Пусть на этом пути нам служат и призывом, и заповедью, правилом жизни и поведения бессмертные слова Тараса Григорьевича Шевченко:

О Боже! Сильный и правдивый.
Тебе возможны чудеса,
Исполни славой небеса
И сотвори святое диво:
Воскреснуть мертвым повели,
Благослови всесильным словом,
На подвиг новый и суровый,
На искупление земли,
Земли поруганной, забытой,
Чистейшей кровию политой,
Когда-то счастливой земли
Только вместе мы победим! Только в братском Союзе обретём
Волю и Долю, достойную жизнь себе и своим детям, сохраним наши
святыни и достоинство! По одиночке – погибнем все, только в разное
время, просто у России немного ресурс побольше...

(Но я уже не очень верю в возможность достижения этого союза в
близкое время. События, которые сотрясают Украину в апреле 2007 года,
свидетельствуют о том, что всё совестливое и честное умерло в том мире,
который именуется властью.

Линия поведения и В. Ющенко, и Ю. Тимошенко свидетельствует о
том, что Украиной правят бесы и никакого радения за свой народ они не
проявляют. Им этот народ совершенно без надобности. Он им даже мешает,
так как тоже ведь чего-то хочет. Хотя бы есть-пить.

На Украину пришла беда страшная, как, впрочем, и на весь мир, где
не стало сердечности и доброты, совести и правды, а уж о чести и
ответственности перед народом власти и говорить не хочется.

Горькое прозрение грядёт, братья-славяне, будет ещё горше, чем
нам, а вы веруете в какого-то доброго царя. Им, по определению, не может
быть никто из действующих лиц, и заводят они – все, без исключения, вас
только в болото невежества, оглуления и беспросветной нужды.

Проснитесь, а не то – и царство Божие проспите, Клер Чумаченко
заставит вас родину любить, то бишь, её благословенную Америку. А вы ей
– совершенно без надобности. Каратель Шухевич важнее, ему,
уничтожившему сотни тысяч человек, присягает сегодня Ющенко и
присваивает звание героя Украины. Большого позора и придумать трудно).

А наша власть, которая не смеет забывать о том, какой ценой
заплачена победа над фашизмом, принимает Ющенко с государственным
визитом, учиняя ему всевозможные почести, да ещё и нас с Вами дураками
делая, по другому нельзя оценить все те демарши, которые происходят на
газовой трубе.

Р. С. А события прошедшей встречи пана Ющенко с Бушем в
начале апреля 2008 года не оставляют даже малейшего сомнения в том,
ради чего затевается всё дело о вступлении Украины в НАТО. Речь идёт о
САМОМ угрожаемом направлении похода на Восток, так как мы

совершенно не прикрыты из этого подбрюшья. Да и Гитлер это хорошо учитывал и наносил один из сокрушительных ударов именно через Украину.

Забыл, пан Ющенко, что всё же пристойный человек не восхваляет деяния предателей и отступников. А у него – что ни герой былых времён – так негодяй и отступник: Шухевич, Бандера, Мазепа, Коновалец, на которых крови и русских, и украинцев – просто немерено...

В. Ющенко, за все годы своего правления, предстаёт пред нами мелочной, злобной и склочной натурой, которая вообще не в ладах ни с логикой, ни с правдой, не говоря уже о совести и чести.

Не знает задурманенный столь частыми выборами и скандалами народ Украины, что пока его властители разглагольствовали о построении «незалежной» и искали каких-то, не существующих в истории «укров», по итогам 2009 года ВВП Украины, согласно оценкам Всемирного банка, сократился почти на 15 %, причём промышленное производство – на 22 %, государственный долг вырос на 53,5 % и достиг 37,7 млрд. долл., или 56 % от ВВП (посчитайте, братья, это же сколько на душу православную приходится этого долга и как долго Вы его будете отдавать, надрывая свои жилы, погибая в шахтах Донбасса, горбатясь на хлебоборобной ниве, которая, нынче, стала не такой богатой и не такой обильной?).

Инфляция на Украине лишь за один год составила 12,3 %. К этому стоит добавить, что правительство Юлии Тимошенко, помимо денежных кредитов в размере свыше 13 млрд. долл., взяло ещё и товарный кредит у России – неизвестное точно количество газа «на хранение», читай – на продажу.

Да и наши властители недалеко от него ушли. Белоруссию душат, не дают ей продыху, а с Юлей только и «пилят» газовую трубу, приставив к ней газовых дел мастера В. Черномырдина, а сегодня – заменив его на человека, который оставил один из самых тягучих следов в истории нынешней России, так как обирал старых и сирых, а убогим даже пенсий должных не выплачивал, скупая себе тысячи гектар земли в заповедных зонах страны. И это – за должностной оклад только?

Но и мы-то хороши, никаких противодействий, никакой внятной позиции власти не высказываем. Притерпелись, привыкли к уничтожению и только безмолствуем.

Конец приходит и России. И в чести, в национальных героях чубайсов и нечаевых, выступает Гайдар, злокозненное чудовище, в один миг нас всех обездолившее и ограбившее. И народ, опять-таки, не ропщет и молчит.

Так ли поступил Тарас Бульба со своим родным сыном – отступником и предателем?

Нет, там было совершенно другое, и отец не мог стерпеть предательства и отступничества родного сына, и произнёс роковое, даже умерщвляя своё сердце: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Кто сегодня такое скажет?

А как бы хотелось, чтобы голос правды зазвучал и по берегам Днепра, и в России, Белоруссии.

Единый ведь народ и вера едина, да поводыри так далеко развели наши народы, что не поразуметься и не соединиться вновь, по крайней мере – при моей жизни это никак не представляется возможным.

А для чего тогда жили, для чего проливали реки крови, чтобы только «была страна родная»?
